

ИЦХАК БАШЕВИС-ЗИНГЕР * Р А Б



ИЦХАК
БАШЕВИС-ЗИНГЕР

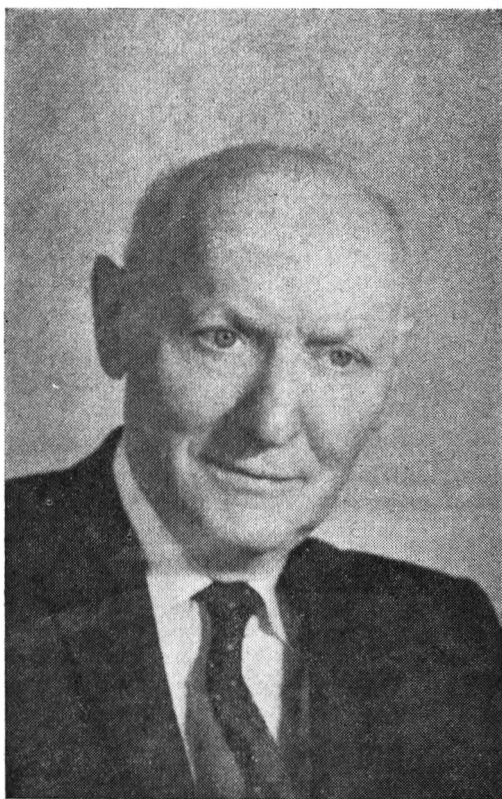
Р А Б

БИБЛИОТЕКА "АЛИЯ"

36

ИЦХАК ВАШЕВИС-ЗИНГЕР

Р А В



И. Башевис-Зингер

ИЦХАК БАШЕВИС-ЗИНГЕР

Р А В

Перевела с идиш Рахиль Баумволь

БИБЛИОТЕКА "АЛИЯ"

1976

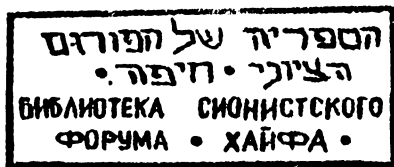
באשעוויס זינגר
דער קנעכט

I. Bashevis Singer
The Slave

עירונית חיפה
מחלקת תרבות הפנאי
מרכז תרבות לעולים
בני ברק - ספריה
..... נלאי

413

ציור העטיפה: שרה ברקאי



© 2763

All rights reserved

כל הזכויות שמורות

ל"ספריה עליה"

ת"ד 7422, ירושלים

היוצאת לאור בסיוע:

האגודה לחקר תפוצות ישראל, ירושלים

וקרן הזכרון למען תרבות יהודית, ניו-יורק

נדפס בישראל

1976

OCR Давид Титиевский, июнь 2020 г., Хайфа

דפוס מופת. ת"א

ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА

Ицхак Зингер, известный под литературным псевдонимом Ицхак Башевис, или Башевис-Зингер, родился в Польше в 1904 году. Первые его публикации на идиш появились в середине двадцатых годов. В 1935 году писатель эмигрировал из Польши в Соединенные Штаты и в настоящее время живет в Нью-Йорке. Он является постоянным сотрудником выходящей в Нью-Йорке еврейской ежедневной газеты "Форвертс", на страницах которой публикует большую часть своих произведений.

Ицхак Башевис завоевал признание в литературе на идиш еще в начале тридцатых годов, когда вышел в свет его роман "Сатана в Горае", освещающий возникновение и крах саобатианского движения в еврейском местечке Польши во второй половине семнадцатого века. Этот роман принес Башевису славу талантливого рассказчика, глубокого писателя, большого мастера языка и тонкого стилиста.

С появлением в начале пятидесятых годов переводов произведений Башевиса на английский язык он стал широко известен не только среди публики, читающей на идиш. В настоящее время большинство его произведений переведено на английский и другие языки.

Ицхак Башевис-Зингер был удостоен целого ряда премий и почетных званий за заслуги в области литературы на идиш. Он получил также признание среди различных нееврейских организаций и учреждений Соединенных Штатов.

Исторический роман Башевиса "Раб", действие которого происходит в Польше на фоне событий 17-го века, был написан в 1960 году и впервые опубликован с продолжениями в 1961 году в еврейской газете "Форвертс".

Широкие отклики читателей, вызванные английским переводом этого романа (первое издание вышло в 1962 году), а также переводом на иврит (1966), могут быть объяснены умением Башевиса-Зингера захватывающе и убедительно передать историю сложной

любви Якова и Ванды-Сарры и на фоне событий 17 века изобразить необычную судьбу своих героев.

Однако современному читателю, в особенности еврейскому, трудно будет во время чтения этого романа освободиться от невольно напрашивающихся ассоциаций и сопоставлений с более поздним, т. е. более близким нам периодом истории, — периодом трагедии и катастрофы Второй мировой войны. Нашедшие свое отражение в романе проблемы, ситуации, конфликты и их решения, в основе которых лежат события 17-го века, по сути дела, совпадают с тем, что пережило поколение евреев в период Второй мировой войны. Поэтому уместно указать, что это произведение можно рассматривать как литературную попытку отобразить на фоне далекого прошлого горькую участь поколения Башевиса. Как известно, такого рода проекции являются основой многих исторических романов. Вместе с тем в романе "Раб", в отличие от других произведений этого жанра, существует своя специфическая проблема, с которой столкнулись многие еврейские писатели эпохи Второй мировой войны. Она заключается в ощущении писателем невозможности стать в своем произведении лицом к лицу с ужасающими событиями недавнего прошлого. Обращение к историческому роману служит, таким образом, одним из приемов, позволяющих его автору откликнуться на события современности, избежав прямого столкновения с близкой ему эпохой.

Приводим перечень наиболее известных книг Башевиса-Зингера на языке идиш, вышедших в свет до настоящего времени:

Сатана в Горае, Варшава, 1935 (дополнительное издание: Нью-Йорк, 1943; Иерусалим, 1972).

Семья Мушкат, Нью-Йорк, 1950.

В суде моего отца, Нью-Йорк, 1956.

Гимнель Тамм и другие рассказы, Нью-Йорк, 1956.

Раб, Нью-Йорк, 1957.

Рассказы у печки, Тель-Авив, 1971.

Фокусник из Люблина, Тель-Авив, 1971.

Раскаившийся, Тель-Авив, 1974.

Зеркало и другие рассказы, Иерусалим, 1975.

СОДЕРЖАНИЕ

Часть первая. Ванда	9
Глава первая	11
Глава вторая	28
Глава третья	46
Глава четвертая	60
Глава пятая	77
Глава шестая	87
Глава седьмая	111
Часть вторая. Сарра	123
Глава восьмая	125
Глава девятая	152
Глава десятая	180
Глава одиннадцатая	199
Глава двенадцатая	225
Часть третья. Возвращение	239

Ч А С Т Ь П Е Р В А Я

В А Н Д А

Глава первая

1.

День начался выкриком птицы. Каждый раз на рассвете та же птица, тот же дикий выкрик. Казалось, птица сообщает своему семейству о том, что всходит солнце.

Яков открыл глаза. Четыре коровы лежали на подстилке из соломы с навозом. Посреди хлева — несколько закоптелых камней — очаг. Здесь Яков варил себе ржаные клецки или пшено, которое забеливал молоком. Постель его была из сена пополам с соломой, накрывался он дерюгой, в которую собирал траву и коренья для коров. Даже летом на горе стояли холодные ночи. Нередко среди ночи Яков поднимался и прижимался к бараньему боку, чтобы согреться.

В хлеву еще царила ночная мгла. Но сквозь щель в дверях уже пробивалась утренняя заря. Яков сел и еще некоторое время додремывал сидя. Ему приснилось, будто он в Юзефове ведет занятие в училище, учит с мальчиками Талмуд. Спустя мгновение Яков протянул руку и ощупью нашел глиняный горшок с водой для омовения. Он мыл руки, как положено, поочередно. Трижды облил левую и трижды правую. Он уже успел прочитать "Мойдэ ани" — молитву, в которой не упоминается Всевышний, и потому ее можно произносить будучи неумытым. Но вот поднялась на ноги одна корова. Она повернула свою рогатую голову и посмотрела назад, словно ей было любопытно увидеть, как человек начинает свой день. Большие глаза, заполненные зрачком, отражали пурпур восхода.

— С добрым утром, Квятуня! — сказал Яков, — что, хорошо выспалась?

Он привык разговаривать с коровами, а иной раз

даже с самим собой. Иначе он бы забыл родной еврейский язык. Он распахнул дверь и увидел горы, тянущиеся вдаль — кто знает через сколько стран и земель. Были горы и поближе, со склонами, поросшими лесами, словно зеленой щетиной. Между ними сплетались космы тумана, напоминая Якову легенду про богатыря Самсона. Взошедшее солнце бросало яркий свет. Там и сям поднимался дым. Казалось, недра гор пылали.

В высоте парил сокол — удивительно медленно, полон ночного покоя, с грациозностью создания, которое выше всей человеческой суеты. Якову представилось, будто птица эта все летит и летит еще с первых дней сотворения мира.

Дальше горы становились все голубей, а еще дальше — еле приметными, призрачными. Там солнце как бы теряло свою власть, там всегда царили сумерки, даже среди дня. На головы этих причудливых великанов были нахлобучены облачные шапки. Они упирались в край света, где не ступает нога ни человека, ни животного. Ванда говорила, что где-то там живет Баба-Яга, что она летает в огромной ступе, погоняя ее пестом. И метлой, длиннее самой высокой ели, она сметает солнце со всей земли...

Яков стоял высокий, прямой, голубоглазый, с длинными каштановыми волосами, каштановой бородой, в холщовых штанах до щиколоток, в дырявом и латаном зипуне, босой, в барашковой шапке. Хотя он и проводил почти все время на воздухе, лицо его оставалось по-городскому бледным. Его кожа не поддавалась загару. Ванда говорила, что он ей напоминает изображения святых, которые развешаны в часовне там, в долине. То же самое говорили другие крестьянки. Зажиточные хозяева хотели женить его на какой-нибудь из своих дочерей, построить ему дом, чтобы он сделался своим, деревенским. Но Яков не захотел изменить еврейской вере. И Ян Бжик, хозяин, целое лето до поздней осени держал его высоко на горе, в хлеву. Коровы там на болоте не могли пастись. Нужно было собирать для них траву среди камней. Село находилось высоко

среди скал. Не хватало пастбищ.

Перед тем, как доить корову, Яков помолился. Когда дошло до слов “благодарю тебя, Господь, за то, что ты не сотворил меня рабом“, он запнулся. Разве может он произнести это благодарение? Ведь он у Лна Бжика раб. Правда, в Польше по закону еврей не может быть крепостным. Но кто здесь в глуши соблюдает законы, и какое значение имели гойские законы даже до резни Хмельницкого? Яков принял как должное испытание, ниспосланное ему свыше. Во время погрома в Юзефове и в других городах безвинным евреям рубили головы, их вешали, душили, сажали на кол, женщинам вспарывали животы и вкладывали кошек, детей закапывали заживо. Ему, Якову, не суждено было быть в числе жертв, угодных Богу. Он убежал. Польские разбойники утащили его в горы и продали в рабство.

Здесь он находился уже пять лет. Он не знал, живы ли жена и дети. У него не было талеса и тфилин, не было священных книг. Лишь мета на его крайней плоти свидетельствовала о том, что он еврей. Слава Богу, он знал наизусть молитвы, несколько глав Мишны, изрядное количество страниц Талмуда, многие псалмы, а также отдельные места из Пятикнижия и из книг Пророков. Иногда он просыпался среди ночи, и вдруг перед его внутренним взором представало какое-нибудь изречение из Талмуда. А он и сам не подозревал, что помнит его. Память играла с ним в прятки. Будь у Якова перо, чернила, бумага, он мог бы многое восстановить по памяти. Но где было все это взять...

Яков обратил взор на восток. Он твердил священные слова, глядя перед собой. Скалы ярко пламенели. Где-то близко заунывно тянул пастух, и напев его был полон щемящей тоски, словно певец был тоже в плену и всей душой рвался на волю. Трудно было себе представить, что эти мелодии исходили от парней, жрущих собак, кошек, летучих мышей и совершающих еще многие непотребства. Здешние мужики еще даже не были христианами, у них оставались старые порядки языч-

ников.

Было время, когда Яков надеялся удрать отсюда, но из этого ничего не получилось. Он не знал гор. Леса кишели хищными зверями. Снег лежал даже летом. У Якова не было ни денег, ни запасов пищи, ни одежды. Мужики стерегли его. Ему нельзя было спускаться ниже мостика. Тот, кто увидел бы его по ту сторону мостика, мог бы его тут же убить. Были такие, которые считали, что его нужно уничтожить. Кто знает, не колдун ли он какой-нибудь? Но Загаек, управляющий помещика, велел не трогать чужака. Он ведь собирал травы больше всех остальных пастухов. Коровы его разжирили, они давали много молока, рожали здоровых телят. Поскольку в деревне пока не было ни голода, ни мора, ни других напастей, еврея не трогали.

Яков торопился с молитвой — пора было доить коров. Он вернулся в хлев. В корыто с соломой и сечкой он добавил куски брюквы, заготовленные им вчера. Здесь был подойник и большие глиняные горшки, которые стояли на полке. Ванда приходила сюда каждый вечер с двумя кувшинами для молока и приносила Якову еду. Здесь же в хлеву находилась маслобойка.

Яков доил коров и мурлыкал песенку, которую слышал еще в Юзефове. Солнце шагало по горам, обливая их живым золотом. Клубы тумана таяли. В раскрытую дверь струились ароматы поля. Яков сделался таким тонким знатоком запахов, что узнавал любой цветок, любую травинку. Он глубоко втягивал в себя воздух. Каждый восход солнца в горах — словно чудо. Среди огненных облаков зрима Божья десница. Бог наказал свой избранный народ, спрятал от него свой лик, но не отступился от вселенной. Он сдержал обещание, которое дал, когда после потопа повесил радугу: посев и жатва, холод и жара, лето и зима, день и ночь да пребудут вечно...

2.

Весь день Яков лазал по горе. Он набрал в дерюгу травы, отнес в хлев и вернулся к лесным склонам. Первое время пастухи часто избивали его, но Яков

научился давать сдачу. Он ходил с дубовой палкой, наловчился лазать по горам с проворством обезьяны, знал, какие травы и коренья полезны для коров. Он умел все, что здесь было необходимо: добывать огонь из камня, натирая его сучком, доить коров, принять появившегося на свет теленка.

Он собирал для себя грибы, черные и красные ягоды, — все, чем богата была земля. Ванда, дочь Яна Бжика, каждый вечер приносила ему ломоть черного хлеба с отрубями, иногда — репу, морковку, луковицу, а то и яблоко или грушу из сада. Поначалу Бжикиха пыталась уговорить его отведать каши со свиным жиром. Ян Бжик подсовывал ему колбасу. Но Яков не поддавался. Он не ел тrefного, в субботу не ходил собирать траву, заготавливая корм для коров накануне. Со временем крестьяне оставили его в покое.

Но девки, которые ночевали в хлевах, и те, что пасли овец, дразнили его по сей день. Им нравилась его рослая фигура. Они приходили к нему поболтать, посмеяться и вели себя при этом не лучше коров. При нем они справляли свою нужду. Чтобы показать место, укушенное комаром, они задирали платье, оголяя колени, ляжку или даже выше. Они говорили ему без обиняков: идем, ляжем! Но Яков был слеп и глух. Они были не только развратны и уже одним этим грешны, но к тому же еще нечистоплотны, — с насекомыми в одежде, с нечесанными волосами и нередко с чирьями и прыщами на коже. Они употребляли в пищу дохлых птиц и всякую нечисть, водившуюся в земле. Были и такие, которые не умели говорить. Они мычали, как животные, объясняясь жестами, смеялись и выли, как сумасшедшие. В деревне было полно уродов — детей со вздутыми, огромными головами, больных падучей болезнью, шестипалых или с отвратительными наростами на теле. Уродов вместе с коровами держали на горе, и они со временем дичали. Парни и девки совокуплялись у всех на виду. Девки беременели. Но оттого, что они целыми днями лазали по горам и таскали тяжести, у них по большей части бывали выкидыши. Здесь не было акушерки, и роженицы

сами перерезали себе пуповину. Когда младенец умирал, его, некрещеного, закапывали в ямку или бросали в горный поток. Женщины во время родов сплошь да рядом исходили кровью. Но даже в тех случаях, когда спускались в долину за ксендзом Джобаком, чтобы он отпустил умирающей грехи, его нельзя было заполучить, так как, во-первых, Джобак хромал, во-вторых, всегда был пьян...

По сравнению с этими существами старшая дочь Яна Бжика, вдова Ванда выглядела горожанкой. Она носила юбку, кофту, передник и косынку. Объяснялась она на понятном языке. Муж ее Стах погиб от молнии. Деревенские парни и вдовцы липли к ней, но она всем давала отпор. Ванде было двадцать пять лет. Она была белокура и синеглаза. У нее была белая кожа. Волосы она заплетала в толстые косы, которые выкладывала вокруг головы венком. Когда она улыбалась, на ее щеках появлялись ямочки. Зубы у нее были крепкие, и она раскусывала ими любые орехи. Нос точеный, скулы узкие, пальцы ног прямые, без изъянов. В деревне ее называли "паненкой". Ванда была мастерицей шить, вязать, готовить и рассказывать истории, от которых волосы на голове становились дыбом. Яков отлично знал, что ему не следует с ней проводить время. Но если бы не Ванда, он забыл бы, что у него во рту имеется язык. Кроме того, она помогала ему соблюдать еврейские законы. Когда ее отец, бывало, велел Якову топить в субботу печь, Ванда вместо него разжигала лучину и подкладывала дрова. Она тайком от родителей приносила ему ячменную кашу, мед, плоды из сада, иногда — огурец с огорода. Однажды, когда Яков вывихнул ногу и у него распухла шиколотка, Ванда вправила ему сустав и сделала примочку. В другой раз, когда змея ужалила его в плечо, Ванда, прильнув к ране, губами высосала яд. Когда он болел, она ставила ему пьивки. Эта Ванда не раз выручала его из беды.

Но Яков понимал, что все это искушения сатаны. Ведь он тосковал по ней целыми днями и не мог побороть эту тоску. Как только наступало утро, он считал

часы, когда она, наконец, придет. Яков устроил себе на камне солнечные часы и то и дело поглядывал на них. В те дни, когда Ванда из-за ливня или грозы не могла прийти к нему, он бывал сам не свой. Он просил Бога уберечь его от худых мыслей, но они возвращались к нему снова и снова. Как он мог уберечь чистоту своих мыслей, когда он не имел ни тфилин, ни цицес.* Даже праздников он не мог соблюдать, как положено, потому что у него не было календаря. В дни новолуния он отмечал молитвой наступление нового месяца. Четвертый год он встречает здесь месяц адар. Но не исключено, что он ошибается в счете...

Сегодняшний день был теплым и долгим, по расчетам Якова — четвертый день тамуза. Он нарвал огромный ворох травы и листьев. Затем он приступил к молитвам — учил все те же главы Мишны и страницы Талмуда, которые повторял изо дня в день. Он читал Псалмы, а также составлял для себя молитву на идиш, в которой просил Всевышнего выволить его из плена и вернуть в еврейство.

Яков съел хлеб, оставшийся со вчера и сварил на своем очаге горшочек каши. После еды он снова молился. Почувствовав усталость, он прилег во дворе под деревом. Якову приходилось держать собаку. Собаки охраняли пастухов, а также коров от разных диких зверей. Первое время Якову был не по душе этот черный лес с острыми зубами и длинной мордой. Он терпеть не мог его лая и лизания. Не похожи ли злодеи на собак? Яков помнил, что говорится в Талмуде насчет собак. Он знал и то, что Ари и другие каббалисты причисляют собак к нечистым. Но со временем Яков привык к этому псу. Он дал ему даже имя Валаам.

Яков закрыл глаза. Солнце по-летнему пронизывало ему веки красным светом. Дерево было усеяно птицами. Они щебетали, пели, заливались. Яков полудремал, полубодствовал. Он весь погрузился в усталость своего тела. Значит, так было угодно Богу... Было время, когда Яков не переставал молить о

* См. ссылку стр. 44.

смерти. Даже подумывал о самоубийстве. Но постепенно он стал привыкать к чужбине, к своей оторванности, к тяжкому труду. Упало яблоко. Где-то далеко закуковала кукушка. Яков приоткрыл веки. Сквозь сплетение ветвей, как сквозь сито, пробивалось солнце. Свет падал паутинками, переливаясь всеми цветами радуги. Последняя пылающая росинка метала огненные копья. Небо было голубым, без единого пятнышка. Конечно, нелегко верить в Божью милость, когда знаешь, что злодеи закапывают живых детей. Но все же мудрость Божья видна во всем. Яков заснул, и ему сразу стала сниться Ванда.

3.

День кончился. Наступил вечер. Солнце клонилось к западу. В вышине парил орел — медленно, величаво, словно небесный парусник. И хотя небо оставалось чистым, над лесными склонами клубились клочья молочно-белых туманов. Они ползли и курчавились, пытались изобразить лицо. Они напоминали Якову первичную материю. Стоя возле хлева, Яков обозревал необъятное пространство. Горы были необитаемы, как в дни сотворения мира. Лес поднимался ступенями: сначала листовенные деревья, за ними — сосны и ели. Еще дальше возвышались скалы. На их вершинах белел снег, серые полотнища которого, сползали вниз к лесным просекам, готовые закутать в саван весь мир.

Сразу после вечерней молитвы ноги Якова сами повели его к холму, откуда можно было видеть дорожку, ведущую в деревню. Яков взобрался на валун. Да, Ванда шла к нему! Он издали узнал ее фигуру, ее косынку, ее походку. Высокая Ванда казалась отсюда крохотным человечком величиной с палец. Из тех гномов или карликов, про которых она рассказывала столько историй. Маленькие человечки жили в дуплах деревьев, в трещинах камней, под шапками мухоморов и с наступлением сумерек выходили порезвиться. Они были одеты в крошечные зеленые плащи, синие колпачки и красные сапожки...

Яков был не в силах отвести от нее взгляд. Во

всем таилась прелесть: в ее походке, в остановках, в исчезновении и внезапном появлении. Словно она с ним играла в прятки. Временами молочный кувшин, который она несла, начинал сверкать алмазами. Яков издали узнал корзинку, в которой она приносила ему еду. Ванда все росла и росла. Еще мгновение, и он побежал ей навстречу под предлогом, что спешит забрать из ее рук ношу, хотя кувшины пока были порожними. Она увидела его и остановилась. Он приближался к ней словно жених к своей невесте. Вот он уже стоит возле нее, полон любви и смущения. Он хорошо знал, что не должен смотреть на нее, но разглядел все — глаза ее то синие, то зеленые, полные губы, высокую шею, пышную грудь. Она работала в поле, как и все крестьянки, но руки ее оставались женственными. У Якова мелькнула мысль, что рядом с ней он выглядит как-то нелепо: нестриженный, нечесанный, в коротковатых штанах, оборванный, словно какой-нибудь нищий. Яков еще в Юзефове научился польскому. С материнской стороны он происходил от евреев арендаторов — посредников помещика. Здесь в плену он стал говорить, как гой. Иногда он забывал, как называется по-еврейски та или иная вещь.

— Добрый вечер, Ванда!

— Вечер добрый, Яков!

— Я видел, как ты шла по дороге.

— Да?..

И кровь прилила к ее лицу.

— Ты казалась крохотной горошиной.

— Издали все кажется маленьким.

— Да, это верно, — сказал он. — Вот звезды огромны, как мир, но потому, что они далеки, они нам кажутся точками...

Ванда молчала. Он часто говорил удивительные вещи, которые не укладывались в ее голове. Он рассказал ей про себя все. Там, вдалеке, у евреев он был богословом. Он вроде епископа или нотариуса копался в книгах. Раньше у него были жена и дети, всех перерезали гайдамаки. А что такое евреи? О чем написано в их книгах и кто такие гайдамаки? Ванде это было

не понять. И то, что он только что сказал, что звезды огромны, как мир, тоже непонятно. Будь они вправду так огромны, как бы они могли поместиться над их деревней?.. Но Ванда уже давно решила про себя, что он человек с возвышенными мыслями. Кто знает, может он вправду колдун, как утверждают бабы внизу. Все равно, Ванда любит его. Подниматься к нему каждый вечер — для нее праздник...

Яков взял у нее кувшины, и они вдвоем поднялись наверх. Другой на его месте положил бы ей руку на плечо, но он только шел с ней рядом, шел застенчиво, как мальчик. От него пахло хлебом и травой. Тело его излучало солнечное тепло. Ванда уже однажды предложила ему, чтобы он женился на ней или спал бы с ней просто так, без благословения ксендза. Но он это пропустил мимо ушей. Как-то он сказал, что распутство наказывается. Бог на небе все видит и каждому воздает по заслугам...

Ванда тоже знала об этом. Но здесь в деревне все так делали. Даже ксендз наплодил полдюжины байстроков. Во всем селе не было такого мужика, который отказал бы ей. Напротив. Они все за ней бегали. Даже сынок Стефана. Недели не проходило, чтобы кто-нибудь не подсылал к ней свою сестру или мать для переговоров. Другие начинали с подарков, которые она тут же возвращала. Теперь Ванда шла с опущенной головой, думая над загадкой, на которую не находила ответа. Ведь она полюбила этого раба с первого взгляда. Он за эти годы стал ей ближе, но все же оставался далеким. Сколько раз она себе говорила, что не быть хлебу из этого теста, и что она понапрасну теряет молодые годы. Но ее тянуло к нему. Она с трудом дожидалась вечера. Про нее сплетничали в деревне. Бабы смеялись над ней и всячески пытались поддеть. Многие считали, что этот раб околдовал ее.

Ванда нагнулась, сорвала ромашку, принялась отщипывать лепестки. Любит — не любит? Последний лепесток показал: да, любит! Но как долго он будет так играть с ней?

Солнце быстро зашло. Оно скатилось под гору, и день кончился. Птицы щебетали, пастухи дудели. Среди кустов поднимались дымки. Это на горе уже готовили ужин или жарили какого-нибудь зверька, попавшего в капкан.

4.

Ванда принесла Якову хлеба, овощей и редкий гостинец — яйцо, что снесла белая курица. Она взяла его тайком от матери и сестры. Покуда Ванда доила коров, Яков приготовил себе ужин. Он разжег меж камней своего очага несколько сухих веток, вскипятил воду и сварил в ней яйцо. В хлеву уже было темно, но Яков оставил открытой дверь. Пламя сосновых веток бросало огненные блики на лицо Ванды, отражаясь в ее глазах. Яков сидел на чурбаке. Ему это напомнило Тише беов* с его трапезой заговения, когда едят яйцо в знак печали. Потому что, как яйцо кругло, так и мир представляет собой замкнутый круг. Он омыл руки к молитве, которую творят перед едой, дал им обсохнуть, помолился над ломтем хлеба, умокнув его в соль. Столом служило ему перевернутое вверх дном ведро. Так как он не прикасался к мясу, то нуждался в заменяющей мясо питательной пище.

Он украдкой смотрел на Ванду. Она ему предана, как жена. Каждый раз она ему приносит что-нибудь для поддержки. Он всячески старался побороть в себе любовь к ней. Он говорил себе: разве она это делает ради доброго дела? Ею руководит физическое влечение. Это любовь внешняя. Получи он, упаси Боже, увечье или стань он кастратом, все было бы кончено... Но такова природа человека. В нем силен голос плоти, он не может жить одной духовной жизнью. Яков жевал и прислушивался, как струится молоко из вымени в подойник. На дворе уже стрекотали кузнечики, жужжали и гудели комары и пчелы, — миллионы

* Девятое ава — день поста и национального траура в память о падении Иерусалима и разрушении Первого и Второго Храмов.

созданий — каждый на свой лад. В небе загорелись звезды и взошел серп нового месяца.

— Вкусное яйцо? — спросила Ванда.

— Хорошее, свежее.

— Свежей быть не может. Я стояла над курицей, когда она неслась. Как только яйцо упало на солому, я его подняла и подумала: для Якова! Оно еще было теплое.

— Ты добрая.

— Разве? Я могу быть и злой. Смотря к кому. Для Стаха, царство ему небесное, я была плохой.

— Почему?

— Не знаю. Он все требовал, никогда не просил. Ночью, когда он меня хотел, то безо всяких будил. Днем он мог повалить меня среди поля...

Эти слова вызвали у Якова чувство отвращения и в то же время вожделения.

— Так нельзя!

— Холуй разве знает, что можно и чего нельзя? Ему лишь бы добиться своего. Как-то я лежала хвора, и лоб у меня был горячий, словно раскаленное железо. Но он прилез, и мне пришлось уступить.

— По еврейскому закону мужу нельзя принуждать свою жену, — сказал Яков, — ему следует сначала расположить ее к себе ласковыми словами.

— Где еврейский закон? В Юзефове?

— Это Тора. Тора вездесуща.

— Как это?

— Это учение о том, как человеку следует вести себя.

Ванда чуть помолчала.

— Это все в городах. Здесь мужики, что дикие быки. Я тебе что-то скажу, но побожись, что никому не расскажешь.

— Разве я здесь с кем-нибудь говорю?

— Ко мне приставал родной брат, я тогда была еще девочкой одиннадцати лет.

— Антек?

— Да. Он вернулся пьяный из трактира и полез ко мне. Матка спала. От моего крика она пробуди-

лась. Она схватила лохань с помоями и плеснула на него.

— У евреев этого не бывает, — сказал после паузы Яков.

— Почему не бывает? Они убили нашего Бога.

— Как это могут люди убить Бога?

— А я знаю? Так сказал ксендз. Ты еврей?

— Да, еврей.

— Что-то не верится. Стань нашим и женись на мне. Я буду тебе преданной женой. У нас будет хата в долине, и Загаек даст нам земли. Мы будем обрабатывать помещику положенное время, а остальное будет у нас для себя. У нас заведутся коровы, свиньи, куры, гуси, утки. Ведь ты умеешь читать и писать, значит после смерти Загаека займешь его место.

Яков ответил не сразу.

— Этого я не могу сделать. Я еврей. А вдруг жива моя жена?

— По твоим словам, всех перерезали. Если она и жива, что с того? Она там, а мы здесь.

— Бог везде.

— Разве Богу жалко, если ты будешь сам себе хозяином, а не рабом у другого? Ты голый и босый. Целое лето ты валяешься в хлеву. Зимой мерзнешь в сарае. Если ты не сделаешься нашим, тебя раньше или позже убьют.

— Кто убьет?

— Найдется кто.

— Что ж, тогда я буду вместе со всеми святыми душами.

— Мне тебя жалко, Яков, мне тебя жалко!

Оба долго молчали. В золе догорали последние угли. Временами одна из коров ударяла копытом о землю. Яков кончил есть. Он вышел из хлева помолиться, чтобы не произносить священных слов среди навоза. Вечерело, но на западе еще брезжило заходящее солнце. Другие девушки, которые приносили пастухам поесть и забирали домой молоко, не задерживались долго наверху. Считалось, что вечером до рога опасна. Среди кустов и скал обитали черти и злые духи. Но Ванда частенько засиживалась допозд-

на. Мать кричала на нее, бабы сплетничали, но Ванда ни на кого не обращала внимания. Она обладала мужской твердостью. Она знала заклинания, отгоняющие нечистую силу. Ее мало трогало то, что другие мололи языками. Теперь она возилась в сумерках, переливала молоко из подойника в кувшины, терла мочалкой маслобойку, счищала с коров ошметки грязи, прилипшие к их бокам. Все это она делала проворно и ловко. Вот она вышла во двор. Пес, который стоял возле Якова, побежал ей навстречу. Он вилял хвостом, прыгал на нее обеими передними лапами. Она к нему нагнулась, и он лизнул ей лицо.

— Валаам, хватит! — она делала вид, что сердится. Якову она сказала:

— Он приветливей тебя!

— У собак нет чувства долга.

— У животных тоже есть душа...

Вместо того, чтобы уйти, она уселась на камень возле порога. Яков сел на другой камень. Всегда в эту пору они бывали вместе. Всегда — на тех же камнях. Когда луна не светила, она его видела при свете одних звезд. Но сегодняшней вечер выдался светлый, как если бы в небе стояла полная луна. Он смотрел на нее молча, охваченный любовью, желанием. Всеми силами он сдерживался, чтобы не припасть к ней. Он ощущал, как кровь шумит в его жилах — вот-вот закипит. По спине тонким волоском пробежала дрожь, от чего ему сделалось сразу и жарко, и холодно. Мысленно он говорил себе: помни, жизнь на земле — это лишь преддверие к дворцу потустороннего мира. Не теряй вечного рая ради одного мгновения!

5.

— Что слышно дома? — спросил Яков.

Ванда очнулась.

— Что может быть слышно? Татуся работает. Рубит в лесу деревья и притаскивает такие тяжелые бревна, что чуть не падает. Хочет что ли перестроить хату. В его-то годы! К вечеру он так устает, что не может за ужином проглотить куска. Падает на постель, как подкошенный. Он уже долго не протянет...

Яков нахмурил брови.

— Так говорить нельзя!

— Так оно есть!

— Никто не знает, что начертано в небесах.

— Да, но когда силы кончаются, то умирают. Я всегда знаю, кто умрет. Не только про старых и хворых. Даже про молодых и здоровых. Гляну, и сразу знаю. Подчас боюсь сказать, что знаю, чтобы меня не сочли за ведьму. Но все равно знаю. Мать — та как всегда. Немножко прядет, немножко готовит и строит из себя больную. Антек приходит только по воскресеньям, а то и в воскресенье не приходит. Мариша на сносях — вот-вот родит. Бася ленива. Матуся называет ее ленивой кошкой. Зато, когда гулянка, она оживает. Войцех совсем ума лишился...

— Как хлеб? Уродился?

— Здесь никогда ничего не уродится, — сказала Ванда, — в низине земля черна и жирна, а здесь она сплошь в камнях. Между двумя колосками может проехать телега с быками. У нас еще осталось немного ржи. Но у других мужиков, поди, уже нечего жрать. Лучшая земля у помещика, а Загаек вор.

— Помещик здесь никогда не появляется?

— Никогда. Сидит себе за границей и даже не ведает, что у него здесь есть поместье. Шесть лет тому назад они вдруг сюда нагрянули. Было, как сейчас, перед жатвой. Но господам вздумалось среди лета устроить охоту. Они лошадьми да собаками вытоптали все поля. Холуи ихние хватали все, что попадалось под руку: теленка, курицу, козу, даже кроликом не брезговали. Загаек таскался за ними и целовал им задницу. С мужиками он крут, а перед любым городским прощельгой расстилается — пускай тот сам у помещика последний лизоблюд. После их ухода на деревне было жать шаром покати. В ту зиму все голодали. Дети поумирали, а молодежи сколько...

— Разве нельзя было их упросить?

— Господ-то? Они все время были пьяны. Мужики у них в ногах валялись, но те хлестали их нагайками. Хватали девок и насиловали. Девки возвращались к родителям в окровавленных рубашках, с раз-

битым сердцем. Через девять месяцев рождались бай-струки...

— У евреев нет таких разбойников, — сказал Яков.

— Разве? А еврейские помещики?

— Нет у евреев помещиков.

— Кому же принадлежит земля?

— У евреев нет земли. Когда они жили у себя в стране, они обрабатывали землю. У них были виноградники и масличные деревья. Но здесь в Польше они занимаются торговлей и ремесленничеством.

— У нас плохо, но все же, если хорошо работаешь, и у тебя есть верная жена, можно поставить хозяйство. Стах был крепким мужиком, но ленивым. Ему бы надо было быть мужем Баси, а не моим. Он все откладывал на после. Скосит сено и оставит его лежать, покуда дождь не намочит. Ему бы только сидеть в трактире и болтать. Бог ему не дал лет. В ночь нашей свадьбы мне приснилось, что он мертв и лицо у него черно. Я никому не рассказала, но знала, что он долго не протянет. В тот день, когда с ним стряслась эта беда, вовсе не было непогоды. Среди бела дня к нам в окошко влетела молния. Она катилась огненным яблоком и искала Стаха. Стах как раз вышел из хаты. Молния влетела в сарай и там его настигла. Я зашла в сарай и увидела, что его лицо черно, как сажа...

— Ты когда-нибудь видишь хорошие сны?

— Да, я тебе рассказывала. Я видела, что ты придешь. Не во сне, а наяву. Матуся варила ржаные клецки, а татуся только что куру зарезал, она была с типуном. Я полила клецки отваром, он весь был в жирных кольцах. Я смотрела, как туман застилает миску. Вдруг я увидела тебя, как сейчас вижу...

— Откуда у тебя такой дар? — спросил Яков.

— Не знаю, Яков, не знаю. Но что мы суждены друг другу, это точно. Татуся привел тебя с ярмарки, и у меня сразу сердце заколотило, словно молотом. У тебя не было рубахи на теле. И я тут же дала тебе рубашку Стаха. Я собиралась помолвиться с Вацеком. Но как только я тебя узнала, он для меня стал ничем. Марина смеется надо мной по сей день. Он скатился

ей в руки созревшим яблоком. Недавно я была на свадьбе. Он выпил лишнего. Потом расплакался и завел про старое. Совестно было перед бабами. Марина чуть не съела себя живьем. Но я хочу тебя, Яков, только тебя, моего единственного...

— Ванда, ты должна забыть про это.

— Почему, Яков, почему?

— Я тебе говорил уже не раз.

— Не понять мне этого, Яков.

— Моя вера — не твоя вера.

— Я тебе уже говорила: хочешь, приму твою веру.

— Нехорошо принять веру лишь потому, что нравится мужчина. Только тогда можно принять мою веру, когда от души поверишь в Бога и его Тору.

— Я верю в то, во что веришь ты.

— Где бы мы смогли жить? Здесь, если христианин принимает еврейскую веру, его сжигают на костре.

— Где-нибудь есть место для таких, как мы.

— Разве что в турецких странах.

— Так давай, убежим туда.

— Но каким образом? Я не знаю этих гор.

— Я их знаю!

— До турецких стран далеко. Нас задержат по дороге.

Оба молчали. Лицо Ванды окуталось тенью. Издалека доносилось тихое, полное тоски пение. Словно пастух понимал, как все безвыходно для Якова и Ванды, и он оплакивал их судьбу. Подул ветер, и шум ветвей смешался с шумом горного ручья, бегущего меж камней.

— Идем ко мне! — сказала Ванда, не то приказывая, не то прося, — не могу без тебя!

— Нет, что ты... Нельзя...

Глава вторая

1.

С горы было трудней идти, чем в гору, во-первых, потому что Ванда несла два кувшина с молоком, во-вторых, у нее было тяжело на душе. Все же она чуть ли не бежала. Ее подгонял страх. Дорожка вела лесом, среди деревьев, кустов, высокой травы. Заросли были полны шорохов, воркотни. Ванда хорошо знала, что разные пакостники и насмешники подстерегают ее. Они способны на любые проделки: заставить ее споткнуться о камень, повиснуть тяжким бременем на одном из кувшинов, сделать колтун на голове, загадить молоко, — натворить все что угодно. Село и горы окрест полны всякой нечисти. Каждая хата имела своего домового, который жил за печью. Дороги так и кишели ведьмами, вурдалаками, лешими — каждый со своими повадками. Ванда шагала, а злые духи расставляли ей сети. Филин ухал, лягушки квакали человеческими голосами. Где-то неподалеку слонялся Кобальт чревоуещатель. Ванда слышала его тяжелое дыхание и храп, как у зарезанного.

Но сильнее всякого страха были муки любви. Именно потому, что этот раб ее не хотел, ее так и тянуло к нему. Страсть жгла нутро. Ванда была готова на все: оставить село, родителей, семью и отправиться кочевать с Яковом. Но он отталкивал ее под разными предлогами. Сколько раз она говорила себе, что нечего ей убиваться. Кто он такой? Хуже нищего. Достаточно было бы одного ее слова кому-нибудь из деревенских парней, его бы убили, и комар бы носа не подточил. Но ведь не пойдешь на это, когда любишь! Боль душила Ванду, стыд хлестал по щекам. С тех пор как она созрела, мужчины гонялись за ней — начиная с родного брата и кончая сопляком, что пасет гусей. Но этот Яков, верно, сильнее духом всех других... — Он колдун, колдун! — говорила себе

Ванда. — Не иначе, как он околдовал меня!...

И куда он запрятал чары? Завязал их узлом в ее платье? Вплел в бахрому ее платка? А может, он склеил ей прядь волос на голове? Она повсюду искала, но ничего подозрительного не находила. На селе жила ворожея, старая Матвейха. Но Ванда не могла ей довериться, та была полусумасшедшая и выбалтывала секреты. Ванда вся ушла в свои мысли и даже не заметила, как возвратилась в долину.

Хата Яна Бжика стояла под горой, поросшая мхом, с гнездами под застрехой. Одно окошко было обтянуто бычьим пузырем, другое было открыто, чтобы во время готовки выходил дым. Зимой по вечерам зажигали фитиль в плошке или лучину. А летом татуля не давал зажигать огня. Но несмотря на темные стены, темно не бывало. Ванда все видела как днем.

Татуся уже лежал на постели в рваной фуфайке и заплатанных портах, босой. Он редко раздевался. Трудно было понять, спит он или так отдыхает. Мамуся и Бася сидели укутанные сумерками и плели из соломы веревку.

Все семейство спало на одной широкой кровати, и Ванда — вместе со всеми. Когда-то, когда Ванда еще ходила в девках, а Антек был холост, татуся влезал перед сном на мамку и детям было над чем посмеяться. Но теперь Антека нет с ними, а дед да баба слишком слабы для таких развлечений. Ждали, что татуся вот-вот отдаст душу. Антек, который мечтал завладеть хозяйством, появлялся через каждые несколько дней и без стеснения справлялся:

— Ну что? Татко еще жив?...

— Да, жив, — отвечала Бжикиха, которая также хотела освободиться от старика. Он не оправдывал хлеба, который съедал. Он сделался стар, молчалив и гневлив. Весь день кряхтел. Он понатаскал дров, что твой бобер: длинные, кривые стволы, годные разве на топку.

В хате мало разговаривали. Мамуся была сердита на Ванду за то, что она не выходит замуж за кого-нибудь на селе. Муж Баси, Войцех, после свадьбы захандрил и вернулся к своим родителям. К тому

времени Бася уже нарожала троих детей. Одного от мужа и двух байструков, но все трое умерли. У Бжиков также умерло двое парней, крепышей. Семейство погрузилось в печаль, в горечь тихого угасания, которое не прекращалось, все кипело и булькало словно каша в печи.

Ванда молча разливала молоко в горшки. Половина принадлежала эконому Загаеку. У него на деревне была своя сыроварня. Молоко, которое оставалось Бжикам, они употребляли для готовки и ели так, с хлебом. В сравнении с другими хатами они жили сытно. В каморке, где находился "жернов" — ручная мельница для перемалывания зерна, стояли мешок ржи и мешок пшеницы. На поле у Бжика валялось меньше камней, чем на соседних полях. Бжики долгими годами подбирали их и складывали оградой. Но еда — это еще не все. Татуся убивался по умершим сыновьям, не терпел Антека и его жену Марилу, не любил Басю за ее блудливость. Ванду Ян Бжик любил, но и она вот уже годы как сидит вдовой, и отцу нет от нее радости. Между матерью, Антеком и Басей был молчаливый союз. У них были секреты от Ванды, как от чужой. Но Ванда вела хозяйство. Все проходило через ее руки. Даже татуся с ней всегда советовался когда сеять, что сеять, когда жать, — словом, обо всем. У Ванды был мужской ум. На ее слово можно было положиться.

Возвращение к родителям и спанье с ними в одной кровати было для Ванды мучением. Нередко она ночевала в клуне или на сеновале. Но там кишело мышами и крысами.

Вот и сегодня, после того, как она опорожнила кувшины и сполоснула их, Ванда решила спать в клуне. В доме стояла вонь. Люди вели себя как скоты. За порогом бежал ручеек — такой же как возле хлева на горе. Но никому не приходило в голову, что в нем можно умыться...

Когда Ванда, захватив подушечку, набитую сеном, направилась к двери, мамуся спросила:

— Пошла спать в клуню?

— Да, в клуню.

— Завтра вернешься с покусанным носом.

— Уж лучше покусанный нос, чем покусанная душа... Такие слова иногда вырывались у Ванды — умные, глубокие, проникающие прямо в сердце, словно речи ксендза. Ванда сама удивилась своим словам. Мамуся и Бася застыли с разинутыми ртами. Татуся заворочался на своем сеннике, забормотал. Он всегда говорил, что Ванда вся в него. Но на кой ляд ум, когда нет счастья?...

2.

Мужики обычно рано ложились спать. Зачем сидеть впотьмах? К тому же в четыре часа надо уже вставать. Но в кабачке несколько человек засиделось допоздна. Кабачок принадлежал помещику, действительным же его владельцем был Загаек. Он держал винокурню, на которой гнали водку. Среди мужиков в кабачке был Антек, сын Бжика. Побочная дочь Загаека подносила гостям водку. Мужики пили, закусывали свиной колбасой. О чем только не болтали! Рассказывали, что Полодница в прошлом году во время жатвы натворила много бед. Она появилась на поле вся в белом, с серпом в руке, и стала задавать мужикам загадки, на которые не так-то просто ответить. Например: четыре брата гоняются друг за дружкой, и никто никого не догонит. Это четыре колеса телеги. Или: ни рук, ни ног, ни туловища — в любое место придет и все расскажет. Это письмо. А вот еще: хвост и грива, ест и ржет, не поймет, куда идет. Это слепая лошадь. Одному мужику, который не знал ответа, она хотела серпом отрезать голову. Он от нее — наутек, а она — за ним! Покуда он не добежал до часовни. После этого он провалялся много дней больной.

А еще одна страшная ведьма с длинными волосами родом из-за гор Богемии натворила в нынешнем году Бог весть что. Она ворвалась в хату старого Мацека и так долго щекотала ему пятки, что он умер со смеха. Трех мальчишек из села она взяла себе в любовники. Они рассказывали, что она лежала с ними в поле и заставляла их исполнять все ее прихоти. Одного из хлопцев она так извела, что тот заболел.

Он также заманила девочек, играла с ними, заплетала им косички, надевала веночки, водила с ними хороводы, а потом, когда уже завладела их доверием, она заплевала их и покрыла грязью.

Кое у кого на гумне пряталась птица скжот. Та самая, которая волочит за собой крылья и хвост. Известно, что скжот вылупливается из яйца, которое человек греет подмышкой. Но кто здесь в селе занимается такими делами?! Ясно, что бабы, а не мужики. У баб больше времени и больше терпения. Ближе к зиме, бывает, скжоту становится на гумне холодно, и он стучится в дверь, чтобы его впустили в хату. Тогда он приносит счастье. Но покуда что он сжирает много зерна и приносит всякий другой вред. Если его помет угодит кому-нибудь в глаз, тот слепнет. Говорили, что надо бы походить по деревне из дома в дом и посмотреть, не греют ли старухи яйца подмышкой. А недавно случилось в селе еще одно удивительное дело. Одна девка божилась, что среди ночи влезло к ней существо — из тех, что высасывают кровь. Оно пиявкой впилося в ее грудь и сосало до утра. Девку нашли в глубоком обмороке. На ее груди были следы зубов.

Но еще больше, чем о всяких злых духах и вампирах, шли разговоры о пастухе Якове, который сидит на горе и приглядывает за коровами Яна Бжика. Мужики говорили, что грех держать в христианском селе неверующего. Кто знает, откуда он и что собирается сделать? Говорит он, что еврей, а если так, то он убийца Иисуса Христа. К чему же его держать в деревне? Антек сказал, что пусть только татуся закроет глаза, он живо уберет этого Якова. Но мужики считали, что нечего ждать. Один из них так и сказал Антеку:

— Сестра твоя Ванда лезет к нему каждую ночь. Она еще, того гляди, родит уroda.

— Она говорит, что он не прикасается к ней, — сказал Антек.

— Мало ли что баба скажет!

-- Живот у нее плоский.

— Сегодня он плоский, а завтра может набрякнуть, — вмешался другой мужик. — Вот в село Липица

пришел нищий и так складно говорил, все льстил бабам, покуда всех их охмурил. Через три месяца после его ухода из того села родилось пять уродов с клыками, когтями и шпорами. Четырех придушили, но пятая мать сжалилась и потихоньку дала чудовищу грудь, так он ей откусил сосок...

— Ну и что было дальше?

— Она подняла крик, и ее братья размолотили его цепами.

— И чего только не бывает! — заметил старый крестьянин, облизывая покрытый свиным жиром ус.

Кабачок был наполовину разрушен, крыша сломана, стены пообросли плесенью. Пола здесь не было, стояло два стола и четыре скамьи. В плошке мок фитиль. Огонек колебался, чадил, мужики отбрасывали густые тени. Кому-то захотелось по малой нужде, и он встал возле холмика мусора в углу. Прислуживающая девка смеялась, обнажая беззубые десны.

— Ленишься, татко, сходить на двор?

Вот услышали вздохи, сопение, тяжелые шаги. Это пришел ксендз Джобак — маленький, коренастый, словно у него посередине выпилили кусок тела, а потом снова соединили его, склеив или сбив гвоздями. Глаза у него были зеленые, как крыжовник, густые щетки бровей, красный нос, толстый, весь в бугорках. Рот — впалый, сутана была покрыта пятнами. Он передвигался, согнувшись и опираясь на две толстые палки. Ксендзу полагается быть бритым. Но на широких скулах Джобака росли жесткие и редкие волосы, как щетина у свиньи на затылке. Давно уже поговаривали о том, что Джобак не справляется со своими обязанностями духовного лица. В часовню проникал дождь. У изображения божьей матери отвалилось полголовы. Случалось, в воскресенье, когда надо было справлять мессу, Джобак валялся пьяный. Но Загаек его выгораживал, не обращая внимания на все жалобы. Мужики и так были никудышными христианами. Здесь еще потихоньку поклонялись разным идолам времен средневековья, тех времен, когда польский народ еще не знал истинной веры.

— Что, господа, пьете, да? — проговорил Джобак

глухим голосом, вырвавшимся из его широкой груди словно из бочки. — Да, надо выжечь дьявола спиртным...

— Спиртное, а что-то не горит, — посмеивался Антек.

— Она смешивает с водой, что ли? — кивнул Джобак в сторону шинкарки. — Обманываешь народ честной, да?

— Какая там вода, отец! Они бегут от воды, как черт от ладана.

— Хорошо сказано!

— Отец, почему не присядете?

— Верно, болят мои ноженьки. Тяжело им нести бремя моих костей...

Он умел выражаться витиевато, этот Джобак. Когда-то он учился в семинарии в Кракове, но давно все позабыл. Он со вздохом уселся и раскрыл рот, как у жабы, с единственным зубом, который торчал длинным черным крюком.

Шинкарка спросила:

— Отец что-нибудь выпьет?

— Выпьет, — согласился Джобак.

Она поднесла ему деревянную стопку водки. Джобак как бы с подозрением заглянул в стопку, морщась при этом от боли в суставах и во внутренностях.

— Ну, хозяйева, будем здоровы!

И с невероятной быстротой опрокинул чарку. Лицо его еще больше скривилось. Красные глазища смотрели на шинкарку с таким выражением, словно она его обманула и вместо водки подала уксус.

— Отец, мы тут говорим об этом еврее, которого Ян Бжик поселил на горе.

Джобак сразу загорелся.

— О чем тут говорить? Поднимитесь и разделайтесь с ним во имя Бога. Ведь предупреждал я вас, что он навлечет беду.

— Загаек не даст.

— Загаек — мой друг и заступник. Загаек сам тоже не хочет, чтобы село попало в руки Люцифера...

Джобак покосился на чарку.

— Еще маленько...

Яков проснулся среди ночи весь дрожа, тело было в жару, все члены — напряжены. Сердце его отчаянно колотилось. Ему приснилась Ванда. Он был потрясен желанием, которое только что испытал. Дикая мысль пришла ему в голову. А что, если спуститься к ней в долину? Она иногда спит в клуне... Все равно я погибший... И все же Яков отдавал себе отчет, что это говорит в нем злой дух. Он чувствовал, как в его жилах кипит кровь. Ему необходимо было остыть, и он пошел к ручью. Вода в нем была ледяной даже в самую жаркую пору, — она текла из растаявшего горного снега. Но Яков решил окунуться. Что ему еще оставалось кроме омовений и молитв? Он скинул порты и вошел в ручей. Луна больше не светила, но небо было полно звезд. В селе говорили, что в ручье всех подстерегает утопленник, по ночам он заманивает юношей и девушек. Но Яков знал, что еврею не следует бояться колдовства. Кроме того, если даже он утонет, это, возможно, лучше для него. "Пускай смерть будет искуплением за мои грехи..." — бормотал он слова, которые некогда произносили приговоренные высшим судом к смертной казни.

Ручей был мелок и полон камней. Только в одном месте вода доходила до груди. Яков ступал осторожно, скользил, чуть было не упал. Он опасался, как бы Валаам не залаял. Но пес, видно, спал в конуре. Яков дошел до глубокого места и нырнул. Как это ни удивительно, но холодная вода не сразу остудила его жар. Ему вспомнились слова из "Песни Песней": "...большие воды не могут погасить любовь..." Боже, что это я! — казнил он себя минутой позже, — там ведь говорится о любви Всевышнего к своему народу, каждое слово полно там Божественного смысла... — Яков окунулся еще и еще раз, покуда его возбуждение не улеглось, и, наконец, вышел из воды. Если только что он дрожал от страсти, то теперь дрожал и от холода. Он вернулся в хлев и укрылся рядом. Он молился про себя: — Боже, чем отступиться мне и прогневить Тебя, убереги меня лучше из этой жизни! Я устал от скитаний среди иноверцев, разбойников, идолопоклонников. Приведи

меня назад к моим корням, откуда я происхожу!..

Он был не одним человеком, а одновременно двумя. Один молил Бога спасти его от искушения, другой искал предлога, чтобы потворствовать желанию плоти. Ведь Ванда свободна, она не мужняя жена — изворачивался в нем кто-то. Правда, тело у них постоянно пребывает в нечистом состоянии, но, во-первых, к нееврейке неприемлемо понятие нечистоты, во-вторых, она может совершить омовение в ручье. Какое же остается препятствие? Запрет сходится с гоями. Но разве здесь может быть в силе этот запрет? Это ведь особые обстоятельства. Разве Моисей не женился на негритянке? Разве царь Соломон не взял дочь фараона? Правда, те приняли еврейскую веру, так ведь Ванда тоже может принять еврейскую веру. А то, что сказано: "Того, кто вступает в половое сношение с гоей, можно уничтожить", так это лишь в тех случаях, когда это делается открыто, при свидетелях и после предупреждения... Злой дух, дух-искуситель так и сыпал на Якова ученостью, а добродетельный ангел говорил простые слова: долго ли продолжается человеческая жизнь? Долго ли ты молод? Стоит ли ради минуты удовольствия потерять тот мир, который вечен?

Горе мне! Это все потому, что я не учу Тору! — говорил себе Яков. Он стал бормотать стихи из Псалмов. Вдруг его осенило. Он примется перечислять все Шестьсот тринадцать заповедей — те, которые указывают, что надо делать и чего нельзя. Правда, он все их не помнит, но за годы изгнания Яков убедился, что человеческая память прижимиста. Она прячет свои сокровища. Но если проявить настойчивость, она понемногу становится щедрей. Постепенно можно, вероятно, получить у нее все, что она в себя впитала. Но надо не оставлять ее в покое... Яков сразу же принялся вспоминать.

Первая заповедь — это плодиться и размножаться. (Быть может, иметь с Вандой ребенка? — шепнул ему дух-искуситель.) Какая следующая заповедь? Обрезание. А четвертая? Яков не мог вспомнить из "Книги Бытия" хотя бы еще одной заповеди. Тогда он стал вспоминать из "Книги Исхода". Какая первая запо-

ведь? Конечно, приносить жертву в Песах и есть мацу. Но какой прок в том, что он вспоминает, когда завтра он снова забудет? Он должен найти какой-нибудь способ записывать заповеди. Якову пришла идея. Он делает так, как сделал Моисей. Смог же Моисей высечь Десять заповедей на каменных скрижалях, почему же он, Яков, не сможет? Ему вовсе не надо будет высекать. Он будет выцарапывать гвоздем или выдолбит их долотом. Он раздобудет гвоздь из какой-нибудь балки. Где-то тут в хлеве валяется погнутый крюк...

В ту ночь Яков больше не мог уснуть. Почему мне это раньше не пришло в голову? — удивлялся он. Надо перехитрить ангела-искусителя. Надо уметь разгадывать его козни. Яков сел и принялся ждать утренней звезды. В хлеву было тихо. Коровы спали. Лишь снаружи доносился плеск ручья. Казалось, весь мир затаил дыхание, ожидая прихода нового дня. Яков забыл о влечении плоти. Он размышлял. Он, Яков, сидит здесь у Яна Вжика в хлеву, а тем временем Создатель правит вселенной. Текут реки, волнуются моря, каждая звезда в небе движется по назначенному для нее пути. Вот поспеют хлеба на полях и начнется жатва. Но кто заставил колос налиться? Каким образом зернышко превратилось в колос? Каким образом другое зернышко становится деревом с листьями, ветвями, плодами? Постижимо ли, как из капельки семени зарождается в материнском чреве человек? Это же все — чудеса, сплошные чудеса! Конечно, возникают вопросы, но кто такой человек, чтобы он осмелился постичь Божий промысел?...

Яков более не мог лежать и ждать рассвета. Он поднялся, произнес утреннюю благодарственную молитву, совершил омовение рук. В это мгновение сквозь щель в двери прорвалась пурпурная полоса. Яков вышел на двор. Солнце только-только стало выходить из-за горы. Птица, которая всегда возвещала приход дня, испустила свой скрипучий крик. Птица хорошо знала свое дело...

Яков принялся искать крюк, который, насколько он помнил, должен был лежать на одной из полок, где стояли крынки для молока. Но крюк исчез. Это

проделки сатаны, подумал он, сатане не по вкусу моя затея с заповедями. Яков снял крынки, снова водрузил их на место. Теперь он искал на земле среди соломы. Он не терял надежды. Только бы не сдаться! Ни одно дело во славу Бога не дается легко.

Яков отыскивал крюк. Он лежал в углу на полке. Яков не мог понять, почему он его раньше не нащупал. Так, видно, суждено. Кто-то много лет тому назад оставил здесь этот крюк, чтобы теперь Яков мог начертать Божии заповеди...

Яков снова вышел и стал искать подходящий камень. Долго искать не пришлось. Позади хлева торчала каменная глыба. Она стояла готовая, как тот камень, на котором совершал жертвоприношения праотец Авраам. Камень дожидался этого со времен сотворения мира... Никто эти письмена не увидит, хлев заслоняет. Валаам стал вилять хвостом и прыгать. Можно было подумать, что собачье чутье подсказывает ему, что именно собирается делать его хозяин...

4.

Когда наступило время жатвы, Ян Бжик привел Якова в долину. За коровами теперь ходила Бася. Яков был огорчен. Он уже успел начертать сорок три заповеди, указывающие, что надо делать, и шестьдесят девять — чего нельзя делать. Память его совершала чудеса. Он из нее выжимал давным давно позабытые сведения, изо всех сил борясь с ангелом забвения... добивался от него того, что ему было нужно, пробуя и так и этак, проявляя терпение и настойчивость и стараясь ни о чем постороннем не думать. Он сидел между валуном и хлевом, уединенный, заслоненный лебедой и низкорослой сосной, простирающей над ним свои ветви. Он делал в себе раскопки, как их делают в недрах земли те, кто ищет клад, — вытаскивал на свет изречения, суждения, отдельные слова. Годы сидения над Торой не пропали даром. Она была запрятана в клетках его мозга...

Теперь Яков был вынужден все это прервать.

Лето выдалось сухое. Здесь и без того бывали скудные всходы. А тут еще выпал неурожайный год.

Хлеба уродились редкими, зерно было мелкое и худосочное. Как и каждый год, крестьяне просили милости у образа божьей матери и у древней липы, имеющей власть над духами дождя.

Обращались и к другим поверьям. Втыкали между колосьями сосновые ветки, чтобы они притянули к себе тучи. В деревне был деревянный петух, сохранившийся со старых времен. Петуха этого украшали молодой зеленью, обматывали неспелыми колосьями и плясали с ним вокруг липы, поливая ее водой. Кроме этих, каждый крестьянин держался еще за свои собственные поверья, которые переходили по наследству от отца к сыну. Если, бывало, кто-нибудь удавится, то его родня отправлялась на кладбище и там над прахом творила заклинание, чтобы он не задерживал дождя. Известно было, что во ржи прячется баба, способная навлекать несчастья. Был еще и дед. И когда одна полоса сжата, оба прячутся в следующей, а когда все поле сжато, они забираются на другое поле. Даже тогда, когда весь хлеб собран в скирды, еще рано радоваться. Среди зерен ютятся крошечные мотыльки, которых необходимо уничтожить цепами. Покуда хотя бы один мотылек жив, можно ждать беды.

В нынешнем году чего только не делали, однако не помогло. Когда мужики узнали, что Ян Бжик привел с горы еврея, поднялся ропот. Кто знает, не его ли это рук дело?! Пошли жаловаться к эконому Загаеку, но тот сказал:

— Пускай сначала отработает. Убить его всегда успеем...

Яков находился на поле с самого утра до захода солнца, и Ванда не отходила от него. Она учила его жать, показывала, как надо точить серп, приносила еду, которую ему можно было есть по еврейским законам: хлеб, лук, плоды. Так как он теперь не ходил за коровами, ему нельзя было употреблять молочной пищи. Но в эту пору неслись куры, и Ванда потихоньку таскала ему яйца, которые он тут же выпивал сырыми. По закону Якову можно было есть кислое молоко и масло, но он грешил уже тем, что ел у гоев.

Труд был тяжек. Жнецы и жницы не переставали подтрунивать над ним. Он не пил молока, не прикасался к свинине. Работал и постился.

Крестьяне говорили ему:

— Свалишься, чужак. Протянешь копыта.

— Бог даст силы, — отвечал им Яков.

— Где твой Бог? В больших городах?

— В городах, в селах, везде.

— Ты жнешь вкривь и вкось. Портишь солому!

Девки и бабы не переставали придирааться и подтрунивать.

— Ванда, погляди-ка, как твой жених потеет!

— Он сильнее всех мужиков на деревне!

— К чему быть таким уж сильным? — заметил

Яков. — Силен тот, кто побеждает свое желание.

— Что он городит? Шут этакий...

И бабы смеялись, подмигивали, строили рожи. Одна девка подбежала к Якову и задрала свое платье до бедер. Вокруг все заржали.

— Ну и потеха!

Яков жал и повторял про себя псалмы, зубрил главы из Библии. При нем вспахали это поле и засеяли зерном. Теперь он жал хлеба. Среди колосьев росла лебеда, по краям полосы — васильки и другие сорняки. Полевые мыши удирали из-под серпа. По жнивью прыгали кузнечики, ползали божьи коровки и разные создания. Кто передвигался по земле, кто летал — каждый на свой манер. Где-то есть Десница, которая все это создала. Где-то за всем этим наблюдает дремлющее Око. С гор налетели птицы. Они перекликались человеческими голосами. Откуда ни возмись, спустилась саранча. Крестьяне расправлялись с саранчой, убивая ее лопатами. Но чем больше они убивали, тем больше налетало. Это походило на одну из десяти страшных казней египетских, которые Бог наслал на египтян. Сам Яков не хотел убивать никакой живой твари. Одно дело — зарезать корову, творя при этом молитву для облегчения коровьей души, другое дело — топтать, давить крохотные создания, стремящиеся, как и человек, жить, размножаться, есть. По вечерам, когда на жнивье появлялись

лягушки, Яков осторожно ступал, чтобы не раздавить беззащитные тельца...

Порою, когда жнецы орали свои песни и болтали, Яков пел псалмы или произносил нараспев молитвы из тех, что читают к Новому году, к Судному дню или к празднику Шавуот. Ванда, у которой был звонкий голос и нескончаемый запас песен, подхватывала его мелодии, пытаясь поддержать еврейские рулады и переливы. Душа Якова была полна музыки. Он мысленно обращался к Всевышнему: сколько можно! До каких пор будет свирепствовать нечистая сила? Долго ли еще продлится тьма египетская? О, Боже, какой мрак! Предстань в сиянии своем, Отец в небесах, и пусть уже будет конец мукам, пусть будет конец идолопоклонству, пролитой невинной крови, болезням, голоду, мору, безволю сильных, страданиям страдающих! Конечно, Ты волен делать что Тебе угодно. Конечно, Ты вынужден скрывать лик Свой. Но хватит! Вода доходит уже до горла!...

Он весь так отдался пению, что не заметил, как остальные замолчали, и только его голос раздавался в поле. Среди собравшихся послышался смех. Ему захлопали. Кое-кто пытался передразнить его. Яков стоял смущенный.

— Молись, еврей, молись! В нынешнюю жатву уже, кажись, сам Бог не в силах помочь...

— А вдруг он нас проклинаяет? Что это за язык, еврей?

— Святой язык.

— Что это значит?

— Это язык Библии.

— Что такое Библия?

— Божий Закон.

— Что там сказано?

— Чтобы не красть, не убивать, не желать чужой жены.

— Ведь то же самое Джобак проповедует в каплице.

— Все это взято из Библии.

Народ притих. Кто-то из мужиков протянул Якову репу.

— Ешь, чужак. От поста у тебя сил не прибавится...

5.

Несмотря на неурожай, в этот день, как и каждый год, перед тем как сжать последнюю полосу, устроили праздник. Девушки с венками на головах собрались в поле. Мужики и бабы встали вокруг. Загаек бросил жребий, кому "сжать бабку". Та, которой выпадал жребий, должна была сжать последнюю полосу и сделаться бабкой. Ее заворачивали в колосья, завязывали посередине перевяслом, сажали на тележку, и четверо парней возили ее от хаты к хате. Вся деревня шла следом, смеялась, пела, хлопала в ладоши. Рассказывали, что в стародавние времена, когда народ здесь еще поклонялся идолам, бабку топили в реке. Но теперь это было христианское село.

В ночь после того, как сжинали бабку все пили, плясали. Девушка, которая сжала бабку, плясала с парнем, наряженным петухом. Он кукарекал, хлопал крыльями, потешал народ. Кроме крыльев у него был петушиный гребень, к ногам были привязаны деревянные шпоры, припрятанные с прошлого праздника. Был тут и прошлогодний "петух". Оба петуха изображали драку, наскакивали друг на друга, друг у дружки выдирали перья. Девки покатывались со смеху. Прошлогодний петух терпел поражение — этого требовала церемония. А нынешний петух плясал с Бабой-Ягой. Она ехала верхом на обруче, приподняв платье выше колен. Мужики на мгновение забывали все свои горести. Дети не хотели ложиться спать. Пили водку, смеялись и шумели допоздна.

Поскольку в христианской деревне нельзя было топить живую бабку, парни соорудили соломенную. Ее сделали так, что она походила на живую: с головой, грудями, бедрами и ногами. Вместо глаз ей воткнули два уголька. К восходу солнца бабку повели к реке. Женщины кричали на нее, наказывали ей, чтобы она забрала с собой все напасти, все злключения, подвохи, злые чары. Мужчины и дети на нее плевали. Потом ее бросили в реку и смотрели, как она

быстро скатывается с крутого берега и подхватывается течением. Известно было, что река эта впадает в Вислу, а Висла, в свою очередь, впадает в море. В огромном море поджидали бабуку злые духи. Несмотря на то, что она была соломенная, а не настоящая, мягкосердечные девушки роняли слезы. Разве уж так велика разница между телом и соломой?... Яков тоже присутствовал при проводах бабуки. Ему дали выпить водки. Ванда, которая стояла возле Якова, шепнула ему:

— Была бы я на ее месте, поплыла бы с тобой на край света...

Назавтра село приступило к молотье. Весь день разносился стук цепов. Временами из вороха колосьев раздавался звук наподобие вздоха или стона. Это погибали под ударами всякие крошечные твари. Вечера были теплыми. После работы молотильщики шли в лесок, собирали хворост и зажигали костер. Ели, загадывали загадки, рассказывали разные истории о чертях и вурдалаках. Самая страшная из всех историй была история про черное поле, на котором растет черная рожь, и черный жнец жнет ее черным серпом. Девки от ужаса вскрикивали, прижимались к парням и подружкам. Дни теперь были светлые-светлые, а ночи — темные. Падали звезды. Лягушки кричали человеческими голосами. Временами среди женщин поднимался переполох. Откуда-то появлялась летучая мышь. Девки хватались за головы, вопили истошными голосами. Когда летучая мышь вцепляется в волосы, это была явная примета, что тот человек и года не проживет...

Попросили Якова, чтобы он спел, и он спел колыбельную, которую певала его мать. Всем понравилось. Потом захотели, чтобы он что-нибудь рассказал. Он стал рассказывать легенды из Библии. Больше всего понравилась история про мужчину, который прослышал, что по ту сторону моря живет распутница и что цена ей четыреста целковых; как она постелила ему шесть серебряных постелей и одну — золотую и у постелей поставила шесть серебряных лесенок и одну золотую; как она уселась против него голая... И вдруг

его цицес* стали хлестать его по лицу... И как эта потаскуха приняла потом еврейскую веру, и те же самые кровати, которые она раньше приготовила, чтобы грешить, она теперь постелила, будучи уже его законной женой... Нелегко было Якову все это рассказывать по-польски, но его поняли. Они спросили, что такое цицес, и Яков объяснил им. Ванда сидела возле него, и отсвет костра золотил ее лицо. Глаза ее полыхали огнем. Она ухватила его за плечо, укусила и поцеловала. Он пытался незаметно высвободиться, но она, прильнув к нему грудью, крепко его держала. От нее исходил жар, как от печи...

После Якову стало ясно, что эту историю он рассказал в сущности для Ванды. Это он ей таким образом намекал, что если она не станет сейчас принуждать его к сожителству, он ее потом возьмет в жены. Но имел ли он право давать такие обещания? А если жива его жена?... И, потом, как может Ванда перейти в еврейскую веру? В Польше христианину грозит за это смертная казнь. Нельзя также обращать в свою веру того, кто делает это не ради самой веры, а чтобы сойтись с евреем.

— Я опускаюсь в преисподнюю, — говорил себе Яков. — Я увязаю все глубже в болоте...

К концу молотбы в село пришел поводырь с медведем. Впервые Яков встретил здесь человека из других мест. Поводырь был с двумя фокусниками, а также с обезьянкой и попугаем, который умел говорить и вытаскивал клювом записочки с предсказанием судьбы. В деревне поднялся галдеж. Фокусники давали представление на лужайке возле дома Загаека. Пришли смотреть все мужики с бабами и с детьми. Взяли с собой и Якова. Мишка ходил на задних лапах и плясал. Обезьяна курила трубку и кувыркалась. Один фокусник ходил на руках и ложился голой спиной на доску с торчащими гвоздями. Другой играл на скрипочке, трубил в трубу и бил в барабан с колокольцами.

* Цицес — кисти из шерстяных нитей, вплетенные в углы талес-котн (см. прим. стр. 233); свисают у пояса из-под верхней одежды набожного еврея.

Народ бесился от восторга. Ванда стала плясать и прыгать, точно девчонка. Яков считал, что на такие представления смотреть не следует. Тут ведь до колдовства — один шаг. Но ему пришла в голову мысль. Ведь поводырь со своим медведем ходит из села в село, из города в город. Может, он был когда-нибудь в Юзефове? А вдруг ему известно, что стало с семьей Якова? После того как все номера были исчерпаны и артисты, привязав обезьяну и медведя к двум деревьям, собрались войти в шалаш, который они для себя соорудили, Яков подошел к ним. Он спросил поводыря, не приходилось ли ему бывать в Юзефове. Тот посмотрел на него с изумлением.

— Что тебе до того, где я был?

— Я тамошний. Один из тамошних евреев.

— Там всех евреев вырезали.

— Никого не осталось?

— Очень мало. Как ты попал сюда?

Яков рассказал. Поводырь хлестнул кнутом по воздуху.

— А тебя бы вызволили евреи Юзефова, если бы узнали, где ты?

— Да. Выкуп пленника считается у нас благочестивым поступком.

— Они бы заплатили за весть, что ты жив?

— Да, конечно!

— Как твое имя? Дай мне какую-нибудь приметку, чтобы они поверили, что я говорю правду.

Яков дал ему ряд примет, назвал имена жены раввина, их детей и главы общины. Поводырь, видно, не умел писать. Он завязал на веревочке узелок и сказал Якову, что до сих пор ему не пришлось побывать в Юзефове, но теперь он туда завернет. Если там еще остались евреи, он даст им знать, что Яков жив.

Глава третья

1.

После жатвы Яков вернулся в свой хлев на горе. Но уже не надолго. Вскоре должны были наступить холода, а с ними — голод для коров. Дни становились короче, ночи — длиннее. По утрам, когда Яков выходил, чтобы нарвать травы, с земли поднимался туман, белый, словно молоко. Над чащами лесов, над хребтами гор сплетались косами тучи. На вершинах были нахлобучены облачные шапки. По утрам окружающее пространство не было прозрачным. Все представлялось взору серым и расплывчатым. Труднее становилось отличить дым костра, разложенного пастухами, от тумана. Птицы кричали растерянно и пронзительно. С высот налетели ветры и принесли с собой холод и снег. Позднее выходило солнце, и казалось, что лето еще не ушло. Но к вечеру снова становилось холодно. Яков рвал траву и листья сколько мог, но коровам не хватало. Голодные, они мычали и били копытами оземь. Иногда во время дойки они даже брыкались. Яков снова взялся за выдалбливание на камне заповедей, но днем у него было мало времени, а ночью мешала темнота.

Быстро смеркалось. Солнце спряталось за тучу, покрывающую весь запад. По расчетам Якова сегодня должно было быть семнадцатое элуля. Ведь он сам благословил молодой месяц. Но не ошибся ли он? Чего доброго, он еще будет рвать траву в то время, как евреи во всем мире будут трубить в рог и произносить молитвы Судного дня? Он сидел в хлеву и подводил итог своей жизни. С тех пор как он себя помнит, все вокруг говорили, что он, Яков (или Екелэ, как его звали в детстве), везучий. Отец его торговал лесом и был богат. Он скупал лес у помещиков, частично вырубал его и гнал плоты Бугом и Вислой на Данциг. Он всегда привозил подарки Якову и его се-

страм. Мать Якова Гликл-Зисл, или Зисхен, была родом из Пруссии. Отец ее был раввином. Она умела говорить по-немецки, писала письма на древнееврейском языке. Она вела себя не так как другие женщины в Польше. Двери их дома были с медными ручками. На полах лежали ковры. Чай и кофе были редкостью даже у богатых, а у родителей Якова ежедневно пили кофе на завтрак. Мать искусно готовила, пекла, шила, вязала. Она учила дочерей Танаху и показывала, как вышивать по канве.

Девушки рано повыходили замуж. Яков к одиннадцати годам сделался женихом дочери юзефовского главы общины, реб Авром-Лейба, еврея, богача при помещике. Невеста Зелде-Лэйе была младше его на год. У Якова были незаурядные способности. К восьми годам он уже читал Талмуд. К помолвке он приготовил сочинение, в котором была попытка самостоятельного суждения. Он обладал красивым почерком, пел, рисовал и резал по дереву. Для синагоги он написал разноцветными красками шивити* с двенадцатью планетами вокруг Всевышнего, с оленем, львом, леопардом и орлом по углам. Перед праздником Шавуот он клал розочки на окна почтенных евреев города, а в Куци вырезал из бумаги гирлянды, фонарики и всякие другие украшения. Он рос высоким и крепким. Когда он сжимал кулак, шестеро парней не могли разжать его. Отец рано научил его плавать и "саженками", и "кролем". Сестры Якова считали, что его невеста, эта Зелде-Лэйе, — замухрышка и к тому еще порядком занудлива. Но какое ему было дело до этой десятилетней девочки? Его тянуло к тестю, дом которого был полон самых редких книг. Брат тестя был владельцем типографии. Зелде-Лэйе была единственной дочкой. Яков получил за ней восемьсот рублей приданого и пожизненное содержание.

Свадьба была шумная. Юзефов — маленький городок, но Яков не скучал. Он сразу же погрузился в книги, в учение и забыл обо всем. Действительно, у

* лист бумаги, пергамента или металла со стихом из Псалма и украшениями; висит на амвоне.

Зелде-Лэйе были странные выходы. Когда мать, бывало, накричит на нее, она разувалась, снимала чулки и отказывалась от еды. Она была уже мужней женой, но у нее все еще не было месячных. Когда же они у нее появились, она исходила кровью. Достаточно было Якову дотронуться до нее, как она начинала кричать от боли. Вечно она испытывала жжение под ложечкой, головную боль, ломоту в спине. Она постоянно гримасничала и плакала и ко всем придиралась. Но Якову сказали, что для единственной дочери это в порядке вещей. Теща держала ее большей частью при себе. Зелде-Лэйе родила ему троих детей, но он ее почти не знал. То, что она говорила ему, ее упреки, колкости напоминали болтовню глупых, маленьких детей. Она принадлежала к тем созданиям, которым чем больше уступаешь, тем хуже. Она жаловалась на скудость матери, хныкала, что отец не помнит о ней, а Яков не любит ее. Но при этом ничего не делала для того, чтобы заслужить любовь. Глаза, вечно заплаканные, красноватый нос и ужимка человека, которому необходимо что-то сделать, но он не помнит, что именно, — все это отнюдь не располагало к ней. Она даже своими детьми не занималась. Все бремя тащила на себе мать, теща Якова.

Тесть, глава общины, хотел, чтобы со временем, когда престарелый юзефовский раввин скончается, Яков занял его место. Но у раввина был сын Цодек, которого прочили в будущие раввины. И хотя реб Авром-Лейб был из крепких богачей, община решила на сей раз ему не уступать. Якова против его воли втянули в склоку. Он вовсе не собирался стать раввином, также считая, что место это принадлежит Цодеку, за что тесть сделался его врагом. Потом он стал приставать к Якову, чтобы тот занялся преподаванием и возглавил ешибот. Но Яков больше всего любил сидеть в одиночестве над книгой. Он учил Талмуд, углублялся в разные комментарии, толкования и дополнения. Особенное наслаждение доставляли ему занятия философией, каббалой, языками. С самых ранних лет доискивался он до смысла жизни, пытался постигнуть пути Господни. Он находил противоречия в Талмуде и у

разных мыслителей. Он знал о Платоне, Аристотеле, обо всех еретиках, упоминающихся в Талмуде и в разных казуистических книгах. Он был знаком с каббалой реб Моше Кордоберо и рабби Ицхак Лурия. Он отлично знал, что основа еврейства — это вера, а не разум, но он по-своему пытался постигнуть, где же пределы разума. Зачем Бог создал мир? К чему ему все эти нечистые силы, грехи, страдания? Сколько ни пытались великие умы ответить на это, загадка оставалась неразгаданной. Раз Бог всемогущ, как же он допускает, чтобы дети умирали в страшных муках, чтобы власть оказывалась в руках злодеев? Еще задолго перед тем, как гайдамаки напали на Юзефов, все уже знали об их разбоях. Прежде чем умереть, человек испытывал тысячу ужасов...

Якову едва исполнилось двадцать пять лет, когда злодеи увели его. Шестую часть своей жизни он проторчал здесь, в этой глуши среди гор, без семьи, без евреев, без книг, словно одна из тех неприкаянных душ, которые витают между небом и землей. Теперь, когда лето уже на исходе и настали короткие дни и прохладные ночи, Яков всем своим существом осязал эту тьму египетскую. Бог отвратил от него свой лик. От мрака до ереси один шаг. Дух искушения все наглед. Он дерзко заявлял Якову: "Нет Бога, нет загробной жизни!" Он велел Якову креститься, жениться на Ванде или хотя бы жить с ней...

2.

После жатвы пастухи на горе устроили гулянку. Сколько раз в течение лет, что Яков пас коров Яна Бжика, пастухи приставали к нему со своей дружбой. Они то уговаривали, то угрожали, но он каждый раз отделялся от них. Ему нельзя было есть их пищу, он не переносил их диких песен, дурацкого смеха, пустословия и сквернословия. Пастухи эти были в буквальном смысле слова язычниками, как в стародавние времена, когда Польша не была еще христианской страной. Девки сплошь и рядом рожали от кого попало. Большинство этого сброда было дефективно. На каждом шагу встречались больные водянкой, зо-

бом, покрытые лишаем, наделенные всякими увечьями. Никто здесь не знал стыда, словно во времена до грехопадения. Яков не раз приходил к мысли, что эта чернь застыла на какой-то первобытной ступени развития. Кто знает, может они здесь — остатки миров, которые Господь, согласно толкованию Мидраша, уничтожил прежде, чем создать сегодняшний мир.

Яков научился не замечать их, смотреть сквозь них как сквозь воздух. Если они рвали траву в низине, он забирался, обычно наверх. Он избегал их. Проходили дни и недели, и он никого не встречал, хотя кругом их было полно. Кроме того, что он считал за грех приблизиться к этим нелюдям, это было просто опасно. Они способны были без всякой причины напасть, как настоящие дикари. Болезнь, страдания, кровь вызывали у них смех.

Но в нынешнем году они, как видно, сговорились между собой взять его силой. В один из вечеров, когда Ванда ушла, они окружили хлев Якова со всех сторон, словно отряд неприятеля, тайком подбирающийся к крепости, чтобы взять ее штурмом. На одно мгновение воцарилась тишина, так что слышно было лишь одно стрекотание кузнечиков. Потом вдруг раздались крики, улюлюканье и со всех сторон ринулись парни и девки. Они тащили камни, палки, веревки. Поначалу Яков решил, что они собираются убить его, но подобно праотцу Иакову, был готов дать отпор или, если удастся, откупиться. Он схватил дубину и стал размахивать ею во все стороны. Поскольку большинство из них было физически неполноценно, их нетрудно было разогнать. Но тут выступил вперед один пастух, умеющий разговаривать более или менее по-человечески, и стал его уверять, что ничего худого они не собираются ему сделать, а лишь хотят пригласить на гулянье. Все это произносилось с заиканием и с искажением слов. Остальные были уже пьяны. Они громко смеялись, катаясь со смеху по земле. Некоторые визжали, как сумасшедшие. Яков понимал, что на сей раз ему не вывернуться, и он сказал:

— Ладно, я пойду с вами, но есть не буду.

— Идем, идем! Берите его! Жид, жид! — слыша-

лись возгласы. К Якову потянулось множество рук, чтобы тащить его. Хлев находился на бугре, и Яков то бежал, то падал. От этого сброда разило потом, мочой и еще чем-то тошнотворным, чему он не знал названия. Словно их тела заживо гнили. Яков аж задохнулся. Крики были не лучше запахов. Девки надрывались со смеху. У многих смех переходил в плач. Парни ржали, гоготали, валились друг на друга, лаяли по-сбачьи. Когда кто-нибудь падал, другие не поднимали его, как это обычно делают пьяные, а шли по нему. Яков был полон душевного смятения. Как это возможно, чтобы человек, созданный по образу Господню, так низко пал! У них ведь есть отцы, матери, они не лишены мозга и сердца, глаза их глядят на мир Божий...

Они привели Якова к месту с вытоптанной травой, обугленными поленьями, золой, грязью, блевотиной. Здесь стояла бочка с водкой, на три четверти уже опустошенная. На земле сидели захмелевшие музыканты с барабаном, свистульками и козлиными рогами, напоминающими еврейский шофар. Один держал цимбалы со струнами из бычьих жил. Каждый в этой толпе пьяных "веселился" на свой манер. Кто хрюкал поросячком, кто лизал землю, кто бормотал, обращаясь к камню. Многие валялись трупами. На небе была полная луна. Девка, прижавшись к стволу дерева, надрывно рыдала. Кто-то натаскал ветвей и подбросил в потухающий костер. Сухие ветки вспыхнули. Кто-то пытался затушить костер, мочась в него, но спяна попадал мимо. Распутницы смеялись, хлопали в ладоши, издавали призывные возгласы так, что Яков, привыкший за последние годы ко всему, содрогался, как в каком-то кошмаре...

Ну да, вот это оно и есть! Такие же непотребства, наверное, совершали те семь народов, — говорил себе Яков. — Поэтому было приказано: "Ло тхиа кол нэшома"...* Яков, будучи еще мальчиком, сетовал на Бога: зачем истреблять целые народы? Чем виноваты малые дети? Теперь, когда Яков наблюдал это сб-

* "Да не воскреснет ни одна душа" (ивр.).

рище скотов, он понял, что бывают нечистоты, которые не смыть никакими водами, — их надо уничтожить, выжечь. Что, например, можно поделаться с этими дикарями? Из них выпирало язычество древних тысячелетий. В заплывших кровью, выпученных глазах — похоть и оголтелость. Кто-то поднес Якову кружку водки. Яков глотнул. Это была не та водка, которую употребляли в Юзефове, а какая-то отрава, обжигавшая губы. Она драла легкие, жгла внутренности, словно раскаленный свинец, что в стародавние времена вливали в горло приговоренным к казни. Якова охватил страх: не дали ли ему яду? Не пришел ли его конец? Он морщился, содрогался. Пастухи подняли крик:

— Дайте ему еще! Напоите этого еврея! Накачайте его!...

— Свинины, свинины! Дайте ему свинины! — орал кто-то.

Пастух с рябым лицом, похожим на терку, пытался впихнуть Якову в рот кусок колбасы. Яков оттолкнул его. Тот упал и остался лежать колодой.

— Эй, он убил его!

Этого мне еще не хватало... пролить кровь... — Яков на подкашивающихся ногах подбежал к упавшему. Слава Богу, тот был жив! Он лежал и изрыгал проклятия. Губы его были покрыты пеной. Он все еще сжимал в пальцах кусок колбасы. Кто смеялся, кто выкрикивал бранные слова:

— Жид! Богоубийца! Паразит! Паршивец! Стервец!..

Поодаль какой-то пастух набросился на девуку, пытался овладеть ею, но был так пьян, что не мог. Они барахтались словно кобель с сукой. Остальные вокруг подбадривали его выкриками, глумились, плевались, гримасничали... Девка-урод с прямоугольной, всклокоченной головой и зобом, сидела на пне, причитала, повторяя все одни и те же слова. Она заламывала руки, длинные как у обезьяны и широкие как у мужчины. Ногти на ее пальцах отгнили. Ноги были покрыты нарывами, стопы — плоские как у гуся. Вокруг нее толпились, пытались утешить ее. Кто-то

дал ей водки. Она разинула кривой рот с единственным зубом и взвыла еще громче.

— Ой, Отец родимый...

Значит, она тоже взывает к Отцу, — сказал себе Яков, — и она знает о том, что есть Отец в небесах... Он преисполнился великой жалости к этому созданию, которое вышло из материнского чрева таким уродом, настоящим ублюдком. Кто знает, на кого загляделась мать — кто знает, чья грешная душа вселилась в нее! Это был не просто плач, а рыдания существа, узревшего вдруг пропасть страданий и знающего, что нет спасения... Это животное вдруг каким-то чудом осознало скотство в себе и зарычало на свою судьбу...

Яков хотел приблизиться к ней, утешить ее, но по ее полуприщуренным глазам он увидел, что муки не смягчили ее жестокости — того и гляди, еще бросится на него, как шальная. Яков опустил на камень и стал бормотать стих из Псалмов: "Боже, как много врагов у меня, сколько их восстает против меня! Многие утверждают, что нет исцеления для моей души..."

3.

Среди ночи пошел дождь. Сверкнула молния, и на мгновение озарила хлев, коров, навоз, глиняные горшки. Потом ударил гром. Яков совершил омовение рук и произнес два благословения: "...Творящему первоначальные силы природы" и "...Тому, чьей силой, чьим могуществом полнится мир". Ветер распахнул дверь хлева. Лил ливень, барабанил по крыше, точно град. Яков пошел закрыть дверь. Дождь хлестал его тысячами кнутов. И среди лета случались такие ливни. Но сейчас Яков боялся, что непогода продержится долго. Так оно и случилось. Ливень через некоторое время прекратился, но небо оставалось обложенным тучами. С гор потянуло ледяным холодом. На рассвете снова полило. Где-то взошло солнце, но утро походило своей темнотой на вечер. О том, чтобы рвать траву, не могло быть и речи. Коровы ели из вороха травы, заготовленной им на субботу. Яков разложил на камнях костер из сухих веток, чтобы стало хоть немного уютнее. Он сидел возле огня и молился.

Обратив свое лицо на Восток, он произнес "Шмоне-зере".* Одна из коров повернула голову, поглядела. Из крупного ока печально струилась тупая покорность. На черной, влажной морде было выражение досады. Якову порой казалось, что коровы про себя думают: почему это ты — человек, а мы — коровы? Где тут справедливость?... Он принимался тогда гладить их, ласкать, потчевать вкусными кореньями. Он мысленно молился за них. — "Отец в небесах, Ты ведь знаешь, для чего Ты их создал. Они — творение рук Твоих. Когда наступят мессианские времена, они ведь тоже найдут избавление..."

Помолившись, Яков поел хлеба с молоком, а потом закусил яблоком, оставленным для него накануне Вандой. Если дождь будет лить весь день, Ванда к вечеру не придет. Ему придется довольствоваться одной простоквашей — блюдом, от которого его уже воротило. Поэтому он подолгу жевал каждый кусок, чтобы полнее почувствовать вкус. Живя у отца, а потом у тестя, он никогда не подозревал, что у человека может быть такой аппетит и что хлеб с отрубями так необыкновенно вкусен. Ему казалось, что буквально с каждым глотком у него прибывают силы.

Дверь была открыта, ветер улегся, и Яков то и дело выглядывал во двор. Возможно, все же прояснится? Рано еще для осенних дождей. Но дождь лил и лил. Дали, которые виднелись отсюда в ясные дни, исчезли, и ничего не осталось кроме плоского холма, на котором стоял хлев. Все испарилось, стерлось: небо, горы, овраги, поросшие лесом кручи. Лил дождь, и клубы тумана волочились по земле. Обрывки его дымились на ветвях сосен. Яков только здесь, в своем изгнании постиг суть таких понятий, как непроницаемость и скудость, о чем он читал в свое время в каббалистических книгах. Недавно вокруг еще было светло. Теперь все покрыто мраком. Дали сократились, сплющились, высоты распались, словно полотнища шалаша, реальность потеряла свое значение, свою

* основная молитва каждой из трех ежедневных обязательных служб.

силу. Но если столько красоты может в единый миг скрыться из глаз, которые из плоти и крови, что уж говорить о взоре души? Выходит, каждый судит по своим возможностям и ничего более. Бесчисленное множество народов, храмов, ангелов, серафимов и святых духов окружает нас, но мы их не видим, потому что грешны и погружены в чувственный мир.

Как это обычно бывает в дождь, всевозможные живые создания искали укрытие. В хлев налетели бабочки, мушки, жуки, кузнечики. У всех их было по две пары крыльев. Бабочка с белыми крылышками и с черным узором на них, напоминающим буквы, села на камень возле огня. Наверное, грелась и обсыхала. Яков бросил крошку хлеба, но она оставалась недвижима. Яков присмотрелся и увидел, что она мертва. Щемящая боль охватила его. — Уже, оттрепетала! — произнес он вслух. Ему захотелось помолиться за упокой этого милого существа, прожившего всего одни сутки или даже менее того, и не узнавшего, что такое грех. Наверное, так нужно было! Крылышки, мягкие как шелк, покрыты пылью неведомых миров. Точно покойник в саване...

Якову часто приходилось воевать с насекомыми, кусавшими его и коров. У него не было выхода, он вынужден был уничтожать их. Во время ходьбы он топтал разных жучков и червячков. Когда рвал траву, он наткался на ядовитых змей, которые шипели на него и пытались ужалить. Он убивал их палкой или камнем и каждый раз чувствовал себя убийцей. Где-то в глубине души он сетовал на Создателя, вынуждающего одного уничтожать другого. Из всех вопросов к Всевышнему этот был самым мучительным...

Якову сейчас нечего было делать. Он лег на постель, укрылся дерюгой. Нет, Ванда сегодня не придет! — сказал он себе. Ему было совестно, что он так тоскует по этой нееврейке. Но сколько он ни старался прогнать свои мысли о ней, они всякий раз возвращались к нему с утроенной силой. Так было с ним, когда он молился, так было наяву и во сне. Он знал горькую правду: это в нем сильней жалости к жене

и детям, сильней любви к Богу. Если тяга к плоти идет от сатаны, тогда он, Яков, попался в сети... Да, я лишился обоих миров! — бормотал он. Краем глаза он поглядывал во двор. Среди мокрых кустов колыхнулся цветок — один, другой... в зарослях зелени таились полевые мыши, кроты, хорьки, ежи. Каждый зверек, также как и он, ждал, чтобы выглянуло солнце. На деревьях, словно плоды, гроздьями расположились птицы. Как только дождь притих, слышались криканье, щебет, свист.

Издалека донеслись приглушенные звуки рожка. Пастушья песня наполнила прелый, сырой воздух. Голос звал, просил, требовал, протяжно выводил жалобу, горькую обиду всего живого — людей и животных, евреев и неевреев, — даже оводов на заду у коровы...

4.

К вечеру дождь перестал. Но было ясно, что это лишь небольшой перерыв. Запад оставался под тяжелой красноватой тучей, словно заряженной молниями. Она зловеще поблескивала серой. Вороны летали понизу, истошно каркая. Воздух был влажный, с изморосью, готовой в любой миг превратиться в дождь. Яков не ожидал, что Ванда придет к нему в такую непогоду. Но, взобравшись на каменистый бугор, откуда обычно ее высматривал, он увидел, как она поднимается с двумя кувшинами и с корзинкой, в которой носила ему еду. На глаза Якова навернулись слезы. Есть все же душа, которая помнит о нем в этой глуши, которая предана ему. Он мысленно просил Бога, чтобы дождь не захватил Ванду в пути. Молитва, очевидно, была услышана. Не успела Ванда закрыть за собой дверь хлева, как хлынул ливень. Лило как из ведра. Яков и Ванда на этот раз мало разговаривали между собой. Она сразу принялась доить коров. Он стал умываться, готовясь к ужину. Обоих охватила какая-то неловкость, стыдливость. В хлеву было полутемно. Время от времени сверкала молния, и пред Яковом представала Ванда, освещенная небесным светом, словно Ванда, которую он знал, была

только грубым подобием той, которая открывалась ему в эти мгновения... Разве она не создана по образу и подобию Божьему? — вопрошал его внутренний голос. — Не есть ли ее красота отражение великолепия Божьего?... Разве Исав не имеет в себе искру Авраама и Исаака?... Яков отлично знал, куда ведут все эти размышления, но не в силах был прогнать их. Они не отступали от него во время еды, во время благословения, во время молитвы. Становилось очевидным, что сегодня уже не распогодится и Ванда не сможет вернуться домой. Да и поздно было. Дорога полна опасностей. Ванда сказала:

— Если ты меня не прогонишь, я пересплю здесь в хлеву.

— Если не прогоню? Хозяйка ведь ты...

— Я могу переночевать где-нибудь в другом месте.

— В такой-то ливень?...

Они еще немного посидели и поговорили. Ванда рассказывала о Загаеке, о его парализованной жене, о его сынке Стефане, который добивался ее, о его дочери Зосе. Вся деревня знала, что отец живет с ней. Кроме дочери у него было еще с полдюжины других коханок и целая орава байструков. Загаек этот вел себя не как эконо́м и даже не как помещик, а как царь. Когда крестьянская девушка выходила замуж, он приказывал ей придти к нему на первую ночь по давно отмененному закону. И хотя у мужиков здесь была собственная земля, и они должны были работать на помещика только два раза в неделю, он с ними обращался как с крепостными. Порол их, заставлял делать неположенную работу, обложил налогом водку, "лечил" больных против их желания. Драл зубы клещами, отрубал секачем пальцы, вскрывал грудную полость столовым ножом. Когда баба рожала, он нередко заменял акушерку. За все это он брал, разумеется, плату. Ванда говорила:

— Все он хочет лишь для себя. Если бы он только мог, то проглотил бы всю деревню...

Приготовить постель для Ванды было проще простого. Яков постелил немного сена. Ванда улеглась, накрылась шалью. Он лежал в одном углу, она в дру-

гом. Было слышно, как коровы жуют в темноте свою жвачку. Ванда перед сном сходила во двор по своим делам. Она вернулась промокшая. Яков молчал. Ванда, как легла, так словно окаменела. Только бы не храпеть! — сказал он себе. Яков думал, что не уснет, но усталость взяла свое. Веки опустились, в голове померкло. Каждый вечер он падал как сноп. Слава Богу, что усталость сильнее всех желаний...

5.

Яков проснулся охваченный страхом. Он открыл глаза. Возле него на соломе лежала Ванда. В хлеву было прохладно, но от ее тела веяло жаром. Она обхватила его шею, прижалась к нему грудью. Ее губы касались его лица. Яков оцепенел, пораженный тем, что она сделала и вспыхнувшей в нем страстью. Он попытался ее отстранить, но Ванда тянулась к нему с невероятной силой. Он хотел заговорить с ней, но она прильнула губами к его губам. Якову пришло в голову сказание о Боазе и Руфи. Он понял, что его желание сильнее его самого. Да, я теряю вечный рай! — сказал он себе. Он слышал горячий шепот Ванды:

— Возьми меня, возьми!...

У нее вырвался стон, похожий на вой зверя.

Мгновение он лежал потрясенный. Он более не мог отказать ни ей, ни себе. Он как бы потерял первородство. Место в Талмуде, которое он давно позабыл, сейчас припомнилось ему: “Тот, над кем ангел-искуситель одержал победу, — да облачится он во все черное и пойдет и сделает то, что просит душа его“... Слова эти точили его мозг и теперь готовы были разрушить последнюю преграду. Его дыхание сделалось тяжелым. Охваченный непреодолимым влечением, Яков произнес с дрожью в голосе:

— Ванда, не могу я... Разве если ты окунешься...

-- Уж как я мылась...

--- Нет, ты должна окунуться в реке.

--- Сейчас?

-- Это веление Бога.

Она на мгновение притихла, пораженная необыч-

ностью этого требования. Затем проговорила:

— Я и на это готова...

Она вскочила и потащила его за собой. Она распахнула дверь хлева. Дождь прошел, но ночь оставалась темной, сырой. Не видно было ни неба, ни речки. Можно было лишь ухом уловить плеск, шелест, журчание. Ванда одним рывком стянула с себя рубашку. Она взяла Якова за руку и повлекла его за собой. Речушка была полна камней. Там было одно глубокое место. Они брели к нему вслепую, с тайным жаром душ, отрекшихся от своего тела. Они натыкались на камни, на водоросли, их обдавало водой. Она не хотела окунуться без него, тянула его за собой. Он даже позабыл скинуть холщевые штаны. От холода у него захватило дыхание. Речка от дождей стала глубже. Яков на какую-то долю мгновения потерял под ногами почву. Они ухватились друг за друга. Во всем этом было что-то от подвижничества. Так прыгали иудеи в огонь и в воду во славу Божию. Вот он уже снова стоял на твердой почве. — Окунись!! — сказал он Ванде.

Она отпустила его и нырнула. На мгновение он ее потерял из виду и стал шарить руками. Она снова выплыла на поверхность. Его глаза уже привыкли к темноте. Он скорее догадался, нежели увидел, что она побледнела, и сказал:

— Скорее, идем...

— Это для тебя! — шептала она.

Он взял ее за руку, и они побежали назад к хлеву. Он думал о том, что даже холодная вода не остудила жара его крови. Оба они были как две пылающие лучины... Хлев обдал Якова теплом. Он нащупал дерюгу и стал ею обтирать мокрое тело Ванды. Он скинул с себя мокрые штаны. Он стучал зубами и тяжело дышал. Было темно, но глаза Ванды светились внутренним светом. Он слышал, как она повторила:

— Это для тебя!..

— Это не для меня, а для Бога, — сказал он, испугавшись собственных слов.

Все преграды пали. Он поднял Ванду и понес к постели.

Глава четвертая

1.

Взошло солнце. Дверная щель стала пунцовой. На лицо Ванды легла золотая полоса. Они немного подремали, но страсть разбудила их. Они снова припали друг к другу. Она пылала неведомым ему доселе жаром. Никогда раньше он не слышал таких слов. Она называла его оленем, львом, волком, быком и еще такими же чудными именами. Он овладевал ею снова и снова, но все не мог утолить своего желания. Она все больше раскалялась. Их охватила такая радость, такой восторг, который мог исходить либо от Бога, либо от дьявола. Она кричала: "еще, еще! Дай мне, дай! Муж ты мой!" Это походило на волшебство, на чародейство. Из него рвалась наружу сила, которую он никогда в себе не подозревал. Он познавал тайны собственного тела. Где это видано, где слышано?! — поражался он. Теперь только постиг он стих из "Песни Песней": "Любовь сильна как смерть..." Когда взошло солнце, он попытался оторваться от нее, но она повисла на его шее и стала целовать его в новом приступе жажды.

— Муж мой, муж мой! Я хочу умереть за тебя!...

— Зачем умирать? Ты еще молода.

— Забери меня отсюда... К твоим евреям... Я хочу быть твоей женой! Я тебе рожу сына!..

— Стать дочерью еврейского народа можно лишь веря в Бога.

— Я верю в Него, верю!...

Ему пришлось закрыть ей рукой рот. Она говорила так громко, что пастухи могли услышать. Он потерял стыд перед Богом, но перед людьми ему еще было совестно. Даже коровы повернули головы и таращили глаза. Наконец, он отпрянул от нее. Он заглянул в себя и, потрясенный, увидел, что утро ему не принесло с собой раскаяния. Наоборот, он не понимал, как мог

ждать так долго...

Он не совершил омовения рук, потому что горшок с водой опрокинулся. Он еще даже не помолился. Точно ему было боязно произнести еврейское слово после того, что произошло. Штаны его за ночь не просохли, и он их натянул мокрыми. Ванда тоже стала одеваться. Яков вышел во двор, а она занялась коровами. Сентябрьское утро было прохладное и ясное. Трава была покрыта росой. Каждая росинка сверкала и лучилась. Щebetали птицы. Где-то мычала корова, и мычание это неслось издали трубным гласом.

— Вот и потерял Вечное царство... — бормотал Яков. — Может, совсем отказаться от еврейства? — нашептывал ему злой дух. Яков взглянул на каменную глыбу, на которой он выдолбил примерно треть заповедей. Она была как бы напоминанием о проигранной войне. — И все же я еврей! — крепился изо всех сил Яков. Он омыл руки в ручье, затем помолился. Когда дошло до слов: “Чтобы не знать искушения”, Яков остановился. Таким искушениям не подвергался даже сам Иосиф Праведный. Яков вспоминал Мидраш, в котором говорится, что Иосиф уже собрался было согрешить, но пред ним предстал образ отца. Просто небеса не допустили...

Яков бормотал и бормотал, — он все искал оправдания. Ведь по законам Торы здесь не допущено нарушение: она не нечиста, и не является также чужой женой... Ведь даже у праведников в стародавние времена были наложницы. Она еще станет образцовой еврейкой, — говорил себе Яков, — понемногу это у нее войдет в кровь и плоть. Во время молитвы перед его внутренним взором предстали подробности прошедшей ночи. Он невольно сравнивал Ванду с Зелде-Лэе, царство ей небесное. Та в постели всегда была молчалива и холодна. Она обычно жаловалась то на головную, то на зубную боль, на жжение под ложечкой, на недомогание. Вечно у нее были всякие осложнения по женской части. Откуда ему было знать, что существует такая любовь, такие поцелуи, такой огонь, такая жажда? Он снова слышал слова, которые Ванда говорила ему, внимал ее шепоту, воркотне, вздохам.

Она готова была среди ночи убежать с ним в горы. Она говорила словами Руфи: Куда пойдешь ты, туда пойду и я. Твой народ — это мой народ, твой Бог — мой Бог. Жаркие волны шли от нее к нему, снопы солнца, дыхание лета, ароматы цветов, листьев, поля, леса — как молоко коров, пахнущее травами и кореньями, которыми они питаются...

Яков молился и позевывал. Он в эту ночь почти не сомкнул глаз. Не было сил, чтобы пойти собирать траву. Он низко склонил голову, вслушиваясь в свою усталость. За краткое время сна ему что-то приснилось. Подробности он не помнил. Но общая картина осталась. Будто он спускается по лестнице куда-то вглубь — не то к источнику, не то в пещеру, блуждает где-то среди холмов, рвов и могил. Навстречу ему — некто с корнями растений вместо бороды. Может, это был его отец? Сказал ли он ему что-нибудь?

...Ванда выглянула из хлева. Она улыбалась ему улыбкой жены.

— Чего ты там стоишь?

Он поднес палец к губам в знак того, что ему нельзя говорить.

Она смотрела на него с любовью, улыбаясь и кивая головой. Яков смежил веки. Покаяться? Но сожаление вызывали у него не его грехи, а его состояние. Он заглянул в себя словно в глубокий колодец, и то, что он там увидел, повергло его в ужас. Там змеей притаилось вождение...

2.

Уже миновали по календарю Якова еврейский Новый год, Судный день (Йом Кипур) и праздник Суккот. В день, когда по расчетам Якова выпадал праздник Симхат Тора, Ян Бжик поднялся на гору вместе со своим сыном Антеком и дочерьми Вандой и Басей. Уже вот-вот должен был пойти снег, так что надо было спустить коров в долину. Поднимание их на гору, как и спускание с нее было делом нелегким. Корова — это тебе не коза, которая может прыгать по кручам. Корову приходилось держать за толстую, короткую веревку, иной раз — даже палкой лупить, чтобы сдви-

нуть с места. Случалось не раз, что какая-нибудь из них вырывалась из рук пастуха и в бешеном галопе ломала ногу, а то и вовсе сворачивала себе шею. Но на сей раз все обошлось благополучно. Спустя несколько часов, когда коровы уже стояли внизу, в хлеву у Яна Бжика, стал падать снег. Горы окутало туманом. Село побелело, преобразилось. В этом году в домах не хватало еды, но дрова были. Из всех труб поднимался дым. Рамы окон замазали глиной, заткнули паклей. Крестьянские девушки смастерили из соломы длинноносые и рогатые чучела. Страшилища эти предназначались для отпугивания морозов.

Как и каждый год, Якову предложили жить в хате вместе с хозяевами. Но он пошел на свое старое место в овин. Он устроил себе постель из соломы. Ванда набила сенсм подушечку. Для укрывания Яков взял из стойла попоны. В овине не было окна, но дневной свет проникал сквозь щели в стенах. Как ни странно, Яков теперь тосковал по горе. Наверху все же было лучше, чем внизу. Гора отсюда казалась далекой, чужой, огромной, в шапке из туч, с убеленной бородой... У Якова душа разрывалась. Где-то там у евреев праздник Симхат Тора, в синагогах кружат вокруг амвона, подняв над головой свиток Торы, мальчики несут флажки, к которым прикреплены яблоки или свечи, девушки целуют Тору, народ танцует, поет, идет из дома в дом, где всех угощают вином, медом, струделем, пирогом. На этот раз по счету Якова праздник приходился на пятницу, так что мужчины там заблаговременно испросили соответствующего разрешения, чтобы в праздник сготовить на субботу. Женщины в нарядных кофтах и юбках засовывали в печь чолнд...* Все это здесь казалось Якову сном. Словно прошло с тех пор, как его вырвали из дому, не пять лет, а пятьдесят... Остались ли хотя бы в Юзефове евреи? Оставили ли погромщики Хмельницкого кого-нибудь в живых? И в состоянии ли спасшиеся евреи радоваться Торе, как в былые времена? Ведь все они

* Еврейская традиционная еда, выдержанная в печи после варки примерно около суток.

потеряли своих близких... Яков стоял у двери овина и смотрел, как падает снег. Одни снежинки падали сразу, другие сначала кружились в вихре, как бы пытаясь снова вернуться на небо. Снег покрыл гнилую солому крыш, нарядил каждое бревно, каждую жердь, каждое сломанное колесо, каждую щепку. Петухи кукарекали зимними голосами...

Яков вернулся в овин. Вдруг ему пришли на ум строки религиозного гимна, о котором он не вспоминал все пять лет.

Соберитесь, ангелы,
И скажите друг другу:
Кто Он и каков Он,
Который поднимается ввысь
И спускается смело и уверенно...

Яков стал тихонько напевать. Обычно в праздник Симхат Тора даже сам кантор, когда исполнял это, был под хмельком. Каждый год раввин предупреждал, чтобы священнослужители не творили молитвы, если они навеселе. Тесть Якова был арендатором у помещика, он занимался винокурением. Возле двери, рядом с рукомойником, стоял обычно боченок с торчащей в нем соломинкой и тут же висел копченый бараний бок. Когда заходил бедняк, он творил благословение и сам себя угощал водкой и закуской...

Яков сидел в сумраке наедине со своими мыслями, когда открылась дверь и вошла Ванда. Она несла два куска дубовой коры, веревки и тряпки.

— Я сделаю тебе лапти.

Ему пришлось протянуть ей ноги, чтобы она могла снять мерку. Он чувствовал себя неловко — его ноги были грязные. Но она прикоснулась к ним своими теплыми пальцами, положила их к себе на колени, гладила. Затем приложила кору к его стопам и острым ножом обрезала ее по их форме. Она долго возилась, и видно было, что ей это доставляет удовольствие. Но вот лапти были готовы. Она велела ему встать и пройти, чтобы проверить, не жмет ли нигде — точь-в-точь как это делал Михл-сапожник в Юзефове, когда приносил Якову обувь для примерки.

— Тютелька в тютельку, правда?

— Да, хорошо.

— Что же ты, мой Яков, такой скучный? Теперь, когда я рядом, я буду следить за тобой. Мне не придется лазать к тебе на гору. Ведь мы теперь дверь в дверь...

— Да.

— Ты совсем не рад? А я так ждала этого дня...

3.

Рассвет был темным и походил на вечер. Солнце в небе мерцало огарком. Загаек с дружками отправился в лес на медвежью охоту. Стефан, сынок Загаека, расхаживал по селу в высоких сапогах, в бобровой шапке-ушанке, в бараньем полушубке с красной вышивкой. В правой руке он держал плетку. Мужики называли Стефана "вторым татулей". Он с малолетства имел сношения с женщинами и уже успел наплодить байструков. Стефан был коренаст, с прямоугольной головой, курнос как мопс. Подбородок у него был вздернутый с углублением посредине. Он имел славу наездника, занимался с отцовскими собаками, ставил капканы на зверей и птиц. Как только отец ушел на охоту, он принялся хозяйничать. Он заглядывал в хаты, все вынюхивал своими широкими ноздрями, все искал. Всегда можно было найти у мужика что-нибудь, что по закону принадлежало помещику. Вот он зашел в кабачок и заказал себе водку. То, что трактирщицей была его родная сестра, побочная дочь Загаека, не помешало ему кончиком плетки приподнять подол ее платья.

Прошло немного времени, и он уже был возле хаты Яна Бжика. Когда-то Ян Бжик был уважаемым на деревне хозяином. Он принадлежал к тем мужикам, которым Загаек покровительствовал. Но теперь Ян Бжик стар и болен. В тот же день, когда вернулся со скотом с горы, он слег и целые дни проводил на печи, все более обессиленная. Он кашлял, плевал и то и дело что-то бормотал про себя, лежал щуплый, исхудавший, с длинными космами волос вокруг плечи. Лицо красное,

словно освежеванное, щеки впалые, выпуклые глаза затянуты кровавыми жилками, а под глазами мешки. В нынешнюю зиму Ян Бжик был уже так слаб, что с него сняли мерку для гроба. Но он снова пришел в себя и лежал лицом к горнице, один глаз слеплен, другой открыт. Тяжко больной, он не переставал следить за хозяйством и не пропускал ни одной мелочи. То и дело слышался его хрип:

— Никуда не годится... Безрукие!...

— Не нравится, так слезай с печки и делай сам — огрызалась Бжикиха, — маленькая, чернявал, наполовину плешивая, с лицом, усеянным бородавками, с раскосыми, как у татарина, глазами. Между женой и мужем не было мира. Бжикиха открыто говорила, что супруг ее уже изъездился и что ему пора на покой.

Бася, коренастая, темная, скуластая, с прорезями глаз, как у матери, была известной лентяйкой. Она могла сколько угодно сидеть на постели, уставившись в пальцы собственных ног и время от времени засовывая руку за пазуху в поисках вшей.

Ванда возилась у печи. Лопатой доставала буханку хлеба. Хозяйничая, она потихоньку повторяла сказанное ей Яковом — что мир сотворил всемогущий Бог, что Адам и Ева были первыми людьми, что Авраам первый узнал Бога и что Иаков — праотец всех евреев. Ванда никогда ничему не училась. Слова Якова впитывались в ее мозг, как дождь — в сухое поле. Она даже запомнила названия племен и историю о том, как братья продали Иосифа в Египет. Стоявший у двери Стефан прислушивался к ее бормотанию.

— Что это ты разговариваешь сама с собой? — спросил он. — Ворожишь, что ли?

— Не держи дверь открытой, паныч, — сказала Ванда, — холод входит.

— Ты горячая, так быстро не замерзнешь.

И Стефан вошел в хату.

— Где раб, еврей этот?

— В овине.

— Он не хочет зайти в дом?

— Не хочет.

— Говорят, ты с ним спишь.

Бася хихикнула, обнажив широкие, редкие зубы. Она злорадствовала, что заносчивой ее сестре попало. Бжикиха приостановила веретенное колесо.

Старый Бжик заворочался на печке среди тряпья. Ванда метнулась, как ужаленная.

— Мало что злые языки болтают!

— Говорят, он тебя обрухатил.

— Вот это, паньч, уже брешут! У нее только что были месячные, — отозвалась Бжикиха.

— Откуда ты знаешь, ты подглядываешь?

— Она окровавила снег возле дома, — доказывала Бжикиха.

Стефан стегнул плеткой по голенищам.

— Хозяева желают от него избавиться, — помявшись, сказал он.

— Кому он мешает?

— Да он колдун и все такое прочее. Почему это ваши коровы дают больше молока, чем остальные?

— Потому что Яков дает им больше корма.

— Про него много говорят. Его уберут, непременно уберут! Наш ксендз предаст его суду.

— За какие грехи?

— Не тешь себя надеждой, Ванда, его порешат, а ты родишь от него черта.

Ванда не могла более сдерживать себя.

— Не всегда злым да дурным все на руку! — вырвалось у нее, — есть Бог на небе, он заступается за тех, кто терпит от несправедливости!

Стефан округлил и вытянул губы, как бы собираясь свистнуть...

— Кто это сказал тебе? Еврей?

— Наш ксендз проповедует то же самое.

— Это идет от еврея, от еврея, — повторял Стефан. — Если за него Бог заступается, почему же он допустил, чтобы еврея продали в рабство? Ну, что скажешь?...

Ванда хотела возразить, но не знала как. Ком стал у нее в горле, ей жгло глаза, и она еле сдерживала слезы. Ей захотелось как можно скорей увидеть Якова и задать ему этот страшный вопрос. Она, обжигаясь, ухватила пальцами хлеб, брызнула на него

крылом воду. Лицо ее, и так красное от печки, пылало гневом.

Стефан еще постоял немного, опытным глазом окинул ее спину, зад, бедра. Несколько раз подмигнул Бжикихе и Басе. Бася отвечала ему игривым взглядом, Бжикиха подобострастно улыбалась пустыми деснами. Вскоре Стефан ушел, свистнув и стукнув дверь. Ванда видела через окно, как он зашагал в сторону горы, полон злобы и коварства. Сколько она его помнила, он только и говорил о том, что того или другого следует убить, замучить, засудить. Он помогал отцу колоть и коптить свиней. А когда отец приговаривал мужика к порке, порол обычно Стефан. Даже следы, оставляемые его сапогами на снегу, были какими-то неприятными... Ванда принялась бормотать молитву. "Отец в небесах, доколе Ты будешь молчать? Напусти на него проклятие, как на фараона! Да утонет он в море!

Она услышала голос матери:

— Он тебя хочет, Ванда, ох, как хочет!

— Ну и останется при своем хотении...

— Ванда, не забывай, что он сынок Загаека, чегó доброго, может поджечь нашу хату. Что мы тогда станем делать? Спать на улице?

— Бог не допустит!

Бася прыснула со смеху.

— Чего смеешься?

Бася не ответила. Ванда прекрасно знала, что мать и сестра на стороне Стефана. Они хотели толкнуть ее на позорный шаг. Лоб старухи прорезала волнистая складка. Пустой рот, окруженный морщинами, улыбался, как бы говоря: разве стоит из-за таких пустяков портить отношения со Стефаном Загаеком? Раз на его стороне сила, надо ему угодить... Татуля на печи забормотал что-то.

— Чего тебе, татуля?

— Что ему надо было?

Бжикиха усмехнулась.

— Что нужно коту от кошки?...

— Он уже ничего не помнит, — зашептала Бася.

— Ванда, дочка, ты молодчина, не давай ему сде-

лать тебе байструка! — бормотал старик плачущим голосом, — когда ты затяжелеешь, он тебя забудет. Хватит с него байструков, с этого хорька!

И Ян Бжик исторг из себя какой-то рыдающий напев, совсем не земной. Ванда вспомнила про Десять заповедей, которым ее обучил Яков, о том, что надо почитать отца и мать.

— Татко, ты чего-нибудь хочешь?

Ян Бжик не отвечал.

— Может, хочешь есть или пить?

Старик не то плакал, не то зевал.

— Мне хочется по малой нужде.

— Слезь и выйди во двор, — стозвалась Бжикиха, — здесь дом, а не хлев.

— Мне холодно.

— На тебе, татко, — и Ванда подставила ему посудину.

Старик попытался встать, но потолок был слишком низок. Он опустился на колени. Он долго ждал, но струйка мочи все не появлялась. Бася тихонько посмеивалась. Старуха пренебрежительно качала головой. Через некоторое время в таз стали падать отдельные капли.

— Ну, он уже никуда не годится! — ворчала Бжикиха.

— Мать, он твой муж и наш отец. Мы должны его почитать, — сказала Ванда.

Бася снова рассмеялась. Ванду стал душить плач. Яков говорил ей, что Бог справедлив, что Он вознаграждает хороших и наказывает плохих. Но вот Стефан, этот лоботряс, этот потаскун, этот разбойник здоров и крепок, а татуля, который всю свою жизнь тяжело трудился и никому не сделал зла, разваливается на глазах. Так это справедливо?... Ванда стала смотреть в окошко. Ответ мог придти только из овина, от Якова.

4.

Если бы кто-нибудь когда-нибудь сказал Якову, что он будет рассуждать с крестьянкой о таких вещах, как свободный выбор, цель жизни и почему пло-

хо праведнику, он бы это принял за несуразную выдумку. Но вот как обернулась жизнь... Ванда спрашивала, а Яков по своему разумению отвечал. Он лежал с ней в овине под одним покрывалом, грешник, нарушающий уложение Талмуда, и он на чуждом польском языке пытался передать ей то, о чем сам узнал из богословских книг. Он говорил: Бог испокон веков. Он вечно был всемогущ, но до поры до времени не проявлял этого. И действительно, как можно быть отцом, когда еще нет детей? Как можно быть милостивым, когда еще не над кем смилостивиться? Как мог Бог быть **избавителем, помощником, заступником**, когда не было никого, кого можно было бы исцелить, кому можно было бы помочь, за кого можно было бы заступиться? Богу было по силам создать наш мир и множество других миров, но могло ли быть место для Его творений, когда Он сам заполнял все так, что вне Его не оставалось пространства? Чтобы смог осуществиться мир, **вездесущий Бог** должен был ужаться, затенить свой лик, не то все сотворенное им было бы ослеплено и сожжено. Чтобы стало возможным существование мира, Бог должен был создать некую пустоту, некий мрак. А это то же, что зло и грех.

В чем цель существования? В свободном выборе. Человек должен сам выбирать между добром и злом. Для этого он сюда пожаловал из-под престола Божьего. Отец сначала носит на руках своего ребенка, но стремится, чтобы ребенок сам научился ходить. Бог — это наш отец. Мы его дети. Он нас любит, Он благословляет нас своею милостью, но Он допускает, чтобы мы оступались и падали, дабы мы привыкли ходить на своих ногах. Он следит за нами недремлющим оком и, когда нам грозит опасность упасть в пропасть или попасться в сети, берет нас в Свои святые объятия...

На дворе трещал мороз, но в овине было не холодно. Ванда лежала рядом с Яковом, прижавшись грудью к его груди, глядя ему в рот. Он говорил, а она спрашивала. Сначала, когда он стал беседовать с ней об этих материях, Яков считал себя дураком и конечно же преступником по отношению к еврейству. Разве может мужицкий ум постичь такие глубины?

Но по ее расспросам он убеждался, что она его понимает. Она задавала даже такие вопросы, на которые Яков не знал, что ответить. Вот у животных нет свободного выбора, почему же они также подвержены страданиям? Если только одни евреи являются Божиими детьми, зачем же существуют неевреи?... Она так прижалась к нему, что он слышал биение ее сердца. Руки ее обхватывали его ребра. Ее жажда знаний не уступала влечению ее плоти. Она спрашивала:

— Где душа? В глазах?

— В глазах, в мозгу, она оживляет все тело.

— А куда девается душа, когда человек умирает?

— Она поднимается обратно в небо.

— У теленка есть душа?

— Нет, только дух.

— Куда он девается, когда закалывают теленка?...

— Иногда он входит в человека, который ест его.

— Ну а у свиньи тоже есть дух?

— Нет. Да... Что-то должно быть у нее...

— Почему еврею нельзя есть свинины?

— Это закон Бога. Такова Его воля.

— Я стану дочерью Бога, если перейду в еврейство?

— Да, если ты сделаешь это всем сердцем.

— Да, Яков, всем сердцем.

— Ты должна сделать это не потому, что любишь меня, а потому, что веришь в одного Бога со мной.

— Верю, Яков, верю. Но ты должен меня учить. Без тебя я слепая...

Ванда строила планы. Они вместе удерут отсюда. Она знает горы. Правда, христианке нельзя принять иудейскую веру, но она будет выдавать себя за еврейку. Она острижет волосы и не будет смешивать молочную пищу с мясной. Яков научит ее говорить по-еврейски. Она сейчас же хотела начать учиться. Она произносила слово по-польски, а он должен был тут же перевести его на еврейский. Хлеб — это бройт, вол — это окс, стол — это тиш, лавка — это банк.

— А как по-еврейски коза?

— Коза по-еврейски так же — коза, — сказал Яков.

— А дах?

— По-еврейски так же — дах.

— Почему это так? — спросила Ванда, — почему по-польски и по-еврейски одинаково?

— Когда евреи жили в стране своих предков, — сказал Яков, — они говорили на святом языке. Язык, на котором евреи говорят теперь, заимствован из других языков.

— Почему евреи более не живут в своей стране?

— Потому что они грешили.

— Что они такого сделали?

— Поклонялись идолам, грабили бедных...

— Ну, а теперь они этого больше не делают?

— Они более не поклоняются идолам.

— А как с бедными?

Яков замялся.

— К бедным еще все несправедливы.

— А кто к бедным справедлив? Мужички работают круглый год, а они голы и босы. Загаеѣ палец о палец не ударяет, зато все забирает себе, — лучший урожай, лучших коров...

— Человек за все отчитается, все с него спросится.

— Где, Яков ты мой, когда?

— Не на земле...

— Ну, мне пора. Скоро начнет светать!

Ванда на прощанье стала целовать Якова. Она повисла на его шее, впилась в его рот. Ее лицо снова запылало. Но вот она оторвалась от него и пошла. Она что-то бормотала у двери, улыбалась застенчиво и в то же время озорно. Была безлуная ночь. Но от снега падал отсвет на ноги Ванды и на ее лицо. Она напоминала Якову легенды о Лилит, которая приходит по ночам к мужчинам и оскверняет их. Хотя он с Вандой жил уже несколько недель, он каждый раз содрогался при мысли, какой он совершает грех. Каким образом это могло произойти? Долгие годы не поддавался он соблазну, и вдруг потерял волю. Он стал совсем другим с тех пор, как сблизился с Вандой. Порой он сам себя не узнавал. Словно прежняя душа из него вылетела. Он молился, но не было сосредоточенности. Он все еще временами повторял по

памяти какой-нибудь Псалом или раздел Мишны, но сердце его не участвовало в том, что произносили уста. Что-то в нем закупорилось. Он перестал напевать про себя старые мелодии и как бы стеснялся думать о жене, детях, о всех этих невинных жертвах гайдамаков. Что общего у него с ними? Они богоугодны, а он нечист. Их гибель — во славу Бога, а он заключил союз с дьяволом. Яков более не мог преградить дорогу дурным мыслям. Голова его была полна всяких фантазий, глупостей, капризов. То он воображал, что ест пирог, жареную курицу, марципаны, то — что пьет разные дорогие вина или что нашел среди скал драгоценности и стал богачом. Он видел себя разъезжающим в карете... Страсть его к Ванде была теперь так велика, что достаточно было ей уйти из овина, как он уже тосковал по ней. Вслед за душой изменилось и тело. Он стал ленив, его тянуло к постели. В эту зиму он страдал от холода больше, чем во все годы. Когда он колот дрова, топор то и дело застревал в полене, и Яков не мог его вытащить. Когда разгребал снег во дворе, то быстро уставал и вынужден был делать передышки. Как это ни было удивительно, но коровы, которых он сам выходил, почувствовали его состояние и перестали слушаться. Случалось во время дойки, что какая-нибудь из них лягнет его или пырнет рогом. Пес теперь лаял на него как на чужого...

Даже сны стали другие. Отец с матерью перестали ему являться. Как только он засыпал, он был с Вандой. Он странствовал с ней по темным лесам, лазал по пещерам, тонул в топях и болотах, полных зловонья и всякой мерзости, а за ним по пятам гнались черти, звери, — косматые, шершавые, хвостатые, змееподобные, с зобами, со свисающим выменем. Они вопили страшными голосами, плевали на него, блевали. Он просыпался от этих кошмаров, обливаясь потом, но был полон похоти. Голос внутри него беспрестанно звал Ванду. Ему теперь уже стоило усилия не быть с ней в дни ее месячных.

5.

Сияла луна. Небо было ясное, ночь — светла как

день. Стоя у двери овина, Яков видел горы, разбросанные на необозримом пространстве. Под покровом снега зеленели елки. Скалы над лесами походили: одна — на покойника в саване, другая — на зверя, ставшего на дыбы, третья — на чудовище из какого-то другого мира. От окружающей тишины у Якова звенело в ушах — словно скопище сверчков стрекотало под снегом. Снег не падал, но время от времени в воздухе появлялась одиночная снежинка. Ворона проснулась и каркнула. Зашевелились в своих убежищах не то полевые мыши, не то суслики. Можно было подумать, что им вдруг почудилась весна. Сам Яков также ожидал чуда. А вдруг на этот раз раньше обычного настанет конец зиме? Ведь все во власти Бога. Он может приказать солнцу повернуть, как во времена праотца Авраама. Но для кого Всевышнему совершать такие чудеса? Для него, для Якова, отступника и развратника? Он устремил свой взор на деревья во дворе. Хлопья снега, которые повисли на их ветвях, белели в ночи словно какие-то фантастические плоды. С них весенним цветом слетали снежинки.

Яков напряг слух. Что-то она не идет? В хате давно уже темно. Избенка торчала на насыпи, точно гриб. Временами до него долетали шорохи, голеса. А быть может, это ему только мерещилось? Но вот открылась дверь, и появилась Ванда. Не босая и укутанная в шаль, как обычно, а в тулупе, обутая, с палкой в руке. Она подошла к Якову и сказала:

-- Татуля помер.

У Якова оборвалось сердце.

-- Как это?... Когда?

-- Он заснул с вечера, как всегда. Вдруг — раздался короткий стон. Он испустил дух, как цыпленок.

--- Куда ты?

--- За Антеком.

Некоторое время оба молчали. Потом Ванда сказала:

-- Теперь для нас настанут плохие времена. Антек твой недоброжелатель. Он хочет тебя убить.

--- Что я могу сделать?

-- Будь осторожен!

Ванда удалилась. Яков смотрел ей вслед. Она все уменьшалась и уменьшалась, пока не превратилась в комочек среди снегов. Хотя Ванда не плакала, Яков знал, как у нее горько на душе. Она любила отца. Она даже Якова часто называла "татулей". Теперь она сирота. Душа или, говоря иными словами, дух ее отца вылетел вон из тела. Но где он теперь? Еще в хате? Или уже поднялся вверх? А может быть, он вышел в трубу? Яков знал, что по деревенскому обычаю должен теперь зайти в хату и сказать несколько утешительных слов. Он не знал, как быть. Без Ванды хата была для него змеиным гнездом. Он также не был уверен, можно ли ему по еврейскому закону это сделать. Все же он пошел. Открыл дверь. Старуха и Бася стояли посреди хаты. На кровати лежал Ян Бжик — резко изменившийся. Лицо восковое, уши цвета мела, а вместо рта — дырка. Трудно было представить себе, что это тело еще недавно жило. Лишь в сморщенных веках и в складках вокруг глаз оставалось некоторое сходство с прежним Яном Бжиком. В них таилась улыбка человека, узнавшего о чем-то забавном. Бжикиха хрипло всхлипнула.

— Нет больше. Кончено!...

— Да утешит вас Господь!

— Еще в ужин съел миску с ячменными клецками, — сказала Бжикиха не то Якову, не то себе, — ничего не оставил.

Пока Яков стоял, стали сходитьсь соседи: бабы в платках, в стоптанных башмаках, мужики в тулупах, полушубках, в лаптях. Какая-то старуха старалась плакать, ломала пальцы, крестилась. Бжикиха каждому повторяла те же слова: мол, к ужину он ел ячменные клецки, все проглотил... В этих словах были и упрек смерти, и доказательство того, какая она была покойному преданная жена. При свете, исходившем из площадки, все лица казались темными, затененными, полными ночных тайн. Воздух сразу стал тяжелым. Кто-то пошел за Джобаком. Гробовщик пришел снять с покойника мерку для гроба.

Яков потихоньку вышел. Он среди этого семейства был чужой, но уже не настолько, как прежде. Ян Бжик

теперь приходился Якову тестем... Яков испугался этой мысли. Разве мы все не происходим от Тераха и Лавана? — пытался он перед самим собой оправдаться. Ему было холодно, — зуб на зуб не попадал. Яков привык к Яну Бжику, который по природе был добрым и справедливым. Он Якова ни разу не обидел, не обозвал его никак. Между ними установилась скрытая близость, словно старый каким-то шестым чувством уловил, что его любимая дочь будет принадлежать Якову. Да, все это — тайны, великие тайны — говорил он сам себе, — все люди созданы по образу Господню. Кто знает? Такой вот Ян Бжик может сидеть в раю вместе с другими праведниками...

Якова охватила тоска по Ванде. Что она не идет так долго?... Теперь больше не будет покоя... Пес лаял, народу все прибывало. Во дворе показался Загаек, — маленький, плотный, в лисьей шубе и в валяных сапогах. На голове у него была меховая шапка-боярка. Усы под мясистым носом топорщились как у кота.

Рассвело. Звезды погасли, небо стало бледно-розовым. Где-то за горами уже взошло солнце. Снег местами зарумянился. Птицы, зимующие в этих местах, перекликались пронзительными голосами. Яков пошел в хлев к коровам. Квятуля, самая молодая корова, которая недавно была яловой, вот-вот должна была стелиться. Она стояла, набрякшая. По ее смолисто-черной морде струйкой текли слюни. Влажные глаза смотрели на Якова, как бы просили: помоги мне, человек...

Яков принялся готовить коровам пойло. Пора было их и доить. Он смешал сечку с отрубями и брюквой. — Все мы рабы. Божьи рабы... — бормотал он, как бы обращаясь к коровам. Вдруг растворилась дверь, и ввалилась Ванда — лицо красное, мокрое от слез. Она припала к Якову и разрыдалась, как, бывало, рыдала мама, царство ей небесное, в канун Йом Кипура, перед тем, как шла опрокинуть свечу.

— Теперь у меня один только ты!... Один только ты!...

Глава пятая

1.

Несмотря на то, что деревня жила впроголодь, в ночь под Рождество пир стоял горою. Кто заколол поросенка покрупней, а кто — поменьше, но в каждой хате было достаточно мяса для праздника. Не было также недостатка и в водке. Детвора стайками ходила из хаты в хату и пела колядки. Ребята постарше водили ряженого волка и собирали мелкие монетки. Часовня стояла с непочиненной крышей, зато у себя в сарае Загаек устроил рождественское представление. Вокруг колыбели с Христом-младенцем было разыграно, как волхвы пришли в Вифлеем, чтобы приветствовать новорожденного сына, над изголовьем которого сияла утренняя звезда. Все для этого представления осталось с прошлого года: посохи, льняные бороды, золоченая звезда. Сарай и овцы были настоящими, и их блеяние тешило удрученные сердца.

Зима была трудная. Свирепствовали разные болезни. На погосте прибавилось немало могил взрослых и детей. Ветры опрокинули почти все деревянные кресты, воткнутые в земляные холмики. Но теперь полагалось веселиться. Загаек раздавал детям игрушки, а бабам белую муку, чтобы они могли испечь просвиры. Яков уже объяснил Ванде, что евреи верят в единого Бога и что, согласно еврейской вере, у Бога не может быть сына, у него также не может быть компаньонов. Но Ванде все же пришлось участвовать в деревенском празднике со всеми наравне. Ей даже дали роль в представлении. Она стояла рядом со Стефаном с обручем на голове, изображая статую святой. Стефан надел мошкар, прицепил белую бороду и нахлобучил высокую каску. От него разило водкой. Он потихоньку щипал Ванду и нашептывал разные непристойности.

Ванда не переставала просить Якова, чтобы он пришел в хату на рождественский ужин в кругу семьи.

Даже Антек, враг Якова, пытался на эти праздничные дни помириться с ним. В доме стояла елка, увешанная лентами и венками. Бжикиха напекла лепешек на сале, приготовила голубцы, разные мясные и овощные кушанья. К столу для четного числа не хватало мужчины. Нечет — это считалось для нового года дурной приметой. Но Якова не уломали. Все блюда были трюфельные, от всего веяло язычеством, про которое сказано: "...лучше воздержаться, чем взять грех на душу". Он остался в обине, поел всухомятку. Ванде больно было глядеть, как Яков чуждается ее, прячется ото всех. Девки смеялись над ним, да и над ней, потому что все уже знали, что он ее "коханек". Бжикиха открыто говорила о том, что надо как можно скорей избавиться от этого проклятого еврея, который позорит семью. Ванда теперь остерегалась приходить к нему по ночам, потому что парни были способны на любые проделки. Собирались нагрязнать и напугать его, вытащить силой, заставить есть колбасу. Кто-то подал мысль, что не мешало бы бросить Якова в реку, а если не утопить, так кастрировать. Ванда дала Якову нож, чтобы он смог в случае надобности защититься. Чтобы заглушить горечь сердца, Ванда налегла на водку, пытаюсь таким образом забыться...

На третий день после сочельника в деревне устроили праздник в память древнего бога лошадей, зимы и силы. Ксендз Джобак говорил, что следует отменить этот языческий праздник, что с приходом Иисуса все эти божки потеряли власть, и в больших городах уже давно подобных праздников не отмечают. Но деревенский народ не слушал его. Плясали в доме Загаека и во всех хатах. Сельские музыканты пиликали на своих скрипочках, бренчали на цимбалах, барабанили в барабаны. Играли "башмачника", "пастушка", "голубку", "добрую ночь",* а также жалобную песню — из тех, что вызывают у баб слезы. Парни с девушками отплясывали мазурку, польку, краковяк. Были позабыты все тревоги. Сани скользили по снегу, до отказа набитые молодежью. На лошадиных шеях позвякивали

* "спокойной ночи" (польский).

колокольцы. Некоторые запрягали в саночки собак. Ванда дала Якову обещание не гулять на языческих праздниках, но все же вынуждена была плясать и пить со всеми. Она не могла, пока жила в деревне, держаться в стороне от всех. Именно потому, что она собиралась бежать с ним, с Яковым, и принять еврейскую веру, ей нельзя было возбуждать подозрения... Она вбежала к нему в овин, разгоряченная, с сияющими глазами, готовая тут же снова убежать, наскоро поцеловала его, потом прислонила голову к его груди и разрыдалась. Она сказала Якову:

— Не сердись на меня. У себя дома я уже чужая...

2.

По расчетам Якова, уже наступил месяц нисан. Яков до сих пор в Песах не ел квашеного. Он обходился эти восемь дней молоком, творогом и овощами. Тепло ранней весны исчезло, и снова стало холодно. Выпал густой снег. Подморозило. Вышло так, что Антек присмотрел себе корову в соседнем селе. Он взял с собой Ванду, чтобы посоветоваться. Ванда не могла ему отказать. Покуда Яков находился здесь, она не должна была ссориться с братом. Поутру Яков подоил коров. Потом он принялся колоть дрова. Эту работу он предпочитал всем остальным. Поленья так и летели у него из-под топора. Не было такого чурбана, как бы он ни был крепок и сучковат, который бы ему не поддавался. В самые неподатливые Яков сначала вбивал клин. Наколот целую поленицу. После этого зашел в овин, чтобы отдохнуть. Он опустил на солому и сомкнул веки. Сразу же стало ему что-то сниться. Это относилось к Ванде, но действие происходило не здесь в деревне, а где-то в другом месте. Вдруг Яков почувствовал, как кто-то тормозит его. Он открыл глаза. Дверь в овине была открыта. Возле него стояла Зася, сестра Ванды. Она звала его.

— Вставай, тебя зовут к Загаеку.

— Кто зовет?

— Какой-то парень.

Яков сел. Он сразу понял, в чем тут дело. Загаек узнал, что Яков собирается удрать, и теперь

ему конец. Стефан недавно говорил Ванде, что “с этим евреем покончат”. Ну вот и пришло время, — сказал себе Яков. С тех пор, как его взяли в плен, он постоянно ждал этого. Он встал на подкашивающиеся ноги. На пороге нагнулся и набрал в горсть снега, обтер им ладони, чтобы можно было произнести еврейское слово. “Да будет Твоя воля, чтобы смерть моя стала искуплением за все мои грехи!”, — бормотал Яков. Это были слова исповеди, произносимые в древние времена теми, кого приговаривали к смертной казни. На миг ему пришло в голову попытаться удрать. Но каким образом? Он бос и раздет. — Нет, не убегу! — решил он. — Я грешил и заслужил кару. Во дворе его ждал холоп Загаска. Он не был вооружен. Он сказал Якову:

— Пошли! Господа ждут.

Яков ощутил сухость в горле.

— Что за господа?

— А черт его знает!

— Ага, это меня будут судить, — подумал Яков.

Залаяла собака. На пороге появилась Бжикиха. Она стояла низенькая, коренастая, с желтым лицом. В чуть раскосых глазках было нечто такое, что нельзя назвать ни сочувствием, ни местью. Была та немота, с которой скот воспринимает любое событие, не думая о сопротивлении. Бася встала рядом с матерью. Вот и собака умолкла, опустила хвост. Хорошо, что Ванды нет при этом, — подумал Яков, — пока она вернется, все уже, может быть, будет кончено... Он хотел произнести последнюю молитву “Шма Израэль”, но решил, что еще слишком рано. Он ее скажет, когда на шею ему накинут петлю. Стало холодно и тяжело в животе. У него вырвалась икота и вслед за ней отрыжка. Он стал бормотать третью главу из Псалмов. Но когда дошло до слов: “но Ты, Господи, щит передо мной, слава моя, и Ты возносишь голову мою”, он запнулся. Было уже слишком поздно для упования... Яков кивнул Бжикихе и Басе, но они не ответили. Они стояли, как истуканы. Яков продолжал идти с парнем, удивляясь, что тот не вооружен и не связал ему даже руки. Яков шел, опустив голову, размеренно

шагая. Всему должен придти конец, — говорил он себе мысленно. Ему уже давно любопытно глянуть по ту сторону нашего бытия. Единственное, чего он сейчас желал — это как можно скорей перешагнуть через страдания смерти. Он приготовился славить Всевышнего, даже если станут заставля́ть хулить или отвергать Его.

Повыходили бабы, тупо провожая идущих взглядом. Собаки то лаяли, то миролюбиво виляли хвостами. Навстречу Якову попалась утка. — Переживешь меня! — утешил ее Яков. Он прощался с деревней и с целым светом. — Как бы только она не заболела с горя, — мелькнуло у него в голове. Он имел в виду Ванду. Не суждено ей придти к истине, — жалел он ее. Он поднял глаза, увидел небо. Оно было голубое, по-весеннему чистое, с единственным облачком, похожим на животное с одним рогом и с длинной шеей. Издали виднелись горы, через которые Яков когда-то мечтал бежать из плена. Значит, суждено мне быть с ними!... Он имел в виду родителей, жену, детей.

Парень привел его к дому Загаека. Там стоял фургон с запряженной парой. Упряжка, да и сам фургон имели не местный вид. На хомутах поблескивали медные гвоздики. Между задними колесами висел фонарь. Лошади были накрыты шерстяными попонами. Якова ввели в дом по начищенным ступенькам лестниц. Он уже успел позабыть, что на свете существуют лестницы. От них повеяло на него далекими местами, чем-то родным, городским. В коридоре пахло капустой. Здесь заблаговременно готовили обед. Двери были с медными ручками, как в доме родителей Якова.

Одна из дверей открылась, и то, что Яков увидел, было невероятно, как бывает лишь во сне. За столом сидели три бородатых еврея с пейсами и в ермолках. У одного был расстегнут лапсердак, и из-под него выглядывал талес-котн* с цицес. Был здесь и еврей, знакомый Якову. Но от растерянности Яков не мог сообщить, кто это. Он стоял пораженный. Некоторое время обе стороны смотрели друг на друга с изумлением.

* См. ссылку стр. 233.

Затем один из евреев обратился к нему по-еврейски:

— Вы — Яков Замощер?

У Якова потемнело в глазах.

— Да, я, — ответил он.

— Зять реб Аврома Юзефовера?

— Да.

— Вы не узнаете меня?

— Да. Нет...

Яков недоумевал. Лицо это было ему знакомо, но он никак не мог припомнить, кто это. Значит, это не конец жизни? — мелькнуло у него в голове. Он все еще не мог понять, что здесь происходит. Ему стало неловко за свой мужицкий вид, за босые ноги. Он оцепенел. Его охватила детская застенчивость и нерешительность. А вдруг я уже "там"? — пришло ему в голову. Он хотел что-то сказать, но не мог издать ни звука. В эту минуту он забыл все еврейские слова. Но тут распахнулась другая дверь, и вошел Загаек — коренастый, с пунцово красным носом, с усиками, тонкими, как мышинные хвостики, одетый в зеленую бекешу с петлицами и в сапогах с низкими голенищами. В руке он держал ремень, один конец которого был прикреплен к ноге зайца. Загаек был уже с утра пораньше навеселе, — это видно было по его неровной походке и по красным глазам. Он закричал:

— Ну что, это ваш еврей?

— Да, это он, — после некоторого колебания ответил тот, который только-что говорил с Яковом.

— Берите его и уходите! Где деньги?

Один из евреев, низенький, с холеным лицом, широкой, черной бородой веером, черными глазами, глубоко сидящими над белыми подушечками щек, молча вытащил из-за пазухи кожаный кошелек и стал сосредоточенно отсчитывать золотые рубли. Он отсчитал пятнадцать золотых. Загаек щупал каждый золотой, пытался согнуть его. Только теперь Яков осознал происходящее. За ним пришли евреи. Его вызволяют из плена. Вот этот ведь юзефовский — один из хозяев города! --- закричало что-то в Якове. Его охватила невероятная беспомощность, словно все пять лет его жизни среди мужиков собрались в это мгновение в

нем и превратили его в хама, в болвана. Он не знал, куда девать огрубевшие руки, грязные ноги. Ему было совестно за свой рваный зипун, заплатанные штаны, длинные до плеч волосы. Его тянуло по-мужицки поклониться этим евреям, целовать им руки. Еврей, который считал золотые, поднял глаза.

— Да будет благословен Воскрешающий мертвых!...

3.

Все произошло необыкновенно быстро. Загаек подал Якову руку, пожелал счастливого пути. Евреи вышли с ним на улицу, велели ему сесть в фургон. Возле дома Загаека собралась кучка крестьян, но из семейства Бжика там никого не было. Прежде чем Яков смог проронить слово, возница — Яков его только сейчас увидел — стегнул лошадей, и фургон покатил под гору. Яков помнил о Ванде, но уста его не раскрылись. О чем он мог просить? Чтобы взяли с собой христианку, его возлюбленную? Ее даже не было в деревне, и он не смог проститься с ней. Также неожиданно, как его пять лет тому назад взяли в плен, его теперь вызволили: спешно, стремительно, без рассуждений. Евреи в фургоне, все одновременно, что-то говорили ему. В своем замешательстве он не мог толком ничего понять, словно ему был чужд их язык. На его тело повесили покрывало, на темя положили ермолку. Он сидел, будто голый среди одетых. По-немножку он снова стал привыкать к евреям, к их речи, повадкам, запаху. Он спросил, откуда они узнали о нем, и они сказали:

— Как же, поводырь с медведем рассказал...

— Что случилось с моей семьей? — помолчав, осведомился Яков.

— Твоя сестра Мириам жива.

— Больше никто?

Все молчали.

— Должен ли я совершить обряд крия?* — спросил Яков себя и остальных. — Я уже забыл закон...

* Крия — обряд, когда в знак траура по усопшему члену семьи надрывают край одежды.

— По родителям да, а по детям только в течение первых тридцати дней, — отозвался один за всех.

Хотя он все время считал, что родные его погибли, его вновь охватило чувство скорби. Из всей семьи осталась одна лишь сестра Мириам... Он страшился расспрашивать подробно, сидел молча и смотрел перед собой. Его избавители говорили больше между собой, нежели с ним. Они обсуждали вопрос одежды для Якова: рубашки, талес-котна, брюк, ботинок. Кто-то вставил, что его надо подстричь. Кто-то, развязав кожаный мешок, возился с предметами, упакованными в нем. Кто-то предлагал ему лэках и вино, но Яков отказался. Хотя бы один день ему необходимо было провести в трауре. Теперь он уже вспомнил, кто этот хозяин из Юзефова, которого он раньше не узнал. Это был реб Мойше Закалковер, один из отцов города. Когда Якова увели, этот Мойшеле был юношей с маленькой бородкой. Он здорово постарел!

— Совсем как Иосиф и братья, — сказал один.

— Если мы до этого дожили, нам следует возблагодарить Всеvyšнего, — подхватил другой.

— Да будет благословенно имя Его! — бормотал Яков как бы для того, чтобы показать, что он еврей и что вызволившие его не ошиблись. Притом он понимал, что слова эти неуместны. Ему следовало бы тут же приступить к молитве. Но он себя чувствовал как-то неловко перед этими интеллигентными людьми. Голос его казался ему грубым. Все они были небольшими, а Яков был так высок, что головой касался обруча фургона. Ему было тесно. Здесь пахло чем-то таким, что было ему и знакомо и чуждо. Он хотел чихнуть, но сдерживался. Следовало поблагодарить своих избавителей, но он неясно представлял себе, какие выражения уместны в таком случае. Слова были на языке, но он не мог их произнести. Каждый раз, как только он собирался заговорить, к его еврейской речи примешивалась польская. Его охватил страх невежды, вынужденного говорить с учеными мужами и знающего наперед, что он попадет впросак. Наконец, он спросил:

— Кто остался в Юзефове?

Все заговорили разом, как будто только и ждали от него этого вопроса.

Гайдамаки разгромили город. Они убивали, резали, сжигали и вешали, но кое-кто остался. В основном, вдовы, старые люди и немного детей, которые прятались в погребах и на чердаках или в деревьях у крестьян. Рассказывающие произносили имена знакомые, а также чужие. В Юзефов понаехали евреи из других местечек.

Фургон спускался с горы. Солнце проникало сквозь полотно, а евреи все рассказывали и рассказывали со щемлящей напевностью Книги Плача, голосами скорбящих. Каждый рассказ кончался тем же: убили. И лишь изредка: умер в эпидемию. Да, ангел смерти делал свое дело: после резни и пожаров началась полоса эпидемии. Люди падали как мухи. Якову трудно было себе представить, как после всех этих ужасов и кошмаров хоть кто-нибудь остался в живых. Но всегда находятся и уцелевшие. Рассказывающие как бы сгибались под тяжестью обрушившихся несчастий. Яков низко опустил голову. Юзефов более не был Юзефовом. Это был совсем другой город. Он, Яков, теперь как Хони Га-Меагель, который, по преданию, проспал семьдесят лет и встал, когда уже было новое, чуждое ему поколение. Все превратилось в пепел: синагога, школа, баня, богадельня, даже надгробные плиты на кладбище растащили эти разбойники. Из священных книг ни одной не осталось. Город полон невежд, сумасшедших, уродов. Один из сидящих в фургоне воскликнул:

— За что нам это? Ведь Юзефов был местом, где учили Тору.

— Такова воля Всевышнего.

— Но почему? Чем виноваты малые дети? Злодеи закопали их живыми.

— Три дня колыбался холм за синагогой.

— У Нахума Берчи они вырвали язык.

— Они отрезали груди у Бейли Мойше-Ичи...

— Что мы им сделали плохого?

Не было ответа на эти вопросы. Сплошной загадкой являются человеческие страдания и человеческое

злодейство. Евреи подняли глаза и смотрели на Якова, словно ждали от него каких-то слов, а он был нем. Когда Яков объяснял Ванде, что не может быть свободы в поступках без того, чтобы не было и зла, и что не бывает милости там, где нет несправедливости, ему казалось все ясным. Но теперь это утверждение звучало для него слишком гладким, чуть ли не наветом. Разве не может Создатель раскрыть свое величие без помощи гайдамаков? Должны ли младенцы быть заживо похороненными? Яков мысленно видел перед собой своих детей — Ицхока, Брайнделе и крошку — как их бросают в глинистую яму и засыпают землей... Ему слышался их придушенный крик. Даже если души детей вознесутся к светлейшим чертогам и будут наивысшей мерой вознаграждены, все равно невозможно стереть эти муки, этот кошмар... Яков теперь не мог постичь, как это в течение пяти лет он хотя бы на одно мгновение мог забыть о них. Ведь в этом забвении также кроется злодейство!

— Я тоже злодей, — бормотал он про себя, — я — один из них, я — гайдамак...

Глава шестая

1.

Уже прошел Песах, миновал также праздник Шавуот. Вначале Якову каждый день казался длинным и полным событий, точно год. Каждый час, каждая минута приносила с собой что-то новое. Нередко возвращалось полузабытое. Шутка ли, вернуться из рабства назад к своим евреям, к еврейству, еврейским книгам, одеждам, праздникам! Когда Яков сидел в хлеву на горе или внизу в овине, ему часто казалось, что от этого всего и следа не осталось, что Хмельницкий и его казаки все уничтожили, не оставили места для убежища. Бывало и другое ощущение — будто вся его прежняя жизнь — не более, чем сон. А тут вдруг он снова носит еврейское платье, посещает еврейские общины, молится в синагоге, сидит над священными книгами, накладывает тфилин, носит цицес, может не голодать и при этом есть все кошерное.

Дорога из Кракова назад в Юзефов была продолжительным праздником. В каждом городе Якова встречали раввин и члены общины. В его честь устраивали званые обеды. От него хотели, чтобы он произносил речи. Женщины приводили к нему своих детей, чтобы он их благословил. Находились и такие, которые приносили ему монеты и кусочки янтаря, чтобы он к ним прикоснулся и придал им целебную силу. Поскольку нельзя было сделать ничего для тех, кто погиб, все тепло души отдавали спасшимся из плена.

В Юзефове Якова ждала его сестра Мириам со своей дочерью Бинеле. Уцелело еще несколько дальних родственников. Сам Юзефов изменился до неузнаваемости. Там, где раньше были дома, теперь росла трава, и наоборот: там, где раньше паслись козы, теперь построили жилища. Посреди синагогального двора появились могилы. Раввин, судья и большинство

старост были пришлые из других городов. Якову дали комнату и наскребли учеников для духовной школы, с которыми он теперь занимался за плату. Сестра Мириам, бывшая богачка, осталась голой и босой. Она потеряла все зубы. Встретила она Якова с плачем и не переставала стенать и рыдать, покуда не вернулась к себе в Замосць. Якову казалось, что она не в своем уме. Мириам то и дело ломала пальцы или принималась щипать свои щеки, перечисляя страдания, причиненные злодеями каждому члену семьи. Она напоминала ему давнишних плакальщиц, о которых сказано в Талмуде, что их нанимали для оплакивания покойника. Порой она доходила до таких пискливых интонаций, что он хватался за уши.

— Диночке — о, горе мне! — вспороли живот и засунули туда щенка. Он оттуда лаял...

— Мойше-Бунима посадили на кол, и он прополрол ему кишки. Всю ночь слышны были крики...

— Твою сестру Лею двадцать бандитов изнасиловали, а потом ее разрубили на куски, о, проклятая жизнь моя!...

Яков прекрасно знал, что этих ужасов нельзя забыть. То, что сказано об Амалеке, распространяется на всех врагов израилевых. Все же он умолял Мириам, чтобы она не забрасывала его сразу всеми этими кошмарами. У нашего мозга есть предел для восприятия. Было свыше всяких человеческих сил представить себе эти истязания и отдаться в должной мере скорби по утраченному. Это было страшнее разрушения Иерусалимских Храмов. Следовало бы ввести новое Девятое ава, которое теперь придется на семнадцатое тамуза. В году не хватало дней для поминальных молитв по загубленным душам. Якова охватило желание спрятаться где-нибудь среди развалин, где можно было бы молчать, молчать...

Но Юзефов был полон шума. Строили дома, крыли крыши, месили глину, клали кирпичи. В пекарнях пекли манч. На базаре открылись новые лавки. В базарные дни снова съезжались крестьяне из окрестных деревень, и евреи торговали, как в старые времена. Якова быстро втянули в еврейскую жизнь. Он чер-

пал воду для мацы и помогал ее раскатывать и выпекать. В вечер Песах он справил седер для нескольких собравшихся вместе вдов. Было больно рассказывать о чудесах исхода из Египта в то время, когда новый фараон осуществил то, что древний собирался сделать. Каждая молитва, каждый закон, каждая строка Талмуда казались теперь Якову не такими, как прежде. Традиционные вопросы, которые всегда задают во время седера, теперь звучали так остро, что их нельзя было забыть ни на минуту. Яков с изумлением замечал, что то, что для него ново, для остальных уже старо. Ешиботники перебрасывались словечками, устраивали проделки. Молодежь, у которой ум был востер, упражнялась в казуистике. Купцы были заняты наживой денег. Женщины судачили, пересыпали из пустого в порожнее, Всевышний молчал вечным молчанием. Яков сказал себе, что человек должен поступать так же: замкнуть свои уста и не отвечать дураку, который сидит в нем.

Так прошли Пасха, дни счисления, праздник вручения Торы. Тело Якова вернулось домой, но душа осталась в изгнании, как прежде и, может быть, было хуже чем прежде, потому что ему больше не на что было надеяться. Надо было отгонять мысли и наполнять каждую минуту делом. Он занимался с юношами и занимался сам. Молился, твердил псалмы. В Юзефов привезли потрепанные книги из других городов, и Яков взялся приводить их в порядок и вписывать печатным шрифтом недостающие слова и строки. Новая школа не имела служки, и Яков взял на себя его обязанности. Он вставал на рассвете и ложился лишь тогда, когда уже валился с ног от усталости. Если мысли должны вести либо к досаде на Создателя, либо назад в деревню, в хлев, к рабству и распутству — значит, нельзя думать. Пусть думают те, у кого мысли ясные.

Сердобольные женщины, присматривающие за Яковом, старались всячески вознаградить его за годы изгнания, но Яков вел с ними тихую борьбу. Они стелили ему мягкую постель, но он ложился на жесткий пол. Они варили ему кашки и бульоны, но он ел

сухой хлеб и запивал водой из колодца. Люди приходили побеседовать с ним, расспрашивали о его мытарствах за эти пять лет, но он отвечал кратко. Да и как он мог вести себя иначе? Через открытое окно школы виднелся холм, где были зарыты его жена и дети. На холме уже проросла трава и паслись козы. Злодеи замучили отца с матерью, всех родных, всех друзей. Яков в ранней юности сочувствовал еврейно-могильщику, который вынужден всю свою жизнь проводить на кладбище. А теперь вся Польша превратилась в сплошное кладбище. Остальные евреи уже, должно быть, привыкли к этому, но Яков никак не мог привыкнуть. Был единственный выход — преграждать дорогу любой мысли, любому желанию. Он решил раз и навсегда не задавать больше вопросов и не искать ответа. Какой может быть ответ на страдания другого?

Однажды, оставшись один в школе, Яков обратился к Всевышнему:

— Я верю, что Ты всемогущ и что все, что Ты делаешь, это к лучшему. Но я более не могу проявлять любовь к Тебе. Не могу, Отец, не могу... Не в этой, земной жизни!...

2.

Какой позор — не любить Создателя и тосковать по какой-то крестьянке в деревне! От одного стыда можно заживо схорониться... Но что поделаешь с низкой плотью и ее желаниями? Как ей заткнуть рот? Яков лежал на полу в оцепенении. Окно было распахнуто, и ночь входила всем небом. Яков наблюдал движение планет. Звезды перемещались от крыши к крыше. Одни мигали, другие казались застывшими. Одни мерцали наподобие свечей или лучин, другие горели ярче солнца. Тот самый Бог, который дал силы гайдамакам рубить головы и вспарывать животы, управлял этими высокими мирами. Полночная луна плыла, окруженная перламутровым кольцом. Она, про которую детвора говорила, что это лицо пророка Осии, уставилась прямо на Якова.

Весь день Юзефов был полон суеты: строили

и мастерили, стучали и пилили. Из деревень приезжали подводы, нагруженные зерном и зеленью, дровами для топки и лесом для стройки. Лошади ржали, коровы мычали. Мальчишки из хедера вслух зубрили азбуку, учили язык, читали Пятикнижие и Талмуд. Те же мужики, которые после набега Хмельницкого помогали, подобно саранче, налетевшей на Египет, опустошать еврейские дома, теперь тесали для евреев бревна, щепали гонт, настилали полы, клали печи, мазали, красили. Еврей уже держал здесь кабак, и мужики приходили пить пиво и водку. Помещики стали снова сдавать евреям в аренду поля, луга, леса, мельницы. Про резню забыли или притворились, что забыли. Приходилось торговать со злодеями и ударять по рукам. Находились даже такие евреи, о которых поговаривали, что они разбогатели на чужой крови, откупая награбленные вещи и откапывая сокровища, спрятанные беженцами в ямах. Немало шуму было в городе и с безмужними женами, которые искали потерявшихся мужей или свидетелей, присутствовавших при их гибели. Немало евреев не могли противостоять соблазну и во время погрома заключали денежные сделки. Польское государство издало декрет, гласивший, что те евреи, которые приняли крещение по принуждению, могут вернуться в свою еврейскую веру.

Суматоху вызвали женщины, увезенные казаками и ставшие их женами, а впоследствии удравшие домой. Одна такая, Терце-Теме, которая вернулась в Юзефов незадолго до Якова, успела позабыть еврейский язык. Муж ее, который во время погрома укрывался в лесу и питался травами, имел уже другую жену и других детей. Он не признал прежней жены и пытался отрицать, что это она. Терце-Теме указала приметы: пятнышко медового цвета на груди и черная бородавка на спине. Она требовала, чтобы муж развелся с новой женой и вернулся к ней, к Терце-Теме. Им присудили развод, но она отказалась принять его, проклинала общину казацкими проклятьями, грозилась поджечь город, все снова и снова пыталась ворваться к мужу и завладеть хозяйством.

Другая женщина, потеряв дар речи, лаяла как собака. Несколько жителей города сошли с ума после того, как у них на глазах зарезали их близких. Невеста, жениха которой убили в день свадьбы, вот уже несколько лет, как нечевала на кладбище — зимой и летом все в том же подвенечном платье со шлейфом. Теперь он тащился ключьями.

Яков только сейчас, пять лет спустя, постигнул насколько огромно горе. Кроме всего, люди страшились новых войн, новых напастей. Гайдамаки в степях снова готовились к набегу на Польшу. Русские, пруссаки, шведы — все точили мечи, готовые разорвать Польшу в клочья. Польские помещики пьянствовали, развратничали, секли мужиков, дрались между собой при распределении постов, привилегий, титулов...

А сейчас, в ночи, лишь стрекотали сверчки и квакали лягушки. Теплые ветерки дули с полей, приносили запахи еще неспелых хлебов, цветов, лебеды, всевозможных растений и трав. За время жизни в горах обоняние Якова настолько обострилось, что он издали узнавал любой аромат, различал шорохи разных зверьков и насекомых. Он, было, дал себе клятву больше не думать об этой Ванде, вырвать ее из своего сердца. Она — дочь Исава. Она довела Якова до прелюбодеяния. Ее желание стать еврейкой и принять еврейскую веру было не из чистых побуждений, а от плотского вожделения. Кроме всего, она — там, а Яков — здесь. Что же даст это копание в себе? Ничего, кроме грехов и вызова нечистой силы, которая питается преступными мыслями. Каждый раз, когда Якова начинало тянуть к ней, он вспоминал о калеках, которых он видел по дороге и здесь, в Юзефове: евреев кастрированных, с отрубленными носами, с отрезанными ушами, с вырванными языками. Он должен разделить их участь, а не стремиться в лоно сестры злодеев. Яков придумал для себя наказание. Каждый раз, как он будет вспоминать о Ванде и не сдержит своих мыслей, он будет поститься до захода солнца. Он составил целый список самоистязаний: гальку в башмаки, камень под голову, глотать пищу,

не прожевывая, лишать себя сна. Раз и навсегда он должен разорвать эту сеть, в которую его запутал сатана!...

Но внутри него кто-то снова и снова орудовал с настырностью голодной крысы, почуявшей запрятанную пищу. Но кто она, эта крыса? Сам Яков, или же кто-нибудь другой извне? Яков отлично знал, что есть ангел соблазна и ангел добродетели. Но получилось, что ангел соблазна сидит в самом мозгу и командует — достаточно Якову забыться сном. Коварный этот искушитель рисовал перед ним разные картины распутства, воспроизводил голос Ванды, обнажал сокровенные места ее тела, осквернял Якова грязной поллюцией. Порой Яков слышал ее зов наяву. "Яков, Яков!" — звала она. Это был голос не изнутри, а снаружи. Он явственно видел ее, работающей на поле, стряпающей у печи, возящейся в клуне, вертящей ручную мельницу... Вот она несет обед пастуху или пастушке, поднимаясь в гору по направлению к хлеву... Ванда словно поселилась в черепе Якова, и он не в силах был ее прогнать. Он молился, а она прижималась к нему под талесом. Он учил Тору, она учила вместе с ним. Она взывала к нему: зачем ты указал мне путь к еврейству, если у тебя было намерение покинуть меня среди язычников? Зачем ты приблизил меня, а потом оттолкнул?

Он видел ее глаза, слышал ее рыдание. Он был с нею возле коров и в поле, он окунался вместе с ней в горный ручей, нес ее к постели. Валаам лаял. Горные птицы перекликались. Ванда восклицала: "Еще, еще!" она шептала что-то, кусая и целуя его ухо.

Якова сватали. Один из тех, кто его вызволил, был сватом. Вначале Яков отвечал, что он больше не намерен жениться. Он желает жить один. Но все утверждали, что это неправильный путь. Зачем каждый день стоять перед искушением? К тому же еврей должен исполнять заповедь о размножении. Невеста, вдова из Хрубичева, вскоре должна была прибыть в Юзефов на свидание. Якову сообщили, что у нее на базаре своя мануфактурная лавка и свой дом, который бандиты не успели сжечь. Она старше Якова не-

сколькими годами, у нее уже взрослая дочь, но это не так уж важно. Еврей не должен ублажать свою плоть, но и не должен отказывать ей в ее потребностях. Главное — запрять ее в дело служения Богу. Яков отлично понимал, что у него не будет любви к этой вдове, но, возможно, он найдет с ней забвение? Внутренняя борьба измучила его. Он не спал почками. Днем его одолевала слабость, не было терпения заниматься с учениками. Он потерял вкус к Торе и к молитвам, сидел в ешиве, но его тянуло в поле, на простор. Ему хотелось снова рвать травы, лазать по скалам, колоть дрова, выполнять работу, которая утомляет тело. Евреи вызволили его, но он остался рабом. Похоть держала его на цепи, как собаку. Так более не могло продолжаться...

Однажды, когда Яков сидел в новой школе и занимался со своими учениками, вошел мальчик и сказал:

— Реб Яков, отец зовет вас.

При виде ребенка Якова всегда охватывала дрожь.

— Кто твой отец?

— Липе Ижбицер.

— Зачем я ему нужен?

— Прибыла невеста из Хрубичева...

Среди ешиботников послышался смех. Все знали, что Якова сватают. Яков покраснел, как школьник. На одно мгновение он растерялся, затем обратился к ученикам:

— Повторите пока пройденную главу Талмуда.

Не успел Яков выйти, как услышал шум и возню парней. Мальчишки оставались мальчишками. Они играли в "волка и овец", в фанты, в шахматы, задавали друг дружке загадки, соревновались в каллиграфии, в выстругивании перочинным ножиком разных безделушек. Они хорошо умели плавать любым стилем, искали предлога посмеяться и пошутить, как и в давнишние времена. А Яков всегда был удрученный, погруженный в грустные мысли. Вот они лотихоньку и посмеивались над ним. Теперь, когда присланный паренек сообщил, что Якова зовут смотреть невесту, у этих сорванцов уж будет над чем

произдваться... Сначала Яков хотел было забежать к себе домой и надеть субботний лапсердак, но тут же решил этого не делать. Он шел с мальчиком из хедера, а тот рассказывал ему, как в комнату, где они учатся влетела птичка. Эта птичка родилась уже после погрома...

Старый дом Липе Ижбицера гайдамаки сожгли, но он уже успел построить новый — обширней прежнего. Яков вошел в переднюю. Дверь в кухню была открыта. Там жарили котлеты, лук. Первая жена Липе погибла — у печки возилась другая жена. Как-то женщина месила в корыте тесто. Девушка толкла в ступке перец. На мновение повеяло давнишней обжитостью. Хозяин, тот самый, который приехал вызывать Якова и отсчитал Загаеку пятнадцать дукатов, открыл дверь в гостиную и пригласил Якова. Все там было ново: стены, пол, стол, стулья. Возвышался книжный шкаф с заново переплетенными томами, купленными в Люблине. Злодеи разрушали, евреи отстраивали. Снова уже печатались еврейские книги. Авторы, как в прежние годы, разъезжали и искали подписчиков. Каждый раз, когда Яков сталкивался с такого рода обновленным порядком жизни, он испытывал острую боль в сердце. Конечно же должны живые жить. Но в этом самодовольствии было надругательство над погибшими. Якову вспомнились слова из песенки бадхена: "Что такое жизнь? Пляска на могилах". То, что он теперь идет смотреть невесту — это для него позор. В нескольких шагах отсюда погребены его жена и дети. Но уж лучше иметь жену, чем день и ночь думать о нееврейке.

Некоторое время Липе вел разговор с Яковом о ошиботе и о разного рода спорах общины. Жена Липе внесла вазу с печеньем и вазу с вишнями, как водится у богачей. Она краснела и оправдывалась, что не успела переодеться. Она кивала Якову, как бы говоря: знаю, знаю о чем ты думаешь, но что подлаешь! Человек себе не хозяин... Потом пришла вдова из Хрубичева — низкая, широкая, в шелковом платье, атласной шубе и в чепце, увешанном цветными лентами и фальшивым жемчугом. У нее было жир-

ное лицо, полное морщин и как бы склеенное из множества кусков. Глаза напоминали ягоды, которые вынимают из вишневки. На шее висела золотая цепочка, а на пальцах сверкали кольца. От нее пахло медом и корицей. Она взглянула на Якова и лукаво проговорила:

— Боже мой, вы же, чтобы не сглазить, богатырь!...

— Все мы такие, какими нас создал Бог.

— Конечно, но лучше быть высоким, чем быть карликом...

Она говорила с плаксивым напевом, сморкаясь в батистовый платок, рассказывала, что подвода, на которой она приехала из Хрубичева в Юзефов, потеряла колесо, и пришлось остановиться возле кузни, говорила о своей мануфактурной лавке, о том, как трудно заполучить товар, который желает покупатель. Она вздыхала и обмахивалась веером. Сначала не хотела дотронуться до угощения, поднесенного женой Липе, потом выпила бокал ягодного сока, съела три коржика, крошки, которые упали на складки ее платья, подобрала и проглотила. Она жаловалась на то, что при ее обширном деле не может положиться на своих девушек-помощниц. — Чужими руками жар не загребешь, — изрекла она, смерив Якова оценивающим опытным взглядом, и продолжала:

— В доме должен быть мужчина, а то все уплывает...

Яков видел, что он ей нравится, и что эта баба готова выйти за него замуж, но сам был в полной нерешительности. Она слишком стара, слишком сладка и слишком хитра. У него не было ни малейшего желания стоять в лавке, командовать приказчиками, торговаться с покупателями. Этой женщине нужен был человек, способный душой и телом отдаться торговле, добыче денег. Она говорила о том, что надо бы пристроить к дому флигель, расширить магазин. Чем больше она распространялась, тем скучнее становилось Якову. "Нет, я не пригоден для такой жизни, — сказал он себе, — это не подойдет ни мне, ни ей". И он вставил:

— Я не гожусь в коммерсанты.

— Коммерсантом никто не рождается, — ответила гостья после некоторого замешательства, затем протянула руку с короткими, толстыми пальцами и взяла гроздь вишен.

Она принялась расспрашивать Якова, как ему жилось в рабстве. Обычно о таких вещах не говорили. Время, которое евреи были в рабстве, считалось раз и навсегда отрезанным, — погубленной частью жизни, о которой следует забыть. Но богачке не обязательно считаться с этим. И Яков рассказал ей о Яне Бжике, о хлеве, о горе, где он проводил лето и об овине, где он находился зимой. Она спросила:

— А чем вы питались наверху, на горе?

— Мне приносили снизу.

— Кто? Сам хозяин?

— Его дочь.

— Девка?

— Баба.

— И по субботам надо было рвать траву?

— Я не нарушал субботы и не ел тrefного — сказал Яков, чувствуя себя неловко оттого, что он как бы хвастает своей добродетелью. Лавочница некоторое время помолчала, а затем изрекла:

— Разве был другой выход? Это просто ужасно, что эти злодеи с нами сделали!... И она протянула руку, чтобы взять коржик.

3.

Это было в полдень. Ешиботники ушли на обед, кто — к себе домой, а кто — в дом, где столовался. Яков остался в ешиботе один. Он сидел и просматривал материал к уроку. Конечно, хорошо сидеть снова в Божьем доме, углубленным в священные книги, которые не смел и мечтать когда-нибудь снова увидеть. Но Якову было не по душе то, что он был вынужден зарабатывать себе на хлеб преподаванием. Большинство парней училось неохотно. Были и такие, которые упражнялись в пустой казуистике, находя удовольствие запутывать то, что само по себе было ясно и просто. Эти пять лет, что Яков был отор-

ван от Торы, изменили его. Наслаждение, получаемое от учения, более не охватывало его целиком. Он стал видеть вещи, которые ранее не замечал. Любой закон Торы превращался в дюжину законов в Талмуде и в сотни законов в последующих комментариях, не переставая все время множиться и множиться. Каждое поколение прибавляло новые строгости, нагроужало новыми запретами. За время, пока Яков маялся в деревне, успели появиться на свет новые толкования и добавочные законы насчет трефного. Но если так будет продолжаться, мелькнуло у Якова в голове, то ничего не останется не трефным! И какой в этом смысл? Чем еврею питаться? Горящими угольями? И, опять-таки, почему все эти ограничения и запреты, которые евреи на себя налагали, не уберегли их от злодеев и кровавых расправ? Что еще угодно Всевышнему от своего замученного народа?

И вот еще что видел Яков. Соблюдение законов и заповедей, относящихся к Богу, не мешало с легкостью нарушать законы и правила в отношениях между людьми. Перед Пасхой, когда Яков вернулся в Юзефов, в городе шел ожесточенный спор, можно ли есть в Пасху горох и бобы. Не хватало муки на мацу, и раввин разрешил употреблять в пищу стручковые растения, поскольку они не запрещены ни в Торе, ни в Талмуде. Но те, которые кичились своей правоверностью и у которых были свои счета с раввином, напали на него. Дошло до того, что у раввина выбили оконные стекла и вогнали гвозди в скамью у восточной стены, на которой он сидел в синагоге. Один из видных хозяев города пришел даже к Якову и предложил ему захватить место раввина. Евреи и еврейки, которые скорее бы дали себя убить, чем отступить хотя бы от одного из запретов, клеветали, сплетничали, давали обидные прозвища беднякам. Ученые смотрели на невежд свысока, а члены общины делили между собой и своими близкими всевозможные привилегии и аренды, дающие возможность обирать народ. Коммерсанты взыскивали проценты, припрятывали товар, дожидаясь, чтобы он подорожал. Были даже и такие, которые надували в ве-

се и в мере. Их всех — этих хвастунов, подхалимов, мошенников Яков встречал в синагоге. Они усердно молились, занимались крючкотворством и нарушали Божьи заповеди. Как ни мал и убог стал после резни Юзефов, он остался полон ненависти, горечи и склок. Сват, который сватал Якову вдову из Хрубичева, сообщил ему, что здесь, в Юзефове стараются испортить это дело, и что кто-то отправил даже вдове письмо с клеветой на него.

Якова пугали его мысли. Он хорошо понимал, что они идут из нехорошего источника. Это сатана хочет показать, что виноваты все, и таким образом облегчить Якову делать то, что недозволено. Он слышал, как добродетельный ангел внутри него говорил: Яков, зачем тебе смотреть на других? Первым делом, подумай о собственной душе... Но мысли не оставляли его в покое. Люди говорили одно, а глаза их — совсем другое. За набожностью скрывалась алчность, зависть. Народ не извлек ничего поучительного из совершенных над ним ужасных надругательств. Наоборот, уровень как бы еще снизился...

Яков читал Тору с напевом, при этом каждый раз спохватывался, что мелодия начинала напоминать ту, в горах. Теперь у него бывали минуты, когда он тосковал даже по хлеву. Там, издали, он мог любить своих евреев полной любовью. Он позабыл их выходки: подвохи, склоки, обманы, грызню маленьких людишек с бегающими глазками и отточенными языками. Пастухи, правда, донимали его своей дикостью и низостью, но какие требования мог предъявлять Яков к этим плебейам?...

Вот-вот должно было состояться сватовство с хрубичевской вдовой. Свадьба предполагалась в пятницу, предшествующую субботе Девятого ава. Вдова, так же как и Яков, потеряла своих детей. Ей уже было далеко за тридцать, но она еще собиралась родить Якову ребенка. Те, кто подлизываются к богачам, временно стали заискивать перед Яковом, но сам он все еще не мог решить, что ему делать. Долгие ночи проводил он без сна, не в силах отогнать от себя тревожные мысли. Вдове нужен торговец. Но он, Яков,

не торговец. Ей нужен муж, вращающийся среди людей. Но он, Яков, живет особняком. Годы, проведенные в деревне, оторвали его от мира. Выглядит он здоровым, но внутри него все сломано. Он обращался за ответом к мудрым книгам, углублялся в произведения каббалы. Каждый раз его охватывало желание удрать куда-нибудь, на него наваливались сомнения, которые сердце не доверяло устам. Во время своего рабства Яков не прикасался к мясу, и теперь он не мог заставить себя есть Божьи создания. Но по субботам еврею полагается есть мясо и рыбу, а Якова от этого воротило. Ему приходило в голову, что евреи поступают с живыми созданиями так же, как иноверцы поступают с евреями. Слова: головка, шейка, печенка, ножка, пупок вызывали у него содрогание. Каждый раз, когда он брал в рот кусок мяса, ему казалось, что он ест собственных детей... Случалось, что после субботней трапезы он выходил во двор — его рвало.

Теперь, когда Яков оставался в ешиботе один, он не учил определенные главы, а перелистывал. Быть может, он найдет ответ у Рамбама или в философском трактате Иегуды Галеви? А что говорится в солидном труде под названием "Долг сердца"? Он прочитал несколько строк, стал листать дальше, снова открыл где-то в середине, опять стал перелистывать страницы. Он закрыл руками лицо, сомкнул веки и так сидел, погруженный в собственную тьму. Его одновременно тянуло и к Ванде, и в могилу. Как только на мгновение его отпускала тоска по ее телу, ему хотелось умереть, погаснуть. Уста его непроизвольно шептали:

— Отец в небесах, забери меня!...

Он услышал шаги. Благочестивая еврейка, вдова синагогального старосты, принесла ему горшочек варева. Яков смотрел на нее и думал. Вот эта женщина — хромяя, с бородавкой на носу и с волосами на подбородке — настоящая праведница. Она не обладала ни одним из тех недостатков, которые он находил у остальных. Опухшие глаза ее излучали целомудрие, деликатность, желание делать лишь добро. Она

тоже потеряла мужа, детей, дом. Но в ней не осталось горечи. Она никому не завидовала, ни к кому не питала злобы, никого не оговаривала. Она по доброте душевной стирала на Якова, варила ему, прислуживала. Она даже не давала благодарить себя за это. Когда Яков пытался выразить признательность, она обычно говорила:

— Ведь для этого люди и созданы!...

И теперь она поставила на стол чугунок, налила похлебку в миску. Она принесла Якову хлеба, солонку с солью, положила перед ним нож. Даже ковш с водой и полотенце для омовения рук не забыла подать. Пока он ел, она смиренно стояла у двери, ждала посуды. Откуда все это в ней взялось? — спрашивал себя Яков. Для этого ведь нужно обладать мудростью... Она служила Якову живым примером того, что существует в мире нечто более возвышенное. Если бы даже она была единственной в своем роде, все равно это было бы свидетельством того, что существует красота бескорыстья. А что, если жениться на ней?... Яков спросил ее, не вышла бы ли она при случае замуж. Она взглянула на него со скорбью и ответила:

— Бог даст, на том свете... За моего Барух-Давида...

4.

Ночью, когда Яков уснул, к нему пришла Ванда. Она явилась ощутимо живая, окруженная светом. Лицо ее было заплаканное, живот высокий, глаза, полные слез, смеялись. — Где ты оставил меня, Яков? — говорила она. — Что будет с твоим ребенком? Он вырастет среди мужиков!... Она пахла полем и сеном. Яков вздрогнул и проснулся. Но образ Ванды исчез не сразу. Некоторое время Яков был между сном и явью. Потом, когда видение растаяло, в темноте остался след, как свет только что потушенной лампы. Якова охватил внутренний трепет. В ушах еще звучал голос Ванды. Он как бы ощущал тепло ее тела. Это был не сон, а видение, Яков замер в ожидании. Не появится ли она снова? Как только он заснул, она

опять предстала перед ним. Он явственно видел ее головной платок с бахромой и передник в клеточку. Она приблизилась, обняла его за шею и стала целовать. Он должен был нагнуться к ней, так как ее набрякший живот не давал ей подойти к нему вплотную. Он ощущал вкус ее губ, соль ее слез. Она говорила:

— Это твой ребенок... Кровь и плоть твоя...

Яков снова очнулся. На этот раз он до самого рассвета не смыкал более глаз. Он знал, что наяву видел Ванду. Она в своем чреве носила его ребенка. До утра Яков твердил псалмы, которые знал на память. Чуть заалел восток, как он встал, сотворил омоение рук. Теперь стало ясно. Он не должен оставлять среди язычников ни Ванды, ни своего ребенка. У него было немного денег. Кто-то хотел построить дом на месте, где раньше стоял дом его тестя, чьим единственным наследником он являлся. Он получил за землю и за фундамент, который там оставался, пятьдесят злотых. Уложив свои вещи в мешок, он направился в синагогу. Там он встретил реб Липе, который всегда появлялся в молельном доме первым из миньяна.* Завидев Якова с мешком за спиной, он удивился.

— Что это значит?

— Я еду в Люблин.

— То есть как? Мы ведь договорились насчет свадьбы!

— Я не могу пойти на этот брак.

— А что будет с учениками? — спросил Липе.

— Вам придется найти другого учителя.

— Что это вдруг?

Яков молчал. Он не хотел врать, но и не мог сказать правду. После некоторой паузы он произнес:

— Я хочу вернуть расходы, потраченные общиной на мое вызволение.

Он развязал кошелек и отсчитал реб Липе двадцать злотых. Реб Липе застыл, держа руку на бороде. Его черные глаза были преисполнены негомо изумления, и он лишь проронил:

* См. ссылку стр. 255.

- Где это слыхало, чтобы общине вернули деньги!
— Они пригодятся.
— Что мне написать вдове?
— Напишите ей, что мы не подходим друг другу.
— Ты уже больше не вернешься?
— Ничего не знаю.
— Сам себя подвергаешь изгнанию?...

Яков встал на молитву, даже не дожидаясь миньяна. Еще вчера он слышал, что рано утром в Люблин должна отправиться подвода. Он наскоро помолился и пошел к Лейбушу. Яков про себя загадал. Если по дороге ему встретится кто-нибудь с полными ведрами, и если окажется для него свободное место на подводе, это будет знамением, что в небесах его решение одобрено. Он вышел из синагоги и сразу же наткнулся на водовоза Калмана, который нес два полнехоньких ведра. А когда Яков пришел к Лейбушу, тот сказал ему:

— Еще одного пассажира как-нибудь впихнем!...

Утро было теплое, хотя и осеннее. Местечко было объято покоем. То тут, то там открывались ставни, и женщины высовывали головы в чепцах. Евреи с талесами в мешочках направлялись на молитву. Пастухи выгоняли на пастбище коров. На востоке уже пылало золотое солнце, но по деревьям и кустам, выросшим здесь после разрухи, еще стелилась роса. Птицы щебетали и подбирали зернышки овса, падающие из мешка, привязанного к морде лошади. Трудно было представить себе, что здесь, на этой самой земле, потрошили малых детей или закапывали их живьем. Земля продолжала вести себя так же, как во времена Каина: впитывала в себя невинную кровь, укрывая все злодеяния.

Пассажирами были, в основном, женщины, едущие закупать для своих лавок товар. Лейбуш сказал Якову:

— Вы сядете возле меня на козлы.

Подвода должна была выехать сразу же, но то и дело возникала новая причина для задержки. То какая-нибудь женщина что-то забыла взять с собой, то молодуха бегала покормить грудью ребенка. Мест-

ный житель просил передать пакет в люблинский заезжий дом. Двое коммерсантов, сидевших между женщинами, бойко острили, делали ослиные намски, ответом на которые было хихиканье. Яков слышал, как о нем шепчутся. Было даже произнесено имя вдовы, с которой он собирался венчаться. Он понимал, что невольно доставляет ей огорчение и унижает ее. Просто ужасно! К чему ни притронешься, натворишь бед, — говорил себе Яков. Он успел просмотреть все сочинения на тему о морали, которые были в юзефовской синагоге. В них были наставления, как избежать сетей, расставленных ангелом-искусителем. Но сатана умел перехитрить всех. Он всегда был тут как тут. За что ни возьмешься, кому-нибудь причинишь боль. Если даже вести себя порядочнейшим образом, и то это вызывает зависть у завистливых.

Яков еще сам не имел понятия, что он станет делать. Он хотел просить совета у одного из столпов Люблина и поступить так, как тот ему скажет. Но между тем он знал, что находится на пути к Ванде. Он был подобен тем малодушным из толпы, которые хотели вернуться в Египет, к котлу с мясом, к рабству. Но может ли он допустить, чтобы его чадо выросло среди язычников? Когда он грешил с этой женщиной, то позабыл или притворялся перед собой, что забыл о возможных последствиях.

— Теперь уже все равно, поеду ли я, или нет, — сказал сам себе Яков, — добра из этого не выйдет... Он даже не заметил, как подвода покатила. Жатва еще не начиналась. Но крестьяне уже работали на поле. Они выпалывали сорняки, пересаживали рассаду. До чего за городом все полно красоты! Эта красота не гармонировала с его настроением. Насколько в мозгу, перед его внутренним взором, все выглядело уродливо, убого, противоречиво, настолько здесь, среди полей, все было целесообразно, полно красоты и величия. Небо голубое, ласковое, преисполненное летней благодати. Воздух сладок, словно мед. Каждый цветок источает свой особый аромат. Невидимая рука сотворила каждый колосок, каждую травинку, каждый корешок, каждую мушку, каждого

червячка. Мелькали бабочки — каждая со своим узором на крылышках. Каждая птичка щебетала на свой лад. Яков глубоко вдыхал в себя воздух. Он сам не понимал, как его тянуло к этим просторам. Взор упивался каждой полоской злаков, каждым деревцом, каждым растением. О, если бы я только мог жить где-нибудь здесь круглый год! Чтобы никогда не было зимы... Чтобы никому не причинять зла!...

Подвода катила теперь по лесной дороге. Это был не обычный сосновый лес, а божественный дворец. Сосны тянулись высокие и прямые, точно колонны, а на зеленые кроны опиралось само небо. На коре стволов трепетали бриллиантовые росинки, словно редчайшие драгоценности. Почву устилали бархатистый мох и трава, источающая пьянящий аромат. От пряных запахов кружилась голова. А вот мелкая речушка! На камнях посреди воды стояли птицы, которых в горах Яков никогда не встречал. Каждое существо, верно, знало, для чего оно здесь. Никто из них не гневил Создателя. И только человек не может и шагу сделать без того, чтобы не согрешить.

Покуда Яков решал мировые проблемы, женщины за его спиной перемывали косточки каждому жителю местечка. Яков поднял глаза. Сквозь листву и хвою проникало солнце, играя всеми цветами радуги. В зеленой чаще все сверкало. Куковала кукушка, долбил дятел. Мушки кружились с такой быстротой, что казались вращающимися в воздухе обручами. Падали шишки. Временами раздавался звук рожка. Яков закрыл глаза, как бы не смея доставлять себе наслаждение таким избытком великолепия. Сквозь веки просвечивал красноватый свет. И пошли сплетаться золотистые ткани вперемешку с синим, зеленым, пурпуровым. Снова всплыл образ Ванды...

5.

Дом кагала в Люблине был битком набит. Не смотря на то, что на сей раз здесь собрался не "совет четырех земель", а лишь комитет польского королевства, все комнаты были заняты. Здесь кишмя кишело соломенными вдовами, добивающимися разре-

шения на замужество, женами, удравшими от насильников-казаков или татар и вернувшимися в лоно еврейства; вдовами, деверья которых по тем или иным причинам не давали им халицы,* а также мужчинами, ищущими раввинов, которые бы узаконили их брак. Здесь искали жениха для дочери, свидетелей для получения наследства, компаньона для арендной сделки и многое другое — что кому придет в голову. Дом кагала в Люблине был местом встреч, местом всевозможных сделок. Сюда купцы привозили образцы своих товаров, здесь ювелиры демонстрировали свое искусство выделки золота и шлифовки дорогих камней, сочинители собирали предварительных подписчиков на свои книги, встречались с наборщиками и торговцами бумагой. Ростовщики находили здесь тех, кому нужны деньги для дела или для постройки дома. Евреи при помещиках привозили сюда разные диковины, которые их господа желали продать или заложить. Один такой еврей предлагал ручку из слоновой кости, украшенную рубинами, другой — серебряный пистолет, инкрустированный перламутром и усыпанный бриллиантами, третий носился с золотым гребнем и золотыми шпильками для волос какой-то обедневшей барыни; четвертый искал покупателя на дубовый лес, который находился недалеко от реки Буг, откуда можно сплавлять его в Вислу, а оттуда в Данциг.

Гонения и погромы не могли вырвать торговлю из еврейских рук. Евреи торговали даже церковными украшениями и распятиями — несмотря на то, что это запрещалось. Еврейские купцы получали из Пруссии, Богемии, Австрии, Италии шелк, бархат, драгоценные украшения, вина, кофе, пряности и вывозили соль, растительное масло, лен, кожу, яйца, мед, хлебные злаки. Ни помещик, ни крестьянин не занимались деловыми операциями. Польские цехи пользовались целым рядом привилегий, но были не в состоянии конкурировать с еврейскими ремесленниками, которые все

* Халица — освобождение от обязанности выйти замуж за брата покойного мужа.

делали дешевле и часто гораздо лучше. Помещики держали при себе еврейских кустарей. Король запретило, было, евреям держать аптеки, но к нееврейским аптекам народ не имел доверия. Еврейских врачей привозили даже из-за границы. Священники, главным образом, иезуиты, вели борьбу против евреев с амвонов, сочиняли на них пасквили, добивались в сейме и у воевод, чтобы отбирали у евреев права, но когда кто-нибудь заболел, он посылал за врачом-евреем...

Яков намеревался в Люблине просить совета у тамошнего раввина или у одного из раввинов, приехавших на заседание комитета, но пробыл там до исхода субботы, и никого ни о чем не спросил. Чем больше Яков думал, тем яснее для него становилось, что никто не сможет дать ему совета. Он сам отлично знал законы. Кто может сказать, был ли его сон реальностью или нет? И кто может измерить, что является большим грехом --- обратиться в еврейскую веру католичку, которая идет на это из любви к еврею, или допустить, чтобы еврейское потомство заглохло среди язычников? Яков хорошо помнил слова: "митох шело, лишмо ба лишмо". Бывает, что, начав с меркантильных побуждений, со временем начинаешь делать добро ради самого добра. Разве не дают ребенку, начинающему ходить в хедер, сласти, чтобы прирастить его к азбуке? И разве прозелит не схож с новорожденным ребенком? Можем ли мы утверждать, что все те, кто до сих пор переходили в еврейскую веру, делали это без всякой заинтересованности? Разве даже праведник свободен от нее?... Яков решил взять этот грех на себя. Он будет посвящать Ванду во все тонкости еврейской веры. Теперь, когда польские власти разрешили евреям, насильно крещенным, вернуться к своей вере, Яков сможет сказать, что Ванда --- одна из них. Никто не станет спрашивать и дознаваться. Ей только надо будет постричь волосы и надеть парик. Он обучит ее всем обычаям.

В Люблине знали о Якове, этом юзефовском главе ешибота, отсидевшем пять лет в плену. Но Яков заметил, что между ним и остальными существовала

невидимая преграда. Знатоки Талмуда разговаривали с ним, как с человеком, забывшим то, что знал, как с полунеуждой. Когда он упоминал древнееврейское слово или какое-нибудь изречение из Талмуда, ему тут же переводили это на еврейский язык. В его присутствии они секретничали между собой и улыбались тонкой улыбочкой горожан, имеющих дело с провинциалом. Члены общины выпрашивали его, как он вел себя в рабстве, мог ли он соблюдать субботу, не есть тrefного, удивлялись, почему он сам не сбежал, а ждал покуда его освободят. Якову начинало казаться, что они знают что-то компрометирующее его, о чем предпочитают не говорить ему в глаза. Может быть, они прослышали о его отношениях с Вандой? Только сейчас ему пришло в голову, что Загаек мог что-нибудь брякнуть тем трем евреям. Если так, о нем идет молва — из уст в уста...

Чем дальше Яков оставался среди люблинских господ, тем заметнее становилось различие между ним и ими. Яков высок, они почти все малорослы, он светловолос, синеглаз, большинство из них было черноглазо и чернобородо. Они так и сыпали учеными словами, нюхали табак, курили трубки, знали по имени всех богатых евреев при помещиках, кто с кем имеет дела, кто захватил ту или другую аренду, кто пользуется почетом у того или другого толстосума. Он, Яков, оставался от всего этого в стороне. Я превратился в мужика, — упрекал себя Яков. Но вспомнил, что и до того, как его похитили, дело не обстояло иначе. Всякий раз, когда ему приходилось быть в обществе раввинов, богачей, так называемых хозяев города, он чувствовал себя инородным телом. На него смотрели с любопытством, а порою и с подозрением. С ним обходились, как с посторонним, чуть ли не как с прозелитом... Но почему? Яков был из знатного рода. Ведь в польском королевстве его пра-прапрадеды вершили судьбы.

Несмотря на то, что евреи только что пережили резню, подобной которой не было со времен разрушения Храма, оставшиеся в живых вели себя, словно они позабыли обо всем на свете. А если стонали и

вздыхали, то эти стоны исходили не из сердца. Раввины и главы общин дрались между собой. Каждый при дележе старался урвать для себя деньги, почет, лакомый кусок. Вокруг оставшихся в одиночестве жен строили хитроумные домыслы, не имеющие ничего общего с законом. Бедняков неделями и месяцами заставляли ожидать решения, которое можно было принять в течение нескольких дней. Комитет в свою пользу облагал налогом, да еще присвоил себе право взыскивать с еврейского населения королевский налог. Со всех сторон кричали, что это бесчинство. Время от времени находился кто-нибудь, кто подавал на кровососов жалобу, грозил мордобоем, доносом. В таких случаях крикуна брали в свою компанию, бросали ему кость, и он теперь уже хвалил тех, которых недавно поносил. Яков слышал, что посланцы присваивают общественные деньги. Многие из раввинов и заправил кагала были обладателями больших животов и жирных затылков в гармошку, ходили в шелках и соболях, покрякивали, самодовольно поглядывая вокруг себя и перебрасываясь обрывками фраз. Они объяснялись намеками, подмигивая и шепчась. А во дворе перед Домом общины вертелись молодчики, которые громко называли вожakov общины ворами, грабителями и предсказывали, словно пророки, новые беды и напасти — как наказание за грехи...

Да, Якову было ясно, что те, которые берут взятки — никудышные люди. Но на каждого, кто берет, есть ведь много таких, которые дают. Слава Богу, не все евреи — заправилы кагала. В синагогах молились, учили Тору, читали Псалмы. Приходили евреи, со следами побоев, полученных от гайдамаков, а также с разными увечьями — слепые, с отрезанными ушами, с выбитыми зубами — чтобы благословить Всевышнего или послушать проповедь. По окончании молитвы добрая половина собравшихся говорила Кадиш. На каждом шагу попадались скорбящие по родным и близким. В тесных улочках Яков видел нужду. Здесь ютились в темных труппах. Ремесленники работали в будках, напоминающих собачьи кону-

ры. От сточных канав шла вонь. Оборванные женщины, многие из них беременные, собирали мусор и щепу для топки. Бегали голые, босые дети со струпьями на головках, с прыщами на личиках. Многие из них были кривоноги, с больными глазами и раздутыми животами. Очевидно, свирепствовала эпидемия, судя по тому, что то и дело выносили мертвых. За каждым гробом шли женщины, плача навзрыд. Синагогальный служка громыхал жестянкой, в которую опускали монетки — подавание "во спасение от смерти". После погромов появилось много сумасшедших. Они бегали по улицам, каждый со своими выходками и гримасами.

Якова охватывало чувство стыда, когда он думал о своих плотских желаниях. На его глазах люди умирали от нужды. Здесь подчас одной копеечкой можно было спасти жизнь. Он то и дело разменивал деньги на мелкие монеты и раздавал нуждающимся. Но какое значение могли иметь эти мелкие подаяния? Его преследовали толпы нищих, тянули его за полы. Кто благословлял, кто проклинал. На него кричали, плевали, сыпали вшами. Он едва успевал убежать. Да, но где же Бог? Как он может, видя такую нужду, молчать? Разве что — страшно подумать — вовсе нет Бога...

Глава седьмая

1.

Из Люблина в Краков Яков поехал дилижансом. Из Кракова в горы он добирался пешком, переодетый крестьянином, с мешком за плечами. В мешке были хлеб, сыр, талес, молитвенник, а также платье, башмаки и чепец для Ванды. Яков все обдумал заранее. Он пустился не шляхом, а окольными путями, через поля и леса. Краков он покинул после захода солнца и шел всю ночь. В горах рыскали дикие звери и прятались разбойники. Яков помнил рассказы Ванды о леших и ведьмах, которые шляются там по ночам и устраивают пакости; о совах, высасывающих у человека кровь.

Из книг и понаслышке он знал о том, какие беды поджидают человека среди ночи в пути. Не раз сводил путника с дороги и загонял в топи и болота нечистый дух в облике принцессы. В пещерах и дуплах деревьев прятались дьяволы. Исчадия сатаны, Шибта, Аграт, Махла вводили мужчин в искушение, оскверняя их греховными поллюциями. Демоны слепоты поганили воды колодцев и рек. Остатки древних племен времени Вавилонского столпотворения путали у людей речь и доводили их до безумия или заманивали черт знает куда.

Но Яков все поставил на карту. Его, словно кнутом, гнала тоска. Хотя он собирался совершить не благое дело, а греховное (если судить по его намерениям, скрывающимся за всеми оправданиями), он не переставал твердить псалмы и молить Бога о покровительстве. Из каббалистических книг, изученных им по возвращении из плена, он заключил, что любое влечение к плоти — пусть это даже будет влечением Зимри — сына Салу к Казби — дочери Цури — имеет свое начало в небесных сферах. Все на свете сопрягается — Тора, молитва, каждое благое дело,

каждое живое существо. Яков беспрестанно искал для себя оправдания. Он спасет живую душу от служения чужим богам. Он не допустит, чтобы его семья смешалась с семенем Исава. Исполнение этих заповедей перевешивает решительно все...

Летняя ночь кончилась. Яков даже не заметил, как она прошла. К восходу солнца он находился в лесу, недалеко от ручья. Яков умыл в нем руки и помолился, облачившись в талес и тфилин, затем позавтракал хлебом и сухим сыром, запив водой из источника. После благословения он прислонился к мешку и задремал. Ему приснилось, что он праотец наш Иаков и находится в пути из Беер-Шевы в Харран. Разве Иаков не любил Рахиль и не отработал за нее семь лет? И разве она не была дочерью язычника?.. После нескольких часов сна Яков продолжил свой путь — вдоль речки, вверх. Здесь росли грибы, красная и черная ягода. Он умел распознавать, что ядовито, и что пригодно для еды. Яков не знал дороги, но у него были свои приметы. На стволах деревьев объездчиками были вырезаны знаки. Отсюда уже слухом можно было уловить мычание коров, различить дым костров, которые пастухи жгли на пастбищах. А главное — дорога шла неуклонно вверх и вверх.

Под вечер, когда солнце стало клониться к западу, Якову встретился старик. Он вырос словно изпод земли. На нем были коричневое длиннополое платье, валяные сапоги. Голова и борода — белые. За плечами кожаная торба. Он шел, опираясь на палку. На шее у него висели распятие и венок из роз. Старик остановился, и Яков встал перед ним. Тогда тот спросил:

— Куда путь держишь, сын мой?

Яков назвал деревню.

— Правильно идешь — сказал старец и, указав Якову дорогу, благословил его и ушел. Если бы на нем не было креста, Яков подумал бы, что это — Илья пророк. Впрочем, быть может, он послан Исавом? Быть может, этого странника послали те силы, которые желают, чтобы еврей соединился с католичкой? Яков зашагал быстрее. Только сейчас, когда он

стал приближаться к деревне, им овладели сомнения. А вдруг Ванда за это время вышла замуж? А не заболела ли она? А что, если ее, не приведи Господь, убили? Не полюбила ли она кого-нибудь другого? Солнце уже село, и хотя была середина лета, повеяло пронизывающим холодом. Горы стали дымиться и плести сети из тумана. В высоте летел не то орел, не то какая-то другая крупная птица. Она не взмахивала крыльями, а, словно, висела в воздухе. Луна взошла еще засветло. Звезды зажигались по одной, будто свечи. Временами слышалось что-то вроде воя. Это ветер? А, может быть, зверь? Яков был готов на борьбу с любым зверем, но в душе знал, что если все же будет растерзан, то лучшей доли он не заслужил...

Яков остановился, осмотрелся по сторонам. Он здесь один в целом мире, как некогда Адам. На всем пространстве, доступном взору, не было ни малейшего признака человека. Птицы уже замолкли. Слышно было лишь как стрекочут кузнечики и плещет ручеек. С гор подули прохладные ветерки, они приносили с собой дыхание летнего снега. Яков глубоко вздохнул. Он почуял родной запах. Как ни невероятно, но он тосковал не только по Ванде, но и по всему окружающему. Он больше не мог выносить юзефовского воздуха, закрытых окон, сидения целыми днями неподвижно над книгами. Теперь он был утомлен ходьбой, но это путешествие освежило его. Тело, как и душа, требует труда. Ему надо носить, таскать, ходить, напрягаться до поту, ему необходимы голод, жажда, усталость, нагрузка. Яков поднял глаза. Появлялись все новые и новые звезды. Здесь, в горах, они казались крупными и полными значимости. Над самой его головой проносились властные силы неба, светила вселенной: каждое — своим путем, каждое — со своим особым назначением. Яков стал мечтать, как в давнюю пору, будучи отроком. Что было бы, если бы у него оказались крылья, и он летел бы вверх, все время вверх, и так год за годом? Долетел бы он до какого-нибудь предела? Но как может пустота иметь предел? А что за ней? Выходит, что нет предела и материальному миру? Ну, а раз космос беспределен к востоку и

беспределен к западу, значит, он дважды беспределен... Ну, а как с временем? Как возможно, чтобы кто бы то ни был — пускай даже сам Бог — существовал вне времени и пространства? Как представить себе нечто, не имеющее начала? И откуда это все взялось?... Яков отшатнулся от своих собственных мыслей. Нельзя! Отсюда один шаг к отрицанию, к умопомрачению!...

Он зашагал с обновленными силами. До чего удивительно — быть крошечным человеком, окруженным со всех сторон вечностью, бесчисленными силами, ангелами, серафимами, витающими душами, сферами, мирами, тайнами и при этом тянуться к другой живой душе! Малость эта — не менее поразительна, чем величие Всевышнего...

Яков все шел дальше. Он остановился, подкрепился сыром. Увидит ли он ее еще сегодня? Или ему придется ждать ее до завтра? Он боялся мужиков, собак — раб, возвращающийся в рабство, еврей, который снова надевает на себя ярмо Египта.

2.

Яков пришел в деревню среди ночи. Он шел полями и лугами, задами домов. Луна больше не светила, но и не было темно. Яков узнавал каждую хату, каждый сарайчик. Он то и дело поглядывал на гору, где провел пять раз подряд лето. Все было как сон, как чудо, как волшебство. Теперь он боялся, чтобы не залаяли собаки, но, слава Богу, они дрыхли. Недавно еще он чувствовал усталость, но теперь ноги снова были необыкновенно легки. Яков не шел, а мчался, словно лань. За время своего пути он почти ничего не ел, так что не испытывал тяжести. Дорога к дому Яна Бжика шла теперь под гору, и Яков бежал, точно мальчик. Все его желания превратились в одно желание — увидеть Ванду. Может, она в доме? Может, в овине? Возможно, ушла к брату, к Антеку? Он бежал, и ему самому не верилось в реальность того, что он проделал. Жизнь его стала подобна сочиненным историям, которые встречаются в книгах. Его взяли в плен, всех близких уничтожили, и вот

он, переодетый простым крестьянином, идет на поиски своей возлюбленной. Сестры его рассказывали друг дружке такого рода сказки и распевали сентиментальные песни, когда отца, царство ему небесное, не было дома. Отец не разрешал, чтобы девушки пели. Считалось, что женщине петь не полагается.

Яков бежал еще некоторое время и, наконец, остановился около хаты Яна Бжика. Ну, вот оно!... Его охватила дрожь, он затаил дыхание. Он все видел отчетливо: соломенную крышу, окошко, сарай, даже чурбачок, на котором колот дрова. Посреди двора находилась собачья конура, но собаки там, видимо, не было. Давно забытый запах ударил ему в нос. Он на цыпочках приблизился к овину. Ему надо было сделать так, чтобы Ванда не вскрикнула, не разбудила бы домашних. Но как? Он вспомнил об их прежнем условном знаке. Прежде чем войти к нему в клуню, Ванда обычно стучала — два раза погромче, а третий — совсем тихо. Это было в те времена, когда Яков опасался нападения со стороны Антека или Стефана. И вот он постучал условленным образом, но никто не ответил. Лишь теперь до него дошло, на какой риск он шел. Попадись он здесь на глаза, его приняли бы за вора. Мужики бы расправились с ним тут же на месте. И куда он с Вандой пойдет, если застанет ее здесь? Что ни говори, он рискует жизнью. За обращение христианина в еврейскую веру Якова могут сжечь на костре. Кроме того, евреи ни за что не станут считать новообращенную своей.

Еще есть время, чтобы убраться отсюда! — подсказывал Якову внутренний голос, — не то потеряешь и земную и загробную жизнь!... Его трясло. Куда меня завела страсть? — спрашивал он себя.

Все же он потихоньку отомкнул дверь овина. Я более не властен над собой! — как бы оправдывался он перед собой. Яков уловил шорох дыхания и знал, что это исходит от Ванды. Он приблизился к ней, готовый зажать ей рот раньше, чем она издаст звук. Он подкрался к вороху сена, на котором она спала. Глаза его уже привыкли к темноте, и он увидел при скудном свете, который проникал через щели в стенах и в

крыше, что она лежит до половины открытая, с обнаженной грудью. От ее тела на него повеяло жаром. Он положил свой мешок. В воспаленном от бессонницы мозгу вертелась история Руфи и Боаза. Она ему снилась наяву. Он произнес чуть слышно:

— Ванда...

Ванда задержала дыхание.

— Ванда, не кричи, это я, Яков...

И ничего более он не был в состоянии произнести.

Ванда вздохнула.

— Кто это?

— Не кричи, это я, Яков...

Слава Богу, она не закричала. Ему не пришлось зажимать ей рот. Она, видимо, еще не осознала, что происходит вокруг нее, села, как это делают тяжело больные, когда бредят.

— Кто ты? — проговорила она.

— Это я, Яков. Я пришел за тобой, не кричи, потому что...

В это мгновение она испустила крик, такой отчаянный, что Яков вскочил. Он не знал, что ему делать. Наверно, в хате услышали. Сейчас его поймают... Он бросился к ней и попытался зажать ей рот... Он боролся с ней в темноте. Она мгновенно встала на ноги и вцепилась в него, а он смотрел в сторону двери, не бегут ли сюда. Но пока никто не бежал. Он заговорил, с трудом переводя дыхание:

— Молчи, меня убьют!... Я пришел к тебе!... Я тебя люблю. Я не мог забыть тебя!...

Она пыталась отвести его руку от своего рта. Другой рукой он ее влек за собой, сам не зная, что делает. Ему нельзя было оставаться с ней более в этой ловушке. От волнения он весь взмок. Сердце отчаянно колотилось. Он бормотал:

— Покуда еще ночь, мы должны немедленно уходить!

Она перестала с ним бороться. Теперь ее бросило в дрожь. Она прижалась к нему и стучала зубами, словно зимой в мороз. Тело ее содрогалось, как в лихорадке. Он с трудом разобрал ее слова:

— Так это вправду ты?

— Да, я. Пошли!

— Яков, Яков!...

Никто, значит, не услышал ее крика, потому что никто так и не прибежал. А вдруг мужики подстерегают снаружи?... Он о что-то споткнулся. Это был его собственный мешок. Лишь теперь он заметил, что живот у нее небольшой, не такой, как он видел во сне. Сон обманул его. Она повисла на его плече. Она не плакала, а стонала, словно больная, не переставая повторять: — Яков, Яков! — И это говорило ему о том, как велика была ее тоска. Но нельзя было терять ни минуты. Он то и дело твердил ей, чтобы она одевалась поскорей — пора уходить. Взял ее за локти, прижал крепко к себе, потом оттолкнул, оправдываясь отрывистыми словами. Торопил, тормозил, просил взять себя в руки и не мешкать, так как велика опасность. Она обвила его шею и притянула к себе. Мгновенно его лицо сделалось горячим и влажным. Она его омыла своими слезами, нашептывая слова, которые не доходили до его затуманенного сознания. Из ее груди вырвался приглушенный стон, непохожий на человеческий. Его охватил ужас, не сошла ли она, не дай Бог, с ума?... Он произнес членораздельно:

— Нам пора уходить!

— Минуточку!

И она вышла из клуни. Он видел, как она побежала к хате. Не пошла ли она сказать матери, что он вернулся? Он поднял мешок и вышел, готовый исчезнуть, в случае если поднимется шум. Было мгновение, когда он вдруг засомневался, действительно ли та, которую он разбудил, была Вандой. Эта, казалась ему, меньше ростом и слишком легкой, — вроде подростка. Она напоминала больного цыпленка...

Кругом — тьма и тишина, которые предшествуют наступлению рассвета. Все притаилось в ожидании: небо, земля, горы. Хотя Яков был взволнован и перепуган всем тем, что проделал, но и в нем жила тишина. Мозг его теперь словно оцепенел, Яков сделался вдруг безразличным к исходу своей затеи. Судьба его уже была решена. Словно он перешаг-

нул на ту сторону возможности выбора... Он теперь был и Яковом, и в то же время не был Яковом. Глубоко в нем существовало нечто, что наблюдало за всем происходившим и диву давалось, словно это были поступки кого-то постороннего...

Яков долго ждал, а Ванда все не показывалась. Не раздумала ли она идти с ним? За горами уже, наверное, взошло солнце. Он стоял, окутанный мраком и предрассветным холодом. Но вот из хаты вышла Ванда, обутая в башмаки, в платке, с мешком на плечах. Он спросил:

— Ты их не разбудила?

Она сказала;

— Все спят. Пошли скорей!...

3.

Они не шли, а бежали. Надо было как можно скорее покинуть деревню. Он выбрал было дорогу, но Ванда, по-видимому, облюбовала другую. Было так темно, что он ее едва видел. Было похоже, что она от него удирает, а он, словно ночной призрак, гонится за ней. От долгой ходьбы и недосыпания у него ослабели ноги. Он оступался о камни, попадал в ямы, то и дело чуть не падал. Он хотел сказать ей, чтобы она не спешила так, что он может потерять ее из виду, но не решался подать голос. Было непостижимо, как она может бежать так с мешком на плечах. Он лишь теперь почувствовал, что его неотразимо клонит ко сну. Перед ним во мраке вырос силуэт. Яков в ужасе шаркнулся в сторону, но в то же мгновение видение растворилось в воздухе. Остался лишь сгусток мрака. Яков бежал по следам Ванды и грезил наяву. Кто-то что-то говорил ему, что-то происходило, но он не знал, что именно. Все время его не покидало чувство удивления, как это Ванда сумела одеться, уложить мешок и при этом не разбудить мать и сестер. Может быть, она их задушила? — мелькнуло у него в голове одно из тех предположений, о которых с самого начала знаешь, что они наверняка дикие и бессмысленные, и все же ты с ними некоторое время мысленно играешь.

Но вот в горах рассвело. Словно глыба дня вторглась в ночь. Заалел восток, и тут же из-за горы стало появляться восходящее солнце. Яков нагнал Ванду и увидел: они на поляне, за которой простирается лес. На Ванде был головной платок с бахромой и передник в клеточку, которые ему приснились. Сама Ванда как-то изменилась. У нее был болезненный вид, она стала щуплой. Несмотря на то, что на ее лицо падал живительный свет солнца, Яков заметил, что она бледна. Глаза ее сделались больше и выступали из орбит. Было удивительно, как она могла в таком состоянии так быстро идти, к тому же — с тяжестью на плечах. Он окликнул ее:

— Подожди минутку, остановись!

— Не здесь. В лесу! — бросила она с опаской.

Они вошли в лес, но она остановилась не сразу, а направилась к месту, которое, как видно, наметила заранее. В лесу их снова окутал мрак, и силуэт Ванды снова сделался нереальным. Он боялся, как бы не потерять ее среди деревьев. Он спотыкался о валуны, скользил по покрову из опавших сосновых игл. Дорога стала крутой и трудной. Ванда взбиралась, словно лань. Только теперь он понял, что вернулся к другой Ванде. Она более не была спокойной, рассудительной Вандой, какой была прежде. Но как это возможно, чтобы человек так быстро изменился.

Вдруг в лесу стало так светло, как будто зажглась огромная люстра. Ярко-золотой свет озарил все кругом. Птицы засвистели и защибетали. Выпала роса. Ванда привела его к пещере с узким входом. Она вбросила мешок, а затем сама полезла — головой вперед. Некоторое время ее ноги торчали снаружи. Он сделал так же: сунул мешок, потом стал влезать. Ему вспомнилось место из Талмуда: "...Воды в пещере не было, но там водились змеи и скорпионы". — Будь что будет! — сказал он сам себе. Ему показалось, что его поглотила бездна. Он скользил, и Ванда тянула его за плечи. Задыхаясь от затхлой вони, он перемахнул через Ванду и покатился по мешкам. Но вот пещера настолько увеличилась, что он смог сесть. Он заговорил, и собственный голос показался

ему далеким и чужим.

— Откуда ты знаешь об этой пещере?

— Знаю, знаю...

— Что с тобой? Ты больна?

Ванда ответила не сразу:

— Пришел бы ты чуть позже, я бы уже была в могиле.

— Что с тобой случилось?

Ванда снова помолчала.

— Почему ты ушел? Куда они тебя утащили? Говорили, что ты никогда больше не вернешься.

— Ты ведь знаешь, — евреи выкупили меня.

— Все говорили, что тебя схватили черти.

— Что ты говоришь?! За мной приехали и заплатили за меня Загаеку пятнадцать золотых отступного.

— Надо же! Как раз в то время, когда меня не было на месте! Я вернулась и так и знала, что тебя уже нет. Еще раньше, чем бабы сообщили мне об этом.

— Откуда ты знала?

— Я все знаю, все знаю!... Я шла с Антеком, и вдруг солнце померкло. И навстречу нам — Войцех верхом на лошади, а она смеется...

— Кто, лошадь?

— Да. Тогда мне открылось, что недруги мои злорадствуют...

Яков в задумчивости молчал.

— Я лежал в овине, когда парубок пришел за мной. Твоя сестра пришла с ним звать меня.

— Что? Знаю! Когда я вернулась, все зубоскалили, радуясь моему горю. Откуда евреям стало известно, где ты?

— Я рассказал поводырю, который тогда приходил с медведем, и он им передал.

— Куда, в Палестину?

— В Юзефов.

— Ты даже не простился со мной. Исчез, словно земля тебя проглотила. Словно никогда никакого Якова и не было. Стефан приходил, он хотел со мной спать, но я ему наплевала в рожу, и он в отместку убил нашу собаку. Мамка и Бася всем говорили, что

я рехнулась. Не то рехнулась, не то бес в меня вошел. Мужики хотели веревками привязать меня к столбу, но я удрала на гору и оставалась там, куда не привели коров. Четыре недели я ничего не ела, кроме снега и студеной воды из речки.

— Я не виноват, Ванда. Ведь пришли и забрали меня. Что я мог сказать? Ждал фургон. Сначала я решил, что меня ведут на виселицу.

— Ты должен был ждать, ждать... Нельзя было так уйти! Хотя бы ты ребенка оставил мне в чреве. Была бы память от тебя и утеха. Но ведь ничего не осталось, кроме валуна за гумном, а то, что ты там нацарапал, я не смогла разобрать. И я стала биться головой о камень.

— Я ведь вернулся к тебе, вернулся!

-- Я знала, что ты придешь, знала! Ты звал меня, я слышала твой голос. Но больше не было моих сил ждать тебя. Я сходила к гробовщику и велела ему снять с меня мерку для гроба. Сходила к ксендзу и неповедалась, потом облюбовала для себя место рядом с отцом.

— Ты же говорила, что больше не веришь в Джобака.

— Он послал за мной, как только я вернулась. Я повалилась перед ним на колени, целовала ему ноги. Одного я хотела: лежать рядом с отцом...

— Ты будешь жить, теперь ты станешь еврейкой.

— Куда ты меня возьмешь? Я больна, я не смогу больше быть тебе женой. Я ходила к ворожее, она научила меня, что мне надо делать. Это она привела тебя ко мне. Она, и никто другой.

— Полно! Что ты говоришь? Нельзя прибегать к колдовству.

— Ты не сам пришел, Яков, не по своему желанию. Это я слепила тебя из глины и заплела себе в волосы. Я достала яйцо черной курицы и схоронила его на скрещении дорог вместе с осколком зеркала, в котором мне удалось увидеть твои глаза.

— Когда?

— Пополночи.

— Но ведь этого нельзя, никак нельзя. Колдовство запрещается!

И тут вдруг она повисла на нем и разразилась такими горькими рыданиями, что Якова охватила дрожь. Она выла, цеплялась за него, осыпала его лицо поцелуями, лизала его руки. Из нее вырывались нечеловеческие звуки, напоминающие лай суки.

— Яков, Яков!... Не оставляй меня больше одну!..

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

САРА

Глава восьмая

1.

Смятение не проходило. Снова гайдамаки напали на Польшу. Снова резали евреев в Люблине и вокруг Люблина. Тех, кого не убили гайдамаки, прикончили польские солдаты. Затем с востока подоспели москали и с севера шведы.

Но, несмотря на войны и погромы, евреи вынуждены были торговать, управлять арендованными у помещиков землями, занимать деньги, платить налоги и даже выдавать дочерей замуж. Сегодня строили дом, а на завтра громилы его поджигали. Сегодня обручали дочь, а на завтра бандиты ее насильовали. Вот уже были богатыми и тотчас становились бедными. Плясали на празднике, а на завтра оплакивали погибших. Евреям приходилось перебегать с места на место: в Люблин и из Люблина, во Львов и из Львова. Город, который вчера был надежен, сегодня оказывался окруженным. Вчерашний богач сегодня шел с сумою. Многие пытались спастись, принимая христианство. Крестились целыми общинами. Часть возвращалась потом к еврейской вере, некоторые так и остались на перепутье. Польша была полна изнасилованных женщин, женщин, покинутых мужьями, тех, которые бежали от своих мужей-неевреев, полна мужчин, вызволенных из плена, и тех, которые удрали сами. Гнев Божий обрушился на народ и не унимался.

Но как только наступала передышка, евреи вновь становились евреями. Как же иначе? Принять веру злодея?!..

В местечке Пилица, по ту сторону Вислы, собрались остатки евреев из сожженных и вырезанных селений. Помещик Адам Пилицкий разрешил им обосноваться на его земле. Сам помещик тоже пострадал от войны со шведами. Но землю, небо, воду — этого

даже шведы отнять не могли. Крестьяне снова пахали и сеяли. Земля, напитанная кровью виновных и безвинных, снова рождала рожь и пшеницу, ячмень и овес, овощи и фрукты. Шведские солдаты, отступая, подожгли замок Пилицкого, но проливной дождь потушил пожар. В междучасье, когда ушли шведы, а польская армия еще не пришла, группа крестьян взбунтовалась против помещика и убила одного управляющего. Но Пилицкий вооружил своих людей, и восстание было подавлено. Часть бунтарей повесили, других заповороли до смерти. Головы бунтовщиков Пилицкий насадил на колья и выставил на устрашение крепостным — покуда птицы не сожрали мясо, так что остались одни голые черепа.

Пан Пилицкий не годился в хозяева. Да и времени для хозяйства у него не было. Польские экономы воровали и в придачу были пьяницами и лентяями. Правда, еврей, если позволить ему, тоже мошенничает, но на еврея у помещика всегда есть кнут, его, как и мужика, можно выпороть, посадить в свинарник или даже отрубить голову. Его имущество просто конфисковать. Хорошо еще и то, что еврей не транжир. Он накапливает деньги и дает их под проценты. Еврея же ростовщика, никому не возбраняется надуть или заставить уступить.

Адаму Пилицкому было уже пятьдесят четыре года, но выглядел он молодо: высокий, смуглый, с копной темнорусых волос без малейшего намека на седину, с темными глазами и бородкой, подстриженной клинышком. Молодые годы он провел во Франции и Италии. И вывез из Европы так называемые "новые идеи". Одно время он даже общался с протестантами, но вскоре стал противником реформации и ревностным католиком. Соседние помещики считали его чудаком. Он постоянно кричал, что Польшу губят. Всех именитых богачей величал ворами, паршивцами, бездельниками. Хотя сам он не участвовал в войнах против казаков и шведов, любил обвинять окружающих в трусости, и клялся всеми клятвами, что в Польше можно купить любого — от ничтожного писаря в магистрате до короля. Будучи пья-

ницей и развратником, он цитировал грозные слова из проповеди ксендза Скарга. От крестьян он требовал, чтобы те подчинялись устаревшему закону Юс Прима Ноктуса. Про него говорили, что он сожительствовал с родной дочерью, и поэтому она утопилась. Сын его сошел с ума и впоследствии во время эпидемии умер. Злые языки утверждали, что жена его Тереза поставляет ему любовниц, а сама живет со своим кучером. Некоторые прибавляли, что она не гнушается и жеребца. Ко всему тому — в последние годы оба, помещик и помещица, впали в религиозность. Осада монастыря в Ченстохове и героическое сопротивление Кордецкого привели супругов в настоящий религиозный экстаз.

Замок кишел их родственниками, которые, хотя и принадлежали к аристократии, выполняли работу слуг и служанок. Однажды, когда хозяйка обнаружила дырку в скатерти, она выплеснула на свою кухню стакан вина. Каждые несколько дней она заставляла пересчитывать скатерти, полотенца, рубахи, исподнее белье, посуду, фарфор. Когда хозяина охватывал гнев, он этих старых дев-родственниц, сидевших у него на шее, стегал прутом. Пилицкие были наследниками большого состояния, со временем разворованного и разграбленного. В соседних усадьбах утверждали, что из всех драгоценностей Терезы Пилицкой осталась лишь одна единственная золотая булавка.

Адам Пилицкий при каждом удобном случае вещал, что у Польши не будет покоя, пока она не истребит всех протестантов, казаков, а также евреев, которые тайно подкупили предателя Роджишевского и заключили союз со шведами. Он поклялся ксендзам, что когда Бог освободит Польшу от ее врагов, нога еврея больше не ступит на его землю. Но слова оставались словами.

Сначала Адам Пилицкий пустил только одного еврея, арендатора. Тот сразу же стал плакаться, что не может обойтись без миньяна. Со временем евреи стали требовать, чтобы им разрешили построить синагогу. Потом кто-то из них умер, понадобилось и кладбище. Еще немного, и евреи привезли из Пилицы

раввина, резника, и образовалась община. Адам Пилицкий сыпал проклятьями и плевался, но, что ни говори, евреи помогли ему поправить дела. Они следили за тем, чтобы мужики сеяли, жали, косили сено. Они за наличные деньги покупали у Пилицкого хлеб, скот, арендовали для ловли рыбы пруд, построили помещение для сушки сыра, и даже завели ульи с пчелами. Пилицкому не приходилось больше куда-то ездить искать портного, сапожника, шапочника, бондаря. Еврейские ремесленники обслуживали замок: чинили крышу, перекладывали печи. Евреи умели делать все: переплетать книги, вставлять новые паркетины в полы, вставлять оконные стекла, выстругивать рамы для картин. Когда кто-нибудь заболел, приходил доктор-еврей, приносил с собой все, что нужно, ставил пиявки, пускал кровь. Еврейский ювелир, бывало, изготовит для помещицы браслет и даже денег не возьмет, только вексель попросит. Сами иезуиты, черт знает что говорившие о евреях и писавшие на них пасквили, торговали с ними.

Вначале Пилицкий вел счет евреям, поселившимся на его земле, но со временем это дело бросил. Он не знал их языка и с трудом отличал одного от другого. Он уверял, что если в Польше все будет продолжаться в том же духе, придет новый Хмельницкий... Все катится в преисподнюю...

В один прекрасный день в Пилицу пришли пешком муж и жена, оба с мешками за спиной и с узлами в руках. Евреи повыходили из лавчонок и мастерских, чтобы приветствовать прибывших. Мужчина был высокий, широкоплечий, с голубыми глазами и темнорусой бородой. Жена его была в косынке, выглядела намного моложе мужа и походила на христианку. Мужа звали Яковом. Его спросили, откуда они. Он назвал дальний город. Женщины вышли, чтобы встретить молодуху, но она оказалась глухонемой. Вначале удивлялись, что такой представительный мужчина женился на глухонемой. Но, если рассудить, что в этом особенного, ведь соединяет людей Бог в

небесах. Яков сказал, что жену зовут Саррой, и ее тут же окрестили немой Саррой.

Евреи осведомились у Якова, силен ли он в науке. В Пилице искали для детей меламеда.

— Хумаш я знаю.

— Этого достаточно!

Время было летнее. Между Песах и праздником Шавуот Якову и его глухонемой жене дали квартиру, и он открыл хедер. Дерево в Пилице было дешевое, у Пилицкого было много леса, и Якову обещали, что если с хедером дело пойдет хорошо, ему построят дом. Якову дали стол, скамью для порки и ремень. Он выстругал себе указку и написал на доске печатными буквами азбуку. Большинство учеников были начинающими. Яков сидел с ними на дворе под сенью дерева. Вокруг лежали бревна и доски. Здесь строили. Он учил детей азбуке, грамоте, каждого в соответствии с его возрастом и знаниями. Дети играли на досках и бревнах, сооружали качели, строили из щепок домики, копали ямки. Некоторые родители посылали в хедер и дочек, потому что в Пилице некому было учить их молиться и писать. Девочки делали из песка куличики, плясали, распевали песенки "Дора-Анна красивая панна", мальчик был в их игре мужем, который ушел молиться. "Жена" готовила в черепке ужин. Хлебом был кусок коры, похлебкой — вода из кадки, мясом — шишка. Яков куда-то задевал ремень. Он не порол детей и даже не кричал на них. Он ласкал их и целовал в головку. Все эти дети родились уже после погрома.

В городке сразу полюбили Якова. Сочувствовали ему — ведь у него глухонемая жена. Правда, она соблюдала все законы: совершала омовение, мочила и солила мясо; с пятницы на субботу заготавливала в печи чолнд, зажигала по пятницам свечи. По субботам она стояла в женской части синагоги с молитвенником, и губы ее шевелились. Но иногда она делала вещи, неподобающие жене меламеда. Снимала ботинки и шастала босиком. Когда ее что-нибудь смешило, она от всей души смеялась, показывая полный рот белых, без единой щербинки зубов. За домом глухо-

немая Сарра вскопала грядку и посадила овощи. Она трудилась с усердием крестьянки, колола дрова, носила воду, ходила на реку стирать белье. Когда справлялась со своим бельем, помогала женщинам, у которых были малые дети, и делала это бескорыстно. Была она необыкновенно сильна. Однажды в присутствии женщин она разделась догола и бросилась в воду. Бабы подняли крик. Никто из них не умел плавать. Они боялись, что глухонемая утонет в водовороте. Но она спокойно переплыла опасное место. Все оторопели.

— Ну и немая!...

Когда Якову стали строить дом, он и Сарра помогали. Сарра была уже беременна, но таскала бревна и доски наравне с мужчинами. Яков сам рубил деревья в лесу, обтесывал их и приволакивал к месту стройки. Общине не пришлось потратить на постройку ни единого гроша. Со временем выяснилось, что этот Яков гораздо ученей, чем они думали. Когда читающий Тору однажды охрип, его заменил Яков. Несколько раз его заставляли в синагоге, углубленным в Талмуд. Во время молитвы он стоял в углу, завернутый в талес и самозабвенно покачивался. Временами у него вырывался тихий вздох. Он мало рассказывал о себе, но люди догадывались, что он потерял семью. Наверное у него прежде были жена и дети. Но каждый раз, когда хотели втянуть его в разговор, он отделялся общими словами.

— Что было, то было. Приходится начинать все запово...

Мужчины уважали его, женщины любили. По субботам в послеобеденное время, когда хозяйки рассаживались на скамье перед домом, заходил разговор о том, что у немой больше счастья, чем ума. Правда, она молодая, красивая и пышет здоровьем, но какой толк от немой жены? Мужчина желает поговорить со своей женой, спросить у нее совета. Ну а что, если ребенок, упаси боже, будет в мать? Немая мать вполне может родить немое дитя. Одна шутница заметила: немая жена — оно может и неплохо — не пилит.

— Так только говорится.

— Все же лучше, чем слепая.

— Как только начинает смеркаться, она бежит закрывать ставни — сказала одна из женщин.

— С чего бы это?

— Это значит, что она его любит.

— Кто бы его не любил?..

В субботу немая Сарра вместо платка надевала чепец. Она привезла с собою из далеких мест платье в цветочках, вышитый передничек, ботинки с острыми носками. Немая Сарра в одной руке держала молитвенник, в другой — носовой платок. Женщины жестами и мимикой "объясняли" ей, что так, мол, не полагается, но она делала вид, что не понимает, улыбалась и кивала головой. Она сидела на скамье, и губы ее шевелились. Женщины потихоньку посмеивались над ней, но все признавали, что у нее золотое сердце. Она навещала больных, натирала их терпентином или водкой, по пятницам приготавливала угощение для учеников мужа, всех одаривала, всем помогала, прислуживала старым и немощным. Тем временем живот ее сделался большим и угловатым.

Немые обыкновенно и глухи, поэтому при ней говорили, не стесняясь. Сарра сидела с молитвенником, когда кто-то заметил:

— Разве она умеет молиться? Смотрит как баран на новые ворота.

— Может ее учили?

— Как можно немую учить?

— Может она онемела с перепугу?

— Вид у нее не из пугливых.

— Может злодеи отрезали ей язык?

Ей велели показать язык. Сначала она вроде бы не поняла, и заулыбалась. На обеих щеках появились ямочки. Потом она высунула розовый язык, острый, как у суки. Женщины засмеялись.

— Убери скорее!

Мысль притвориться немой была не Якова, а Ванды. Она понимала, что пройдет слишком много вре-

мени, покуда она научиться говорить по-еврейски. Даже те слова, которые она знала, звучали у нее неестественно. Сперва Ванда собиралась выдавать себя за еврейку, попавшую в плен к казакам и забывшую еврейскую речь. Но, во-первых, она и языка казаков не знала, во-вторых, лгать — у нее не получалось. Ее легко было бы разоблачить. После долгих мучений и страхов — ведь за принятие еврейской веры грозила смертная казнь — Ванде пришла в голову мысль притворяться немой. Так как Якова знали в Люблине и в других городах, в которых он бывал на обратном пути из плена, выступая перед евреями, супруги вынуждены были выбрать эту глушь.

Вечерами, когда прежняя Ванда и теперешняя Сарра, как зовутся все новообращенные, запирали ставни, Яков потихоньку разговаривал с ней и учил ее еврейским законам и правилам. Он научил ее молиться и писать по-еврейски, читал ей Пятикнижие, рассказывал истории из Талмуда и Мидраша. Ее усердие поражало Якова. У нее была хорошая голова, и не раз она задавала вопросы, по которым спорили комментаторы Библии. Учить с Саррой Тору было небезопасно. Ведь кто-нибудь за стеной мог подслушать. Якову приходилось говорить шепотом — обычно немые также и глухи. Кто же станет разговаривать с глухой? Надо было остерегаться христиан с их законами. Яков боялся также евреев. Его бы выгнали из города, если бы узнали, что он живет с нееврейкой. Кагал сразу начал бы расследование: где, когда и как? Если бы дошло до властей, что еврей отвратил польку от христианской веры, наказали бы весь город и выдумали бы еще Бог знает какие небылицы. Священники только и искали, к чему придраться. Евреи же не без основания заподозрили бы, что жена перешла в еврейство лишь из любви к мужу, потому что, где это видано, чтобы жейщина копалась в вопросах религии? И тогда бы Якова предали анафеме...

Яков скрыл даже то, что он знаток Талмуда, потому что люди чем-либо выдающиеся всегда вызывают любопытство, — хотят знать, откуда ты и

где набрался премудрости. Он привез с собой несколько книг по теологии, но держал их спрятанными. Поскольку дерево было здесь дешево, и Яков все делал своими руками, он построил свой новый дом с толстыми стенами и с альковом без окна. Все для того, чтобы тайком учить Тору самому и вместе со своей любимой женой. Сначала он жил с ней незаконно, но потом они повенчались по всем правилам. Она уже верила в еврейского Бога, в Тору и соблюдала все законы. Временами она ошибалась, произносила слова, не подобающие еврейке или же понимала их на выворот, по своему крестьянскому разумению, но Яков терпеливо указывал ей на ошибки, объяснял суть каждой заповеди, каждого поступка. Яков теперь понимал, почему так полезно учить других. Указывая Сарре богоугодный путь, отвечая на ее вопросы, исправляя ее ошибки, он сталкивался с трудностями, о которых и не подозревал. Нередко Сарра задавала вопросы, на которые никто в целом мире не смог бы ответить, как например: если убийство есть преступление, почему же Всевышний разрешил евреям вести войны и даже убивать стариков и детей? Если народы, далекие от евреев, как была далека от них Ванда, живя в деревне, никогда не знали Торы, чем же они виноваты, что поклонялись идолам? Если Авраам был праведником, почему он выгнал Агарь с ее сыном Исмаилом? Но более всего ее мучил вопрос, почему праведнику плохо, а злодею хорошо. Сколько раз Яков говорил ей, что не в состоянии разгадать эти загадки, но Сарра твердила свое:

— Ты все знаешь!...

Яков неоднократно обращал ее внимание на законы очищения. Он напоминал ей, что в нечистые дни ей нельзя сидеть с ним на одной скамье, есть за одним столом, нельзя было так же ему сидеть на ее кровати, а ей на его. Но это относилось к тем вещам, которые Сарра забывала, или же делала вид, что забывает. Она всегда старалась приблизиться к нему. Готова была подбежать и поцеловать его даже тогда, когда была нечистой. Яков кричал на нее, объяснял, что каждое такое прикосновение запрещается Торой,

но она на это смотрела сквозь пальцы, что очень огорчало Якова. Других правил она придерживалась строго: следила за посудой, то и дело справлялась относительно мясного и молочного. Иногда она забывала, что немая, и начинала вдруг петь. Якова пробирала дрожь. Вообще неприлично еврейской женщине петь, — ведь это возбуждает желание мужчины. Яков хотел, чтобы она брила голову, как остальные женщины, но Сарра стриглась, и пряди волос нередко выбивались у нее из-под платка.

Днем Яков строил дом, а по ночам Сарра ему твердила о том, что хочет уйти из этой Пилицы. Как долго можно играть роль немой? Что будет с ребенком?! Она не хочет, чтобы он думал, что мать его немая. Ребенка надо учить говорить. Мать должна проявлять любовь к своему ребенку. Сарра все допытывалась у Якова, говорит ли она по-еврейски уже достаточно хорошо. Яков уверял, что ее произношение улучшается, но, увы, она часто корежила слова и неправильно их чередовала. Нередко она делала такие нелепые ошибки, что Яков смеялся. Достаточно было бы кому-нибудь услышать от нее несколько слов, чтобы сразу понять, что она гоя. Теперь, когда Сарра была в положении, у Якова были еще и другие страхи. Роженица во время родов кричит. Она произносит слова произвольно. Может открыться правда. Разве что у Сарры хватит сил страдать и молчать...

Да, в тот день, когда Яков вышел из Юзефова и пустился по направлению к деревне, где он отработал пять лет, он взвалил на себя бремя, которое со временем становилось все тяжелей. Он оказался в сетях, из которых нельзя было выпутаться. Наверное, он потерял рай и после смерти?!.. После пяти лет вынужденного рабства он обрек сам себя на рабство, которое продлится всю его жизнь. Но Яков не жалел о содеянном. В конце концов ад тоже для людей, а не для собак. Эти слова он однажды слышал от водовоза. Конечно, он, Яков, не безгрешен, зато он спас от язычества живую душу. По вечерам они лежали в кроватях, поставленных углом — комната была недостаточно велика, чтобы кровати могли уместиться

рядом — и перешептывались, не уставая ворковать часами. Яков учил Сарру, наставлял ее, подкрепляя свои слова примерами. Она говорила о ее большой любви к нему. Иногда они вспоминали времена, когда он летом жил в сарае, а она, Ванда, приносила ему еду. Все это было далеко и призрачно, словно сон. Сарре трудно было себе представить, что ее село все еще где-то существует, и что в нем живут брат ее Антек, сестра Бася ¹, возможно, мать. Яков сказал, что по закону ее родные больше ей не родные. Принявший новую веру — это словно заново рожденный человек. Она, Сарра, теперь как Ева, созданная из ребра Адама. У нее нет никого, кроме Якова. Сарра тут же заметила:

— Но татуля так и остался мне татулей...

И она стала причитать, оплакивая Яна Бжика, который все свои годы мучился, и теперь похоронен где-то среди язычников. Она заявила:

— Тебе придется взять его с собой в рай... Без него я не пойду...

4.

В поместье Пилицкого и в окружающих деревнях мужики готовились к жатве. Теперь они редко привозили в местечко что-нибудь на продажу, так как работали на полях. Находились охотники, которые тащились за город, чтобы купить мерку ржи, курицу, несколько кружек пшена или еще чего-нибудь, что можно достать у крестьян. Сарра взяла мешок и тоже пошла в близлежащее село за покупками. Яков говорил ей, что беременной женщине, тем более — жене меламеда нехорошо идти с мешком в деревню. Но Сарра тосковала по лугам, полям и болотам, где пасутся овцы и коровы. Как только она вышла из местечка, ² она разулась и повесила башмаки на плечо. Местечковые женщины смеялись над ней:

— Немая кукла, как ты будешь торговаться?

Так как все считали, что она и глухая, над ней смеялись и говорили при ней, что угодно. Ее называли бессловесной коровой, идолом, чурбаном, дурехой и еще по-всякому. Жалели Якова, которому до-

сталась такая гусыня. Одни предполагали, что у нее богатый отец, который дал за ней большое приданое. Другие добавляли, что небось этот Яков сам тоже порядочный осел, если женился на такой ослице. Сарра еле сдерживала слезы. Но приходилось не подавать вида, что она все слышит. Мужики тоже встретили ее насмешками. Они знаками показали немой еврейке, что из степей снова придут гайдамаки и вырежут оставшихся евреев. Немая ведь и глуха — ее совсем не стеснялись. Они жаловались, что Пилицкий загадил польскую землю еврейской нечистью, что надо ждать войны, мора, неурожая или какой-нибудь другой напасти — небесной кары за то, что дали убежище богоубийцам и отступникам. Сарра еле сдерживалась, чтобы не ответить.

Ночью, оставшись наедине с Яковом, она расплакалась и рассказала, что говорили про них евреи. Яков рассердился.

— Такие вещи не пересказывают. Это сплетни. Это такой же грех, как есть свинину!...

— Им можно оскорблять нас, а мне нельзя рассказать об этом?

— Им тоже нельзя.

— Все они делают это. Даже Брайна, жена Гершона, главы общины.

-- Каждый из них понесет наказание на небе. В священных книгах сказано, что, произнесшему слово клеветы, хулы, издевки предстоит гореть в адском пламени.

— Значит, все будут гореть в аду?

— Ад достаточно велик...

— Жена раввина тоже смеялась и кивала головой.

— На небе никому не делают исключений. Даже Моисея, когда он согрешил, наказали...

Сарра задумалась.

— Если злословить было бы так же грешно, как есть свинину, они бы не злословили.

-- Идем, я тебе покажу, что в Торе это запрещается.

Яков раскрыл Пятикнижие, перевел ей место, где

черным по белому написано об этих прегрешениях, объяснил, что сказано в Талмуде. Говорил он тихо, чтобы кто-нибудь не услышал. Приотворил дверь, чтобы проверить, никто ли не притаился у замочной скважины. Сарра спросила:

— Почему евреи одни заповеди выполняют, а другие нет?

Яков закивал головой.

— Так было всегда. Потому и был разрушен Храм. Из-за чего и сокрушались пророки. Евреи приносили жертвы, но в то же время обирали сирот и вдов. Не есть свинину легче, чем удерживаться от злословия. Идем, я прочту тебе главу из пророка Исаяи...

Яков перевел Сарре первую главу из Исаяи. Сарру поразило, что пророк говорит то же самое, что и Яков: Богу достаточно крови и жира баранов и овец. Он не желает, чтобы к нему во двор являлись с окровавленными руками. Он сравнивает старейшин Израиля с жителями Содома, которых Бог покарал... Был уже поздний вечер, но в плошке с маслом все еще мерцал фитилек. Вокруг огня кружились мошки, мотыльки. Тень от головы Якова раскачивалась на потолке. За печью пел сверчок. Любовь к Якову перемешивалась у Сарры со страхом. Она страшилась и строгого Бога на небе, который слышит каждое слово, знает каждую мысль; и мужиков, которые хотят, чтобы снова резали евреев и живьем закапывали детей; и евреев, которые одну часть Торы соблюдают, а другую нарушают, вызывая гнев Всевышнего. Сарра дала Якову слово больше никогда не передавать разговоров. Она и так ему рассказывала далеко не все. Об одном лавочнике в городке говорили, что он обвешивает, о другом шептались, будто он обокрал своего компаньона. Сарра давно уже хотела спросить Якова: если евреи и вправду избранный народ, как же они могут так грешить? Одно только ей было ясно: он, Яков, справедливый человек. И если Бог любит Якова, как она — тогда жить ему вечно. Она все время молила за него Бога. Кроме него у нее никого не было. Никого, кроме него, она не могла бы любить. Хотя в городке она была окружена людьми,

ей часто казалось, что она от всех в стороне. От своих крестьян она уже отошла, с евреями Пилицы не сблизилась. Яков был для нее всем: мужем, отцом, братом. Как только он потушил свет, она стала звать его к себе. Яков подтрунивал:

— Эх ты, бесстыдница! Еврейской женщине не полагается звать мужа... За это тебе нужно дать развод...

— Что же можно еврейской женщине?

— Рожать детей, которые будут служить Богу.

— Хорошо, я нарожу целую дюжину!

Он пришел к ней не сразу, — еще долго рассказывал о праведниках. Она хотела знать обо всем, что происходит в раю, и что будет, когда придет мессия. Яков тогда по-прежнему будет ее мужем и будет учить ее святому языку? А возьмет ли он ее с собой в храм? Яков сказал ей, что день будет тогда долгим, словно год и что солнце будет светить в семь раз ярче, чем теперь. Праведники будут есть левиафана, дикого быка и пить вино. Сарра спросила:

— А сколько жен будет у каждого мужчины?

— У меня будешь ты одна.

— Я буду тогда уже старая.

— Ты всегда останешься молодой...

— Какое платье будет на мне?...

Лежать с Яковом в постели — это одно уже было раем. Часто она мечтала, чтобы ночь длилась вечно, чтобы вечно быть с ним, слушать его речи, ощущать его ласки. Эти часы в темноте были наградой за все ее страдания. Позднее она засыпала, и сновидение переносило ее обратно в деревню, в хату, на гору. У нее были разные дела с Антеком, Басей, матерью. Во сне татуля всегда был жив и говорил ей мудрые слова, которые она забывала, когда просыпалась. Оставались лишь отзвук в ушах и легкий привкус во рту. Иногда ей снилось, что Яков ее покинул. Она плакала во сне, и Яков будил ее. Она просыпалась в холодном поту.

— О, мой Яков! Ты здесь, здесь! Слава Богу!

И лицо его становилось жарким и влажным от ее слез.

В середине дня к базару подкатила карета помещика. Четверка лошадей была запряжена цугом. Два фореитора погоняли, два холопа стояли на пятках. Один из фореиторов трубил в рог. Евреи Пилицы испугались. С такой помпой помещик редко появлялся в местечке, особенно в обычный летний день перед жатвой. Адам Пилицкий был при шпаге и пистолете и выглядел нетрезвым. Выскочив из кареты, он тотчас выхватил из ножен шпагу и стал неистово кричать:

— Где Гершон? Я ему голову отрублю! Я с негс живого куски буду рвать и укусом поливать! Я его вместе с семейкой разорву на части и брошу псам!

Часть евреев разбежалась. Другие подбежали к помещику, чтобы броситься ему в ноги. Женщины заплакали все разом. Дети, с которыми занимался Яков, заслышав шум, побежали посмотреть на помещика, на карету, на лошадей со вскинутыми шеями, с нарядной упряжью. Кто-то поспешил сообщить старосте общины Гершону, что его ищет помещик.

После первой суматохи жители Пилицы поняли в чем дело. Этот Гершон действительно самовольничал. Он взял в аренду поместье и вел себя так, словно все это добро было его собственностью. Он построил себе просторный дом, взял в зятя трех богачей. Одного зятя сделал раввином, другого — резником, третьему дал право на подряд выстроить синагогу и снабжать город пасхальной мукой. Самого себя он избрал старшиной погребального общества. И хотя землю под кладбище помещик евреям подарил, Гершон драл втридорога за места для погребения. Согласно постановлению люблинского Совета четырех земель, королевские подати, которые евреи платили королю, должны были взыскиваться семью выборными представителями города — из самых почетных его граждан. Но Гершон, этот толстосум, все решал сам. Своим друзьям и тем, кто подхалимничал перед ним, он уменьшал налоги, остальные же несли непосильное бремя. Гершон, этот неуч, сам присвоил себе титул наставника и приказал кантору не начинать без него

молитву. Когда Гершону приходило в голову среди недели сходить в баню, он приказывал банщику топить ее за счет общины.

Те, кто пострадали от Герсона, не раз грозили, что пожалуются на него помещику и в Люблинский Совет. Но он никого не боялся. В Совете у него была своя рука, к тому же у него имелся вексель помещика на тысячу злотых, которые тот был ему должен. Гершон якшался и с другими помещиками, врагами Адама Пилицкого.

Этот Гершон, должно быть, позабыл, что евреи находятся в диаспоре. Вот и теперь ему советовали, покуда у Пилицкого не уляжется гнев, где-нибудь спрятаться, в погребе или на чердаке. Но ему хотелось показать, что он не трус. Он надел шелковую бекешу и соболью шапку, подпоясался кушаком и вышел к помещику. Гершон носил облачение служителя культа, а лицо у него было багровое, как у мясника, с седой жидкой бородкой, все волоски которой можно было сосчитать. Нос кривой, губы толстые, живот выпирал, как у беременной женщины. Глаза под густыми бровями были разной величины и сидели — один выше, другой ниже. Он славился своим крутым нравом и к тому же был упрям, любил препираться по поводу законов, древнееврейских слов, священных книг. Когда он говорил на собрании общины, то в каждом третьем слове делал ошибки. Болтал он обычно так долго, покуда все засыпали.

Сейчас Гершон неспешным шагом направился к помещику, за ним следовала свита. Это были мясники, торговцы лошадьми, члены погребальной общины, которым он подсовывал разные заработки и два раза в году устраивал пирушки. Прежде чем Гершон успел раскрыть рот, Пилицкий закричал:

— Где красный бык?

Гершон чуть подумал.

— Я его продал мясникам, Ваша светлость.

— Ты, грязный еврей, ты продал моего быка?

— Покуда я арендатор, вельможный пан, я и являюсь хозяином.

— Сейчас мы увидим, кто тут хозяин!... Холопы,

взять его! Покончьте с ним тут же на месте!...

Все евреи закричали разом, даже — враги Гершона. Гершон попытался что-то сказать, шарахнулся, но тут же фореиторы и холопы схватили его с обеих сторон. Помещик скомандовал:

— Веревку! Веревку! Повесить его!...

Народ бросился на колени, стали кланяться, как в Судный день во время коленопреклонения. Женщины испустили дикий вопль. Гершон сопротивлялся, как если бы верил, что возможно вырваться. Один холоп сорвал с него кушак. Помещик закричал:

— Столб, столб! Принесите сюда столб!...

— Вот, Ваше благородие, фонарь!...

Яков услышал крики, каких не слышал даже тогда, когда гайдамаки напали на Юзефов. Жена Гершона схватила помещика за ногу и не отпускала. Помещик лягал ее другой ногой. Он размахнулся саблей, словно для того, чтобы отрубить ей голову. Женщины забегали, как ошалелые, истошно крича. Одна ногтями впиалась в свои щёки, другая схватилась за грудь, третья орала на своего мужа, почему тот стоит в стороне и ничего не предпринимает. Община была озлоблена на Гершона, этого толстосума, изображающего из себя правителя, но видеть, как человека среди бела дня вешают — этого евреи не могли. Невестки Гершона попадали друг другу в объятия, задыхаясь от рыданий. Раввин также попытался броситься помещику в ноги. С головы у него свалилась ермолка, а пейсы касались песка. Все повторилось как в год кровавого погрома Хмельницкого. Мясники и прочие прихвостни Гершона легко могли бы разоружить холопов и защитить его, но где это слыхано, чтобы еврей оказывал сопротивление помещику? И вот они стояли, беспомощно переминаясь с ноги на ногу, растопырив руки и раскрыв рты, словно пораженные собственным бессилием. Из синагоги вышел служка со свитком Торы в руках, собираясь этим унять гнев помещика. Одни кричали служке, чтобы он шел скорее, другие грозили ему кулаком, давая понять, что это святотатство. Он остановился поодаль, раскачиваясь на подкосившихся ногах, готовый вот-вот рухнуть

вместе со священной ношей. Тогда вопли стали еще громче.

Яков на мгновение оцепенел. Он прекрасно знал, что ему сейчас нельзя и слова проронить, но молчать он не мог. Значит, суждено мне погибнуть! — услышал он внутри себя голос. Он подбежал к помещику, снял шапку и воскликнул:

— Светлейший, из-за быка не убивают человека!...

Стало тихо. Гершон с самого начала не влюбил Якова. Это началось с той субботы, когда тот, кому полагалось читать в синагоге Тору, заболел, и вместо него читал Яков. Гершон терпеть не мог знатоков Талмуда. Он бы ни в коем случае не допустил, чтобы Яков стал здесь меламедом, знай он, что тот действительно учен.

И вот теперь Яков за него заступает. Ошеломленный помещик взглянул на Якова.

— Кто ты такой?

— Я учу детей.

— Как тебя зовут?

— Яков.

— Ты и есть тот Яков, который выманил у Исава право первородства?... И он неистово захохотал.

Этот смех как бы прервал экзекуцию. Все стали смеяться. Пилецкий так и сгибался от хохота. На мгновение показалось, что все происходившее ранее было шуткой, барским развлечением. Помещики нередко разыгрывали такого рода комедии с евреями, но евреи каждый раз пугались, так как шутки злодеев легко оборачивались грозной расправой, как, впрочем, и наоборот. Холопы все еще держали Гершона. Он был единственный, кто не смеялся. Его рыжие глаза глядели с такой неистовой злобой, с какой только рождаются. Из-под торчащих усов свешивалась толстая нижняя губа, обнажая желтые редкие зубы, как у зверя, на которого напала более сильная тварь, но в которую он, издыхая, все же готов вонзить клыки... Помещик изнемогал от смеха. Он всплескивал руками, хватался за колени, покатывался. Те, кто только что пали ниц, поднялись и помогали ему смеяться с безумной беспечностью страха... Даже раввин смеял-

ся. Женщины, обхватывая друг друга, приседали, не то смеясь, не то плача...

— Мамочки мои! — взревел помещик, — мамочки, папочки, еврейчики!... И он заржал снова. Весь кагал вместе с женщинами и детьми вторил ему, каждый на свой манер, со своими ужимками. У одной старухи свалился чепец. Ступенчатый череп выглядел смешно, как у только что постриженной овцы. Теперь женщины стали смеяться уже искренно...

Но вот смех прекратился. Помещик напоследок хохотнул, и лицо его снова искривилось от злобы.

— Кто ты такой? Что ты здесь делаешь? — рявкнул он. — Отвечай!

— Я меламед. Учю детей.

— Чему ты их учишь, как выкрадывать просвиру, как отравлять колодцы? Как употреблять христианскую кровь на мацу?...

— Боже упаси, ясновельможный! Это запрещено еврейским законом.

— Запрещено? Знаем! Проклятый ваш Талмуд учит, как обманывать христианский народ. Отовсюду вас выгнали, а наш король Казимир широко распахнул перед вами ворота. Но как бы нас отблагодарили? Вы устроили здесь новую Палестину. Вы поносите и прсклинаете нас на вашем древнееврейском. Вы плюете на наши святыни. Вы десять раз на день хулите нашего Бога. Гайдамаки Хмельницкого проучили вас, но мало. Вы заодно с разбойниками-шведами, и с русскими, и с пруссаками, — со всеми врагами нашей отчизны. Кто разрешил тебе быть здесь, проклятый еврей?! — закричал Пилицкий, размахивая кулаком. — Это земля моя, не твоя! Мои родители пролили за нее кровь. Мне не надо, чтобы ты учил еврейских ублюдков, как осквернять мою отчизну, пожираемую всякой нечистью, отчизну, которая и так уже полумертва...

Пилицкий запнулся. Пена выступила у него на губах. Евреи снова согнулись, готовые вновь пасть ниц и молить о пощаде. С ужасом переглядываясь, члены общины делали друг другу знаки. Раввин поднял с земли свою ермолку и, не отряхнув, напялил на

голову. Старуха, уронившая чепец, вновь надела его, хотя и набекрень. Холопы снова принялись трясти Гершона, то и дело приподнимая его за ворот, словно собираясь вытряхнуть из одежды. Служка все еще стоял с Торой в руках, раскачиваясь на немощных ногах. Всем стало ясно, что так просто не обойдется. Некоторые попытались заблаговременно улизнуть. Кто пошел прятаться, кто — запирать двери, закрывать лавку. Заметив, что евреи расходятся, помещик раскричался:

— Не разбегайтесь, еврейчики! Не убежать вам от меня! Я вас передую, где бы вы ни были!... Я вас так проучу, что вы проклянете тот день, когда ваши вшивые матери выдавили вас из своего чрева!...

— Мы не разбегаемся, светлейший!... — Мы не убегаем, благороднейший!...

— Тебя спрашивают, так отвечай! — заревел помещик на Якова.

К этому времени Яков уже не помнил, о чем его спрашивали. Пилецкий протянул руку, чтобы ухватить его за лацкан. Но Яков оказался слишком высок. Он лишь покорно склонил голову.

— Да простит меня ясновельможный пан, но я не помню, на что мне надо ответить.

Сам помещик, видно, тоже забыл. Он смотрел на Якова в замешательстве. Тут он обратил внимание, что этот еврей хорошо говорит по-польски, не искажает слова, как другие. У него вдруг пропала злоба и он ощутил нечто вроде стыда за сцену, которую только что разыграл перед этими жалкими, уцелевшими после расправы Хмельницкого, людьми. Аж слезы навернулись ему на глаза. Ведь он, Пилецкий, считал себя сердобольным и часто в уме сочинял молитвы, обращенные к Иисусу и апостолам. Смолоду он боялся, что долго не проживет. Какая-то старая гадалка предсказала ему раннюю смерть...

Пилецкий стал искать способа, как бы ему покончить с этой чертовщиной. На мгновение он прислушался к суматохе, творившейся внутри него. Он был теперь в равной мере способен и снова рассвирепеть, и просить прощения у этого Богом избранного, непокор-

ного народа. Он почувствовал горечь во рту и щекотание в носу. Все это потому, что моя жизнь с вывихом, — как бы оправдывался он сам перед собой. — Эта женщина превратила меня в развалину. Ему в голову пришла неожиданная идея: расшвырять деньги среди этой толпы. Пусть видят, что он вовсе не такой уж Аман... Пилицкий схватился за кошелек, но вспомнил, что он пуст. От этого ему сделалось еще обиднее. Его охватила жалость к себе: "Вот до чего меня довели! В конце концов меня окончательно ограбят..." Пилицкий взглянул на старика с Торой и воскликнул:

— Зачем вы Тору вытащили из синагоги? Чем она вам поможет? Лучше соблюдайте то, что в ней написано, чем заслонять ею ваше мошенничество... Неси Тору назад, старый бездельник!

— Унесите Тору! Унесите Тору! — раздалось со всех сторон. Евреи уже почувяли, что помещик смягчился. Служка в последний раз качнулся и исчез в дверях синагоги. Опасность как будто миновала, но холопы все еще держали Герсона, и барин мог в любую минуту снова впасть в ярость. в его взгляде была горечь. Казалось, глаза его ищут новую жертву.

Вдруг откуда-то прибежала жена Якова, немая Сарра. Над своим набрякшим животом она держала поднятый фартук, полный щавельевых листьев. Сарра собирала на лужайке щавель. Она не слышала как прискакал помещик, пропустила все это происшествие. И вот в одно мгновение она увидела карету, холопов, помещика и Якова, покорно стоящего с опущенной головой и с шапкой в руке. Она решила, что произошло то страшное и непоправимое, чего она все время боялась и, что преследовало ее по ночам в кошмарах. Якову хотят причинить зло... Из ее горла гырвался истошный крик. Она взмахнула руками и рассыпала свой щавель. Ее охватил ужас, подобный безумию. Она мигом прорвалась сквозь толпу, оттолкнула Якова и, бросившись к ногам помещика, разразилась такими рыданиями, что Пилицкий побледнел и стал пятиться назад. Сарра, лежа, подалась вперед и молниеносно схватив помещика за ноги, стала причитать:

— Смилоствися, барин! Господин мой! Он — все мое богатство! Я ношу его дитя в своем чреве... Лучше убей меня! Мою голову — за голову его!... Отпусти его, отпусти!...

— Кто она такая? Встань!...

— Прости его, барин, прости его! Он ни в чем не виноват! Он честный, он ясен как Божий день! Он святой человек! Святой человек!...

Яков нагнулся было, чтобы поднять ее, но руки у него отнялись. Только сейчас до него дошло, что Сарра выдала их тайну. Немая заговорила. Собравшиеся, в замешательстве, не сразу поняли, что произошло. Все словно оцепенели. Мужчины простерли руки, вскинули брови. Женщины схватившись за головы, водили вытаращенными глазами. Холопы отпустили на мгновение Гершона. Даже лошади, запряженные в карету, до сих пор стоявшие смиренно, занятые своими, далекими от людей с их дрязгами, лошадиными мыслями, повернули головы с внезапным любопытством, вызываемым иногда у животных поступками людей... Гершон также в изумлении развел руками с оттенком досады, которую испытывает деспотическая натура, когда что-либо происходит независимо от него. Раввин принялся покачиваться, потирая руки одну о другую. Одна из женщин шлепнула себя по щекам.

— Люди добрые, не могу!...

— Это немая, ясновельможный пан!...

— Немая?!...

— Благороднейший пан, она нема как рыба! Нема и глуха!...

— Да, да, глуха, глуха! — неслоь со всех сторон.

— Эй ты, раввин, ты ее знаешь за немую? — обратился Пилицкий к раввину.

— Да, ясновельможный пан. Она жена меламеда, она немая. Глухонемая. Это какое-то чудо. Настоящее чудо!...

— Ой, мамочки мои!...

— Дети, мне плохо!

И одна из женщин упала в обморок.

— Помогите ей, воды! Воды!

— Горе мне!

И еще одна лишилась чувств.

Яков наклонился и помог Сарре встать. Тело ее было бессильно. Руки и ноги не слушались. Яков кое-как поставил ее, взял, обхватив рукой подмышки. Ее голова упала ему на грудь. Она не то всхлипывала, не то икала и дрожала мелкой дрожью. Она уткнула лицо в плечо Якова, и плечо его сделалось теплым и мокрым. Помещик оперся на рукоять своей шпаги.

— Это вы что же, еврейчики, представление мне здесь устраиваете?...

— Какое там представление, ясновельможный! Она до сих пор была нема и глуха...

— Да, да, мы все знаем, что она немая! — раздались голоса.

— И вы готовы поклясться?

— Еще бы, светлейший! Не станем же мы все врать!

— Послушай, ты, Яков, твоя жена немая?

Яков медленно поднял голову.

— Да, немая.

— Всегда?

— С тех пор как я на ней женился.

При этом Яков сознавал, что не лжет. Она перестала разговаривать сразу после того, как они обвенчались. Тут все женщины разом закричали, свидетельствуя в том, что Сарра действительно немая. Некоторые клялись своими мужьями, детьми, собственной жизнью. Холопы разинули рты. Пилицкий колебался.

— Не верю, еврейчики, не верю! Это один из ваших хитрых фокусов. Вы хотите меня провести, сделать из меня дурачка... Помните, еврейчики, если окажется, что вы врете, я сдеру с вас шкуру живьем! Я всех вас загоню в вашу божницу и подожгу ее! Там вы понемногу испечетесь. Не будь мое имя Пилицкий!

— Любезнейший пан, это чистая правда!...

6.

Хотя Пилицкий утверждал, что не верит евреям, ему было ясно, что на этот раз они говорят правду. Он это видел по их лицам, по изумленным взглядам.

Произошло чудо, великое чудо!... С тех пор, как в Польше начались войны, вторжения, Адам Пилицкий ждал чуда. Только чудо могло спасти Польшу. Сопротивление Ходецкого в осажденном ченстоховском храме и поход генерала Стефана Чарнецкого против шведов — все это были чудеса, которые возродили Польшу, обновили веру в католицизм. Повсюду рассказывали удивительные случаи. Изображение мадонны плакало стекавшими в чашу настоящими слезами. Крест в одной церкви светился среди темной ночи. Давно павшие армии, в мундирах, которые уже не носили сто лет, сражались с врагами Польши и выбивали их из укрепленных позиций. Призрачные всадники скакали на призрачных конях. Польские воины, кости которых уже давно истлели, снова появлялись в авангарде на поле боя, в броне и в шлемах, с мечем и копьем. Монахи и монахини, души которых нивесть сколько времени отдыхали в раю, вновь обретали телесный облик и утешали народ, призывая к молитвам.

Тут колокол на колокольне сам по себе начинал звонить, там промелькнула допотопная карета и исчезла, словно ее поглотила земля. То птица вдруг заговаривала человеческим языком, то объявлялась собака и выводила из западни батальон польских солдат. В одной деревне пошел красный, как кровь, дождь, в другой — выпал град из рыб и жаб. Был случай, когда священник в какой-то церкви остался без вина, необходимого для святой вечери, и тогда статуя, изображавшая Богородицу, отверзла уста, и из них потекло вино. В небе то и дело возникали разные видения. Огненные силуэты размахивали огненными копьями. Полуслепая старуха увидела в небе огненный корабль с огненным войском, а над кораблем развевалось знамя с польским гербом. Все эти знамения бодрили дух и укрепляли веру.

Адам Пилицкий досадовал, что ему ни разу не привелось присутствовать при чуде. У дьявола имеются тысячи способов поставить под сомнение Божьи чудеса. Не раз, когда Пилицкий лежал ночью без сна и думал о положении страны, ему нашептывал Люцифер: "все рассказывают чудеса — и христиане, и

даже неверующие турки. Но как понять то, что Бог дает богохульствующим протестантам силы, чтобы вести войны и одерживать победы? Почему он не насылает на них разные напасти как на фараона? Почему он не бросает на них камни с неба, как на Гога и Магога?“ Бунт мужиков Пилицкого и наказание, которому он их подверг еще больше удручило его. Плакались вдовы и сироты. По ночам его преследовали повешенные с высунутыми языками, вытаращенными глазами и посиневшими ногами. Он стал страдать закупоркой сосудов и экземой, появились боли в голове и желудке. Были дни, когда Пилицкий звал смерть и даже хотел наложить на себя руки. Опьянение ему уже тоже не помогало. Плотские удовольствия перестали доставлять наслаждение. Он нуждался все в новых и новых возбудителях. Без них он делался немощным. Тереза, эта оголтелая ведьма, довела его до того, что ее измена будила в нем похоть. Она должна была рассказывать ему со всеми подробностями о всех своих похождениях. Когда ей больше не оставалось, что прибавить, он заставлял ее выдумывать дикие любовные авантюры. Муж и жена загнали себя в сети преступлений и безумия. Он подсовывал ей любовников, а она ему — любовниц. Она приходила смотреть, как он бесчестит крестьянских девушек, а он подслушивал ее воркотню с любовниками. Не раз он грозил заколоть ее своей шпагой, а она говорила, что подмешает отраву в его пищу. При этом оба были набожны, ставили свечи святым, бегали к священнику исповедоваться, жертвовали деньги на церкви и религиозные дела. В замке была своя часовня, и не раз, когда Адам днем отворял ее дверь, он находил там Терезу коленапреклоненной, с сомкнутыми веками, со слезами на щеках. Губы ее шептали молитву, а к груди она прижимала распятие. Тереза собиралась даже запереться в монастырь, стать монахиней. А Пилицкий мечтал облачиться когда-нибудь в коричневое платье монаха, подпоясанное веревкой...

Нет, то, через что он, Пилицкий, прошел за последние годы, невозможно себе представить. Никто не мог бы этого понять. Лишь один Господь Бог, кото-

рый знает человека со всеми его глупостями и слабостями, терзаниями и спотыканиями и который полн милосердия и прощения, знал, как Пилицкий страдал и как кровоточит его опозоренное сердце. Ничего он так не жаждал, как знака сверху, подтверждения, что есть всевидящее Око, и что он, Адам Пилицкий, не блуждает без дороги в мире, где все есть лишь слепой случай. И вот теперь, как видно, в небесах решили покончить с его сомнениями...

Пилицкий бросил взгляд на Якова и на прильнувшую к нему жену. Он еще раз оглядел евреев, как они в оцепенении усталились на эту пару и друг на друга. Это правда, они не обманывают! — закричало внутри него. Он ощутил ком в горле и еле удержался, чтобы не зарыдать. Тут он вспомнил, что немая называла Якова святым человеком, и произнес твердым голосом;

— Прости меня, Яков, я не хотел тебя обидеть, если ты вправду святой человек, как сказала немая. Я должен уважать тебя, даже если ты еврей.

— Я не святой человек, ясновельможный пан, а человек обыкновенный, еврей, как все евреи и, возможно, хуже других...

— Гм... Святые всегда скромны. Эй, холопы, отпустите этого жулика Гершона. Я с ним рассчитаюсь как-нибудь в другой раз. Ты больше у меня не арендатор! — обратился Пилицкий к Гершону. — Не смей больше появляться на моем дворе и не попадайся мне на глаза. Если ты ступишь на мою землю, я натравлю на тебя собак и они разорвут тебя в клочья.

— Мне причитаются деньги с Его светлости! — четко выговорил Гершон с видом человека, который не боится ни повелителей, ни их угроз. — Я за аренду заплатил. У меня есть контракт и вексель...

— Что? Ничего у тебя нет, еврей! Можешь взять свой контракт вместе с векселем и потереться ими!

— Так не годится, пан. Слово надо сдержать. Есть в Польше суд...

— Вот как? Ты меня призовешь к суду, да?... Ты рехнулся, еврей! Да, рехнулся! Если бы сейчас не произошло то, что произошло, я повесил бы тебя тут

же на месте, и птицы жрали бы мясо с твоей башки, как сказано в Библии. Ты шельма, ты bestия, ты черт знает что! До меня дошло, что ты обираешь своих же братьев. Я все это еще расследую, и ты получишь заслуженное наказание. А что касается суда, так знай, что я никого не боюсь. Я и есть суд. Помещик на своей земле подобен воеводе. Польша тебе не Франция, где вся власть у короля, который тиранит свое дворянство. Здесь у нас больше власти нежели у короля, Мы его посадили, и мы же можем его в любое время сбросить. Вбей себе это в башку, еврей, раньше, чем она будет валяться отрубленная у твоих ног!...

— Я заплатил за аренду.

— То, что ты заплатил, ты давным давно уже извлек, и больше у нас с тобой никаких счетов нет. Убирайся, покуда кости целы!...

Среди евреев поднялся ропот. Родные Гершона и друзья его стали нашептывать ему, чтобы он уходил. Некоторые тянули его даже за рукав. Жена и дочери умоляли пойти с ними домой. Но Гершон отрицательно качал головой. Он сморщил нос и опустил нижнюю толстую губу. При всей беспомощности еврея перед помещиком, он все же не намеревался дать себя ограбить. У Гершона имелись связи с помещиками повыше Пилицкого. Они были богаче его и имели большую власть. Ему было известно о всех махинациях Пилицкого, о том, что тот на каждом шагу нарушал законы государства и церкви. Пилицкий был опутан судебными процессами, которые ему предстояло проиграть и таким образом потерять большую часть своего богатства. Несмотря на то, что положение еврея в Польше было очень низким, помещики все же не позволяли себе вот так, за здорово живешь, нарушать контракты, отменять векселя. У шляхты остался то, что называется гонором... Гершон приблизился на шаг.

— Покамест, ясновельможный пан, арендатором являюсь я.

— Покамест ты дохлая собака!...

Адам Пилицкий побагровел. Он выхватил из ножен шпагу и ринулся к Гершону. Евреи снова подняли крик и плач...

Глава девятая

1.

Яков знал правду. Он больше не распоряжается собой. Сатана играет, а он, Яков, пляшет. Золотые слова сказаны в "Пиркей авот": один грех тянет за собой другой. За то, что Яков возжелал запрещенную ему женщину, ему пришлось обмануть целый город евреев, выдав свою жену за немую. И не только один город, а несколько еврейских общин. Теперь женщины, несущие на сердце горе, приходили к Сарре (которая была уже на восьмом месяце), чтобы она возложила руки им на голову и благословила их. Община в Пилице настояла на том, чтобы Яков перенял аренду, которую потерял Гершон. Пилицкий угрожал, что если Яков не станет его арендатором, он привезет кого-нибудь из другого города. Более того, если Яков не согласится, он выгонит всех евреев. Дошло до того, что хозяева города во главе с раввином пришли упрашивать Якова. Даже Гершон дал молчаливое согласие на то, чтобы Яков пока управлял помещьем. У него был свой расчет. Яков, этот меламед, наверное не отличает рожь от пшеницы. Он натворит помещику бед и тот увидит, что без Герсона не обойтись...

У всех этих событий была своя последовательность. Но построено все было на лжи. Горе тому зданию, у которого фальшивый фундамент! Что же ему делать? Если он расскажет правду, его и Сарру сожгут на костре. Как бы правда ни была свята, нельзя ради нее жертвовать собой. Еврейский закон считает, что жизнь человеческая важнее.

По ночам, когда сон не шел к Якову, он взывал к Всевышнему: — Я знаю, что потерял рай. Но Ты Бог, и я — Твое создание. Накажи меня, Отец, я все безропотно принимаю.

Возмездие могло нагрянуть каждый день. Известно, что женщины во время родов всегда кричат и

взывают о помощи. И вообще невозможно же без конца всех морочить. Раньше или позже правда должна всплыть на поверхность.

Пока Яков был вынужден делать свое дело. Бог благословил поля, послав урожай. В нынешнем году не было ни шведских, ни польских солдат, вытаптывающих посева. Поскольку Яков взял в аренду землю, ему приходилось стараться, чтобы помещик был в барыше. Ясно было, что из того, что останется, Якову придется потихоньку выплачивать Гершону. Пилицкий с Яковым даже контракта не заключил. Яков был просто посредником — между мужиками и помещиком, и между помещиком и торговцами хлебными злаками. Для себя он пока имел только на кусок хлеба.

Трудно было поверить, что снова находишься среди полей и лесов. Гершон построил дом недалеко от помещичьего замка, и теперь Яков жил в нем вместе с Саррой. Дом, который Яков начал было строить для себя и под занятия в хедере, остался незаконченным. Община собиралась привезти другого меламеда. Шутники острили — раз Яков стал арендатором, Гершон должен стать меламедом.

Яков всегда помнил, что все на свете непостоянно. Ведь что такое, в сущности, человек? Сегодня он жив, а завтра лежит в гробу. Талмуд сравнивает жизнь со свадьбой. Поплясали, и хватит. Сегодняшний день тотчас же превращается во вчерашний. Поэт справедливо сравнивает человека с проносящимся облаком, с цветком, который увядает, со сновидением, которое исчезает. Но никогда еще Яков не постигал с такой силой этого непостоянства. Вот поле все в колосьях, а вот оно уже голое и покинутое. Вот дни светлые, ясные, но не успеешь оглянуться, как начнутся дожди, а потом выпадет снег. Вот Яков уважаемый в Пилице человек, признанный помещиком, мужики снимают перед ним шапку и величают паном Джеджичем, евреи считают его чудотворцем. Но вот его разорвут в клочья, потащат на виселицу...

А куда что, Яков наблюдал, чтобы жали и молотили как полагается, чтобы ссыпали зерно в

амбары, чтобы вязали снопы и металы стога. Вскоре после жатвы надо начинать готовиться к вспашке полей для засева их озимью. Якову пригодились пять лет, прожитые в деревне. Теперь, когда он вечером ложился с Саррой спать, они говорили не только о божественных вещах, но и о хозяйстве. Несмотря на то, что Гершон не вел записей, Якову понемногу открывалось его мошенничество. Помещик грабил мужиков, а Гершон помещика. Получалось, что вор у вора крадет, и потому это не подлежит наказанию. Но все равно заповедь "Не кради" нарушалась, что являлось позором для евреев. Кроме того, это усиливало юдофобство.

Якову, конечно, повезло. Но при этом он знал, что взлет его — это взлет перед падением. Те же мужики, которые бунтовали против Герсона, делая ему всякие пакости, прислушивались к Якову и давали советы. Приближенные Пилицкого, от близких родственников до последнего слуги, смотрели на него с уважением. Даже псы, готовые разорвать человека на куски, которых Гершон до последнего дня боялся, каким-то чудом заключили с Яковом мир и виляли хвостами, когда он приближался к воротам. Зная, что Сарра нема и на последних месяцах, помещик послал ей для обслуживания человека. Якова необычайно приблизили ко двору. Помещик беседовал с ним, как с равным, снова и снова удивляясь его хорошему знанию польского языка. В свое время, когда Пилицкий спрашивал у Герсона о евреях и еврейских обычаях, тот не знал, что ответить. Даже помещик догадывался о его невежестве. Яков же на все давал исчерпывающие ответы. Он привык сложные вопросы излагать ясным языком, приводя при этом примеры, доступные каждому. А Пилицкого часто интересовали те же вопросы, что и Сарру.

Однажды, когда помещик сидел с Яковом в библиотеке и показывал ему в Талмуде латинскую конкорданцию, где в примечаниях на полях встречались древнееврейские слова, растворилась дверь и вошла помещица. Яков поднялся со стула и низко поклонился. Помещица была невелика ростом, полновата,

с круглым лицом, короткой шеей и высокой грудью. Золотисто-желтые волосы ее были зачесаны кверху и закручены наподобие новогоднего калача. Черное шелковое платье в складку было со шлейфом. На грудь свисал золотой крест, усыпанный драгоценными камнями. На коротких пальцах сверкали перстни. Несмотря на жирное тело, выглядела она молодо, была курноса, с полными губами, гладким лбом, темными блестящими глазами. Яков слышал, что она очень развратна, но у нее не исчезла девическая свежесть. Она улыбнулась, и на щеках ее появились ямочки. Пилицкий как будто подмигнул ей.

— Это Яков...

— Знаю, я много раз вас видела из окна.

И помещица протянула ему руку. Яков на мгновение заколебался, зная, что ему полагается сделать. Он низко поклонился и поднес ее пальцы к своим губам, покраснев при этом от каштановой бороды и до корней волос на голове. Все равно я уже опустил-ся до преисподней, оправдывался он перед собой. Помещик усмехнулся.

— Коли так, не выпьете ли с нами бокал вина?

— Нет, ясновельможный пан, это запрещает моя религия...

Адам Пилицкий сразу рассердился.

— Запрещает, вот как! Воровать у христиан — это можно, а пить с ними вино — это запрещается. А кто это запретил? Талмуд, который велит обманывать христиан?

— Талмуд говорит не о христианах, а о язычниках.

— О язычниках? Для Талмуда все мы язычники. Вы дали миру Библию, но тут же свернули с Господнего пути и не признали Божьего сына. Поэтому на вас ниспосланы все беды. Сегодня карает вас гетман Хмельницкий, а завтра придет другой гетман. Вы никогда не обретете покоя, покуда не познаете истины и...

Панна Пилицка поморщилась.

— Адам, эти дискуссии бессмысленны.

— Надо же мне когда-нибудь сказать им правду.

Этот еврей Гершон жулик и в придачу осел. Он ничего не знает, даже собственной Библии. Яков кажется мне человеком честным и понятливым. Поэтому я хочу задать ему несколько вопросов.

— Не теперь, Адам, он занят хозяйством.

— Хозяйство не убежит. Садись, еврей, и не бойся. Мы тебе не сделаем ничего худого. Сядь сюда. Вот так. Ни я, ни панна не собираемся обращать кого бы то ни было в нашу веру. Разве заставишь верить? У нас в Польше нет инквизиции, как в Испании. Польша свободная страна. Даже слишком свободная, потому мы и идем ко дну. Но это не твоя вина. Я хочу спросить вот о чем. Уже столько столетий, больше тысячи лет — что я говорю! — больше полутора тысяч лет вы надеетесь на своего мессию. Но он не является. Он не является потому, что он уже явился и провозгласил перед всеми народами истину Божию. Но вы упрямы. Вы отделяетесь от всех. Наше мясо для вас тrefное. Наши вина вам за́прещены. С нашими дочерьми вам нельзя сходитьсь. Вы вбили себе в голову, что Бог избрал вас. Но для чего Он вас избрал? Чтобы вы жили в темном гетто и носили желтые звезды? Я бывал за границей и видел, как там живут евреи... Правда, они богаты. Потому что ваши головы только и думают о прибыли. Но ненавидят вас, как пауков. Так почему же вы не задумаетесь над своим положением и не попытаетесь пересмотреть вашу веру и Талмуд? А вдруг все же христиане правы? Ведь в небо никто из вас не вознесся...

— Ей богу, эти теологические споры не имеют смысла! — воскликнула Тереза.

— Почему бы нет? Люди должны поговорить... Я говорю с ним без гнева, как равный с равным. Если он меня сможет убедить, что евреи правы, я стану евреем.

И помещик усмехнулся.

— Не могу я никого убеждать, Ваша милость, — стал отнекиваться Яков, — я перенял веру от моих родителей и придерживаюсь... по мере сил...

— У язычников тоже были родители, и учили

их, что камень — это бог. Но вы, евреи, велели разрушить их храмы и уничтожить их и детей их. Об этом есть в вашем писании. Не значит ли это, что не надо считаться с тем, что перенято от родителей?

— Библия священна также у христиан.

— Несомненно. Но ведь должна быть какая-то логика. Все народы, кроме вас и проклятых турок, приняли христианскую веру. А вы, евреи, считаете себя умнее всех на свете. Но раз Бог вас так уж любит, почему он вас в каждом поколении казнит? Почему он допускает, чтобы бесчестили ваших жен и живьем закапывали детей?

Яков поморщился, словно с трудом проглотил что-то.

— Это часто делают христиане...

— Неужто? Казаки такие же христиане, как я персиянин. Настоящие христиане это католики и больше никто. А православные такие же идолопоклонники, как и турки, с которыми они ведут дела. Протестанты и того хуже. Но это все не имеет ничего общего с вопросом, который я тебе задал.

— Нам неизвестны пути Господни, Ваша милость. Католики тоже страдают. И даже воюют между собой.

И Яков осекся.

Адам Пилицкий на мгновение задумался.

— Мы, конечно, страдаем. Человек рожден для того, чтобы страдать. Так сказано в Библии. Но наши страдания имеют смысл. Души наши очищаются и возносятся потом в небо. А у неверующих настоящие страдания начинаются лишь после смерти.

Тереза мотнула головой.

— Ей богу, Адам, эти споры бесцельны. Никому не дано знать истину. Это вопрос сердца, а не ума.

И она показала рукой на грудь.

— Да, это правда, Ваша светлость, — заметил Яков.

— Допустим, что так. Но все же, что преследует эта еврейская косность? Вы служите Богу ложной верой. Ваши моленные дома всегда полны молящимися. Я был в Люблине и проходил мимо ваших си-

нагог. Оттуда доносилось пение, словно оно исходило из тысячи уст. Неистовое пение. А несколькими годами позже там погибло десять тысяч евреев. Я говорил с помещиком, который при этом присутствовал. Евреи затоптали друг друга, затоптанных было больше чем убитых. При этом небо оставалось голубым, солнце сияло и Бог, в честь которого вы так кричите и поете и считаете себя его любимыми чадами, все это видел и не ниспослал никакой помощи. Как ты можешь смириться с этим, еврей? Как ты можешь спать по ночам, когда вспоминаешь все эти беды?

— Устаешь, Ваша милость, и веки смыкаются сами собой.

— Я вижу, что ты избегаешь ответа.

— Он прав, Адам, он прав. Что он может ответить? И, что можем мы ответить на беды, сыплющиеся на нас? Спрашивать — это уже святотатство. Ты это прекрасно знаешь...

Пилицкий как-то странно сдвинул глаза, устремив взор куда-то в сторону.

— Ничего не знаю, Тереза, ничего уже не знаю. Порой мне кажется, что правда на стороне эпикурейцев или циников. Слышал ли ты, Яков, о Лукреции?

— Нет, Ваша милость.

— Был такой Лукреций, который говорил, что все на свете — одна случайность. Иногда я почитываю его сочинения, хотя церковь их запрещает. Лукреций не верил ни в Бога ни в идолов. Он считал, что все есть игра слепых сил.

— Не следует тебе повторять этой ереси, — отозвалась Тереза.

— Возможно, он прав?

— Как ты можешь, Адам!...

— Пойду, прилягу. Это верно, Яков, вски смыкаются сами собой. Тереза, ты, кажется, хотела еще о чем-то поговорить с Яковом?

— Да, мне с ним надо поговорить.

— Ну, еврей, до свиданья. И не бойся. Так в самом деле, жена твоя немая?

— Да, немая.

- Значит, у вас тоже случаются чудеса?
— Да, ясновельможный.
— Ну, пойду вздремну.

2.

Помещик вышел. Прежде чем удалиться, он оглянулся. Яков низко поклонился. Помещица стала обмахиваться веером из павлиньих перьев.

— Садитесь. Вот так. Что пользы от этих разговоров? Надо верить, что Бог справедливо управляет миром. Все мы прошли сквозь испытания. Когда здесь хозяйничали шведы, меня высекли на моем собственном дворе. Я думала, пришел мне конец. Но всемогущий Бог хотел, чтобы я еще пожила.

Яков побледнел.

— Высекли? Вашу милость?

— Да, для розги, милый мой Яков, нет ни милости, ни даже королевского величества. Открывают, прошу прощения, что положено открыть, и розга сечет. Ей все равно, кого она сечет. А офицеров, которые там стояли и глазели, мое благородное происхождение лишь забавляло.

— Но почему, милостивая панна, они это сделали?

— Потому что я не хотела отдаться их генералу. Мой муж удрал, и они решили, что меня можно легко получить. Был бы генерал молодым, красивым, здоровым — изменила она тон — возможно, я бы не устояла перед искушением. Как это говорится? — На войне и в любви все дозволено... Но он был стар и уродлив, как обезьяна. Я посмотрела на него и сказала: "Ваше превосходительство, лучше уж умереть...".

— Я думал, так себя ведут только москали и казаки.

Помещица улыбнулась.

— А чем шведы лучше? Они что ангелы? В сущности, все мужчины одинаковы. Скажу вам правду, Яков, я их не виню. Для мужчины женщина — это создание, которое должно его обслуживать и удовлетворять. Мужчина словно ребенок. Он хочет груди, и ему безразлично, чья это грудь — прислуги или принцессы...

Говоря это, помещица улыбнулась не то заискивающе, не то лукаво. Она посмотрела Якову прямо в глаза и даже чуть подмигнула. Якову стало жарко в затылке.

— Для этого у мужчины есть жена.

— Жена?!. Во время войны у него нет жены. Это во-первых. Во-вторых, собственная жена приедается. Я заказываю себе самое дорогое платье, но надев его раза три, я не хочу на него больше смотреть и отдаю его одной из кузин моего мужа. Как для нас платье, так для мужчин женщина. Поскольку она уже твоя, и ты можешь придти к ней в постель, когда тебе вздумается, в этом уже нет соблазна, и потому желаешь новую. Я не должна вам об этом рассказывать. Вы сами мужчина и к тому же представительный, красивый, с голубыми глазами.

Якову хлынула кровь в лицо.

— У нас, евреев, не так.

Помещица нетерпеливо махнула веером.

— Что не так? Мужчина остается мужчиной. Нет разницы, еврей он или татарин. У вас ведь мужчина мог иметь несколько жен. Все ваши большие люди держали целые гаремы.

— Теперь это запрещено.

— Кто запретил?

— Это называется запретом раввина Гершона.

— У нас еще больше запретов, но человеческая природа сильнее всех запретов. Я не виню мужчину за чувство вожделения и даже не презираю женщину, которая нарушает закон. Я считаю, что все идет от Бога, даже вожделение. Не каждый имеет волю, которая есть у святых, чтобы обуздать брожение крови. Даже со святыми случалось, что они не могли побороть искушения. И чем Богу плохо, если человек получает удовольствие от жизни? Среди христиан есть мнение, что когда все остается втайне, и имя Божие не оскверняется, грех не так уж страшен. Муж мой несколько лет жил в Италии, где каждая женщина имеет мужа и любовника, который называется "амико". Если женщина идет в театр, она берет с собой мужа и амико. Муж ее, конечно, тоже чей-ни-

будь амиго. А у амиго есть жена. Не забудьте, что это происходит в Риме, под боком у Ватикана. Нередко роль амиго играет кардинал или другое духовное лицо. Папа знает обо всем и не был бы столь терпим, если бы это было таким уж преступлением перед Богом.

Яков чуть подумал.

— У евреев такого быть не может. Даже смотреть нельзя на чужую жену.

— Но ведь смотрят, мой милый Яков. Смотрят и испытывают желание. Если мужчина скажет мне, что желает лишь свою жену, я назову его кретином... Я хочу вас кое о чем спросить.

— Слушаю, Ваша милость.

— Откуда вы родом? Как вы попали в наши края? Возможно, мне не следует интересоваться подобными вещами, но есть причина, почему я спрашиваю. Как получилось, что вы женились на немой? Мужчина с вашей внешностью — редкость у евреев. Кроме того у вас хорошие манеры, вы знаете польский язык, и несомненно могли взять в жены самую красивую еврейскую девушку.

— Она у меня вторая. Яков кивнул.

— Что же случилось с первой?

— Ее погубили гайдамаки. Ее и детей.

— В каком городе?

— Я из Замосца.

— Это грустно. Что они хотят от женщин и детей?... А откуда родом ваша теперешняя жена?

— Из тех же краев.

— Почему вы избрали именно ее? Были ведь, конечно, в вашем городе и другие женщины?

— Мало кто остался. Большинство было уничтожено.

— Она вам, по-видимому, приглянулась? Что ж, она красивая. Этого у нее не отнимешь.

— Да.

Помещица выждала минутку. Веер покоился на ее груди.

— Я буду с вами откровенна, Яков. У вас есть среди евреев враги, и некоторые из них распростра-

няют слухи, что жена ваша не немая, а притворяется. Когда муж мой это услышал, он был вне себя от гнева и хотел испытать вашу жену. Он собирался выстрелить у нее за спиной из пистолета и посмотреть, что будет. Но я его отговорила. Я сказала ему, что таких фокусов с беременной женщиной не устраивают. Муж меня слушается. Он делает все, о чем я его прошу. И в этом смысле он необыкновенно хороший муж. Вы сами понимаете, что если история с чудом — ложь, это может вызвать скверные последствия также и для остальных евреев. У священников в этих краях свои счета и интересы. Особенно у иезуитов. Я хочу поэтому, чтобы вы знали, что в моем лице вы имеете близкого друга, и что вы можете мне доверять. Не будьте со мной так скрыты и застенчивы. Ведь, в конце концов все мы под платьем сотканы из плоти и крови. Я буду вам защитой, Яков. Сердце мое говорит мне, что вы нуждаетесь в ней..

Яков медленно поднял голову.

— Кто же распространяет такие слухи?

— О, у людей есть языки. Этот самый Гершон — хитрая бестия, и он занимается подстрекательством даже против моего мужа. Он плохо кончит. Но до тех пор может навредить....

3.

Слова помещицы пробудили в Якове такой же страх, как в то утро в деревне, когда его пришел звать холоп Загаека. Но тогда он боялся за свою собственную жизнь. Теперь же и Сарра была в опасности. Уже собираются стрелять из пистолета за ее спиной... Я в западне! — говорил себе Яков. — Убежать? Но не раньше, чем она родит... И как бежать с новорожденным? Дело к зиме..

Он не знал как быть. Признаться помещице, что Сарра притворяется немой? Отрицать? Он не мог решиться ни на что и безмолвно сидел с растерянностью человека, которого только что оглушили. Помимо того он испытывал перед помещицей что-то вроде неловкости за свою мужскую робость. Пиличка сверлила его опытным неприязненным взором, ехидно улыбаясь.

— Вам не следует так уж пугаться, Яков. Как говорит пословица — великий гром и малый дождь. С вами ничего худого не произойдет.

— Надеюсь. Благодаря Вашей милости. Право уж и не знаю, как благодарить.

— После поблагодарите. Вы уже видели замок?

— Нет, только эти покои.

— Идемте, я вам покажу замок. Многое попортил неприятель, но кое-что из бывшего богатства уцелело. Порой мне кажется, что муж прав. Все гибнет... Словно в тысячном году или во времена черной оспы. Мужики говорят, показалась комета с длинным хвостом от края и до края неба...

— Когда? Я не видел.

— Я тоже, но муж мой видел. Это всегда предзнаменование — войны, эпидемии, наводнения. Турок точит меч, москали вдруг стали угрожать, пруссаки же всегда не прочь пограбить. А раз так, надо жить пока живется. Завтра, возможно, будет уже поздно.

— Когда находишься в постоянном страхе, жизнь не идет впрок.

— А иногда наоборот. Во всех этих войнах и нашествиях моя жизнь не раз подвергалась опасности, и я научилась быть спокойной, когда другие трепещут, и смеяться, когда хочется плакать. Я ложусь в постель, велю горничной задернуть гардины и говорю себе, что мне осталось жить еще один час. Вы когда-нибудь пили в постели?

— Как это? Когда болеешь?

— Нет, в полном здравии. Спальня моего мужа на другом конце коридора, и я могу полностью отделаться. Горничная приносит мне вино, и я пью, облокотившись на подушки. Я люблю мед, хотя это считается мужицким напитком. За границей мед называют славянским нектаром. Мужчины любят напиваться допьяна, а я блаженствую, когда бываю слегка лишь под хмелем. Достаточно, чтобы мозг словно заволокло туманом. Тогда у меня нет больше никаких забот, а порой — и никакой ответственности, и я делаю лишь то, что доставляет мне удовольствие...

— Вот как.

— Пойдемте!

Помещица стала водить его по покоям. Яков не знал, на что ему раньше смотреть — на мебель, на ковры или на картины. То тут, то там со стен смотрели чучела оленьих голов, кабанов, множества птиц, казавшихся живыми. Одна зала была увешана всяким оружием: кинжалами, копьями, пистолетами, а также шлемами и латами. Помещица показывала портреты польских королей, разных близких и далеких родственников ее мужа. Все они были здесь развешаны, эти Казимиры, Владиславы, Ягелло, Стефан Баторий, красовались древние представители Радзивиллов — Чартористские, Замойские. Куда бы Яков ни кинул взор, он натыкался на шпаги, кресты, на обнаженных женщин, на изображение баталлий, дуэлей, охоты.

Яков прекрасно знал, что смотреть на все это — тоже грех. Здесь сам воздух был пропитан разбоем, идолопоклонством и развратом. Потом помещица отворила двери спальни. Там находился широкий альков и висело зеркало. Яков увидел свое отражение, как в глубокой воде, и не сразу узнал себя. Он был красный, без шапки, с всклокоченной головой и бородой, чуть ли не такой же, как эти дикие изображения в залах. Помещица сказала:

— Это дурной тон — показывать гостю спальню, но евреи ведь не считаются с этикетом. При дворе моего отца был еврей, и мы все его любили. Он был веселый и, когда у нас устраивали балы, изображал медведя и плясал, как настоящий медведь. У нас была даже специальная шкура, которую он надевал. Но пить он не хотел, плясал и веселил всех, оставаясь трезвым. Мой досточтимый отец говорил, что на такое способен только еврей...

— Он был вынужден.

— Он умел рифмовать, мешая польский с еврейским, а также с разными мужицкими словами. Среди евреев в местечке он считался ученым. Он выдал дочь за сына раввина, тот все время раскачивался над молитвенными книгами, а тесть содержал его.

— Что с ним стало потом?

— Со стариком? Грабители убили его...

Яков каким-то непостижимым образом предчувствовал этот ответ. Ему стало не по себе. Как бы почувствовав, что ее слова огорчили Якова, помещица продолжала:

— Ну, он свои годы прожил. Не все ли равно, как умереть? Одно несомненно — смерть неизбежна. Порой я не могу себе представить, что мир будет продолжать существовать без меня. Солнце будет светить, небо будет ясным, деревья в саду зацветут в свое время, а меня не будет. Мне кажется, это невозможно. Но вот я разговариваю с пожилыми людьми, и они рассказывают о разных событиях до моего рождения. Ведь и тогда цвели деревья, пели птицы, а меня на свете не было. Разве это не то же самое? А между тем, милый мой Яков, душа жаждет наслаждений. Особенно по ночам. Я лежу одна, вокруг мрак... Вы когда-нибудь видели вурдалака?

— Вурдалака? Нет, высокочтимая панна.

— И я нет. Но вурдалаки существуют. Бывает, я сама готова среди ночи вылезти на четвереньках и завывать...

— Но почему?

— О, просто так. Я могу еще ненароком прийти к вам, Яков, тогда берегитесь! Потому что я страшная волчица...

Вдруг помещица схватила Якова за руку и воскликнула:

— Я еще не так стара. Поцелуй меня!...

Яков окаменел.

— Нельзя мне, любезная панна, моя вера запрещает мне это. Приношу свои извинения...

— Нечего вам извиняться. Я дура, а вы сврей. В ваших жилах течет не кровь, а борщ!...

— Милостивая панна, я боюсь Бога.

— Так иди к нему!...

4.

Сентябрьский вечер был по-летнему теплым. Поля лежали сжатые. От земли подымалось испарение. Стрекотали кузнечики. Квакали лягушки. В небе по-

блескивал серп луны, а над ним — яркая звезда, светившая особенным, синевато-зеленым светом. Она мерцала из какого-то другого мира. Было ясно, что точка эта где-то светит необъятным небесным сиянием. Яков шел и все смотрел вверх. Здесь на земле он может считать себя конченным. Тиски все сжимались, со всех сторон подстерегали его опасности, чтобы погубить. Возможно, что он потерял уже и небесный рай. Но все же утешительно сознавать, что есть Бог, ангелы, серафимы, светлые миры. В местечке Якову приходилось избегать заглядывать в книги. Он не хотел, чтобы его считали образованным, опасался подозрений и преследований. Особенно надо было остерегаться каббалистических книг. Здесь же под открытым небом он мог каждую свободную минуту учиться без книг.

У него были Книга Бытия, Книга Разиэля и Зогар (Книга сияния). Он повсюду возил их с собой, как защиту от всякого зла и еще для того, чтобы подложить их Сарре под подушку, когда придет ей время рожать. Он их просматривал, разобраться в них пока было ему не под силу, но сами слова, буквы были для него святы. Когда глядишь на них, просветляется в мозгу. Даже чести быть грешным перед ликом стольких миров надо удостоиться. Яков помнил еще со времен, когда отдавался учению "Древа жизни" святого Ари, что раскаяние может превратить грехи в благодеяния, а закон в милость. Порой даже грех — путь к исправлению. Вот так он согрешил, возжелав Ванду, дочь Яна Бжика. Тогда он себя сравнивал с Зимри бен Салу. Но теперь она — Сарра, дочь Авраама и собирается родить еврейского ребенка, принести с Божьего престола еврейскую душу. То, что Яков не поддался искушению помещицы панны Пилицкой, он считал своей заслугой. Но уберечь ли его эта заслуга от западни, перед ним расставленной? Как суждено, так и будет...

Яков шагал дорожкой среди полей, и из-под его ног выпрыгивали разные созданыца. Одним суждено было быть растоптанными, другие успевали исчезнуть. Создатель вложил в каждую мушку, в каж-

дого комарика немало мудрости, но он не щадил их тельца. У кого только были ноги, тот топтал их. Они поедали друг друга. Все же Яков нигде, кроме своей собственной души, не находил и следа печали. Летняя ночь была полна радости, пения, шелеста. Теплые ветерки приносили ароматы злаков, садовых плодов, леса. Сама ночь была подобна каббалистической книге, полна загадочных знаков и величайших тайн. Земля и небо слились воедино. Где-то вдалеке трепетали зарницы. Но грома не было. Звезды были словно священные письмена. Над сжатыми полями вспыхивали огоньки. Все вокруг дышало, бормотало, перекликалось. Время от времени Яков улавливал шорох, словно кто-то невидимый нашептывал ему что-то на ухо. Он шел, окруженный силами — добрыми и злыми, милосердными и жестокими, каждая имела свое особое предназначение. Тут он улавливал вздох, а там смех. То его нога спотыкалась, и он уже готов был упасть, но тут же кто-то возвращал ему равновесие. Борьба происходила и в нем и вокруг него. Он снова и снова благодарил Бога за то, что ушел от помещицы незапятнанный, но он страшился ее гнева. Он тосковал по Сарре и хотел как можно скорее уже быть дома. Кто знает? Может быть, у нее начались родовые схватки? Правда, в доме есть служанка, и, в крайнем случае, можно позвать из села акушерку, но Яков хотел, чтобы ребенка приняла еврейка. Он не собирался оставаться здесь один в Дни всепрощения. Как только он немного освободится от дел в имении, он вернется в Пилицу — если его оставят в живых...

Не бойся! — сам себя успокаивал Яков. Он вспомнил, как когда-то меламед повторял с ним благословение Иакова: "...И Иегуда забился в уголок, он боялся, что ему напомнят грех с Тамар. Но Иаков молвил: Иегуда, не бойся, не дрожи и не трепещи... Будут восхвалять тебя братья твои, потому что от тебя произойдет царь Давид..."

Давно ли Яков ходил в хедер? Мелодия, с которой произносились эти слова, еще звучала в его ушах. Меламед погиб смертью мученика. Теперь он предстал пред взором Якова, словно изображение на

холсте, со всеми морщинками, черточками. Яков вспомнил также мальчишек из хедера, каждого со своими привычками и ужимками: Мойшеле, Копеле, Хаим-Верла, Товье-Меира... Где они все? Наверное, не осталось ни одного. Они уже постигли те тайны, которые Якову еще неизвестны. Каждый из них уже в другом мире.

Яков шел, а сбоку за ним бежала тень — не одна, а две тени: одна — плотная, другая — еле заметная. Но вот почва вдруг стала зыбкой. Ноги его увязли. Он испугался, что его засосет в этой топи. Он еле вырвался из нее, сделав большой круг. Луна расстилала перед ним сеть. Порой Якову казалось, что от него, шипя, уползает змея. Ночь была полна колдовства. Яков плохо еще знал дорогу. Он всегда немного плутал, когда возвращался из имения домой. Как из-под земли вынырнул замок и снова исчез. Но вот он появился с другой стороны. В одном из окон был свет, и Якову казалось, что он там видит силуэт помещицы...

Он пришел домой и, слава Богу, застал Сарру здоровой. Она стояла у печки и готовила на треноге ужин. Сосновые ветки пылали, пахло дымом, смолой, парным молоком. Живот у Сарры сильно выпирал, но лицо оставалось девичьим. Яков хотел заговорить с ней, но она сделала предостерегающий жест. У них были гости. Они сидели во дворе на стульях и чурбачках. Трое женщин и один мужчина. Они прослышали об этом чуде с вдруг заговорившей немой и прошли пешком много миль, чтобы Сарра их благословила...

Яков на мгновение спрятал лицо в ладони. Вот до чего довела ложь! Он, Яков, обманывает евреев. Люди из-за него скитаются по дорогам, тратят деньги, мучаются. Разве возможно более страшное надувательство? Яков вышел, чтобы приветствовать пришельцев. На стуле сидел широкоплечий еврей с неопрятной бородой, густыми щетками бровей и красным рябым носом. Распахнутый ворот открывал волосатую грудь и талес-котн, который носят религиозные евреи. Возле него на земле лежала нищенская

сума. При появлении Якова он встал. Все три еврейки были малорослы, носили косынки и передники. Одна держала на коленях узелок, другая — корзинку, а третья жевала брюкву. Они тоже повскакали со своих мест.

— Добрый вечер, добро пожаловать! — сказал Яков.

— Добрый вам вечер, рабби! — отозвался гость сиплым голосом.

— Я не рабби, а обыкновенный еврей, — сказал Яков.

— Раз Бог наградил вас праведницей, значит вы сами тоже праведник — ответила одна из женщин.

5.

Гости остались на ночь. Сарра сварила для всех ужин. После еды она молча благословила пришельцев. Женщинам положила руки на головы, мужчине пробормотала благословение с полузамкнутыми устами, каждому указала пальцем на небо. Тут же она почувствовала усталость и сделала знак, что идет ложиться.

Эта ночь была для Сарры потеряна. Она не могла говорить с Яковом о Торе. Но она знала, что гостеприимство — это очень доброе дело. Яков постлал женщинам в передней комнате, а мужчине в боковушке. Но гости не хотели еще спать. Они вышли во двор побеседовать. Яков тоже подсел. Он чувствовал, что все равно не сомкнет глаз. История с помещицей снова выбила почву у него из-под ног. С минуты на минуту могла нагрянуть беда, можно было ожидать любую напасть.

Вечер, как и прошедший день, был теплый. Как обычно, говорили о погроме. Мужчина, которого звали Мойше-Бер, рассказал, каким образом он удрал от гайдамаков Хмельницкого. Голос его звучал тоскливо.

— Да, я бежал. Разве это человек бежит? Ноги его бегут сами по себе. Я хотел остаться с ними, с моей семьей, но когда охватывает страх, ты сам не знаешь, что делаешь. Точно так же, как теперь я сделался бродягой, я прежде никогда не трогался с ме-

ста. Сидел себе на сапожной скамеечке и забивал гвоздики в подошвы. Зачем сапожнику разъезжать?.. Знал я, что недалеко от города имеются два села — Липцы и Майданы. В Липцах у меня был гой, который готов был за меня в огонь и в воду. Простой мужик, был он строителем и также резчиком по дереву. Помещик потакал ему во всем. Он одевался как дворянин. Я тачал ему сапоги, каких не сыщешь во всем мире. Даже у короля нет таких сапог... А про Майданы шла дурная слава. Там все мужики колдуны. Они помогали гайдамакам грабить... Так вот, стою я на распутье и не знаю, куда податься, налево или направо. Вдруг, откуда ни возьмись, собака. Как будто из-под земли. Она поворачивает ко мне свою морду и виляет хвостом. И у меня такое чувство, будто это бессловесное создание хочет сказать: иди за мной. И верно, собака медленно пошла, то и дело оглядываясь. Одним словом, я пошел за ней, и она меня привела прямо в Липцы. Захотел я собаку приласкать, бросить ей кусочек хлеба, но она исчезла. Растаяла прямо на моих глазах. Тогда я смекнул, что это был не пес, а посланец небесный.

— Тот мужик действительно спрятал вас?

— Долгие недели я просидел в его овине. И чего только он мне не носил!

— А что стало с семьей?

— Никто не уцелел.

Женщина с корзинкой стала трясти головой.

— Когда на небе желают, чтобы кто-либо остался здесь, он остается. Зачем мне, например, надо было остаться? На моих глазах они убили моего мужа и моих птенцов, на горе матери, которая должна была это видеть! Я умоляла: убейте раньше меня! Пусть я хотя бы не увижу, что с ними сделают, о горе мне! Но бандиты издевались. Двое казаков держали меня, а другие делали свое черное дело. Между собой они говорили, что после того, как управятся со всеми, вспорят мне живот и сунут в него кошку. Один из них уже держал нашу кошку, которая пронзительно мяукала. Вдруг поднялась суматоха, и все побежали, как ненормальные. До сих пор не знаю, кто устроил

эту суматоху и почему они вдруг так испугались. Одно знаю — крики раздались адские. Даже сейчас, когда я вспоминаю этот вопль, мурашки начинают бегать по телу.

— Они, вероятно, подумали, что это кричат их солдаты.

— Чьи солдаты?

Женщина, которая жевала брюкву, откусила кусочек и выплюнула. Она обратилась к женщине с узелком:

— Трайне, расскажите им про казака.

Та не ответила.

— Вы сердитесь, что ли?

— О чем тут рассказывать?

— Она три года была женой казака.

— Не надо говорить об этом! Зачем эти разговоры? Погром был страшный, хуже разрушения Храма Господня. Я выгляжу старой, но мне в тамузе минуло только тридцать четыре. Муж мой был богослов. Слава о нем шла по всему польскому королевству. Когда раввин не мог ответить на вопрос, приходили спрашивать моего мужа. Он открывал книгу сразу на нужном месте и давал ответ. Его хотели сделать судьей, но он не хотел, и я не хотела быть женой судьи. К чему это нам было!? Когда община дает кому-нибудь кусок хлеба, он становится поперек горла. А так муж сидел себе над книгами, а я держала мануфактурную лавку, ездила со своим товаром на ярмарки, и Бог миловал меня. У нас не было детей, — это было мое горе. Когда прошло десять лет, и я не родила, свекровь моя, да не помянется ей это на том свете, стала жучить сына, чтобы он развелся со мной. А поженились мы рано. Мне было одиннадцать лет, а ему двенадцать. Он начал совершать обряд с тфилин, когда столовался у моего отца, царствие ему небесное! Да, свекровь требовала развода, и закон говорит также. Но муж мой сказал в рифму: "Трайне, Трайне, люблю тебя крайне". Вот как он говорил. Он мог бы быть бадхеном. Вдруг напали злодеи. Мы все побежали прятаться, а он надел на себя талес и тфилин и вышел навстречу бандитам. Они приказали ему

выкопать для себя могилу. Он копал и молился. Я лежала в погребке и с голоду почти потеряла сознание. Другие вышли ночью искать пищу, а у меня не было сил встать. Я была уже на том свете и видела там мою маму. Играли клезмеры, и я не шла, а порхала птицей. Моя мама летела рядом со мной. Мы полетели к месту, где встречаются две горы, а посередине был какой-то проход. Внутри — багровый свет, как при заходе солнца, и благоухало ароматными травами рая. Мама проскользнула, а когда я хотела последовать за ней, кто-то дернул меня назад.

— Кто это был? Ангел? — спросил сапожник.

— Не знаю.

— Ну а дальше?

— Я горько заплакала. "Мама, почему ты меня покидаешь?". Она что-то ответила, но я не могла разобрать, что. Звуки в ушах отдавались эхом. Открываю глаза — кто-то тянет меня. Это было ночью. Казак — его звали Василем — вытащил меня из подвала и привязал к лошади. Я умоляла его, чтобы он убил меня. Но тех, кто хочет умереть, оставляют в живых...

— И он стал вашим мужем?

— Мужем-смужем...

— Куда он вас тащил?

— Кто знает? В степь. Он скакал со мной день и ночь. Прошла то ли неделя, то ли месяц. Я даже не знала, когда на свете суббота.

— Ну и дальше?

— Прошу вас, оставьте меня!

— Он продержал ее там три года, — сказала женщина с корзинкой.

— И, наверное, вы имели с ним детей? — спросил сапожник.

Никто не ответил.

Наступила тишина. Все почему-то устремили взор вверх на луну и на звезды. Мойше-Бер спросил:

— У казаков также, как здесь?

— Там красиво. Птицы там щебечут — словно разговаривают. Трава высокая, и когда идешь, надо остерегаться змей. У них маленькие лошадки, но бегут они резвее больших. Верхом там ездят без седла. Они сме-

ются над теми, кто ездит с седлом. Женщины также ездят верхом. У мужчин в одно ухо продета серьга, у каждого нагайка. Когда они разозлятся, то лупят направо и налево. Они способны бить собственную мать. Когда сын вырастает, он выходит на поединок с отцом, а вся станица стоит и смотрит. Сын сбрасывает отца наземь, и все радуются. Даже собственная жена. У нас доят коров, а они доят кобыл. Туда, где я была, приходили и татары... Мужчины бреют головы и оставляют косицу. Есть у них такой праздник, когда играют с крутыми яйцами. У нас все делают дома, у них — на дворе. Стирают и готовят пищу во дворе. Разводят в яме огонь, и если нет дров, жгут навоз. Царя у них нет. Когда надо что-нибудь решать, все казаки собираются вместе и, что хотят, то и делают. У каждого казака две сабли — прямая и кривая. Когда муж подозревает жену, что она путается с другим, он убивает ее или любовника. Ему за это не полагается никакого наказания. Но они умеют петь. Этого у них не отнимешь. Даже женщины. Под вечер все рассаживаются на земле в круг и поют. Один из старших запекает, и все подхватывают. Они умеют также плясать и играть.

Когда он меня привез, я была полужива. Он скакал со мной дни и ночи. Нечего было есть. Мы собирали в лесу грибы. Однажды он привязал коня к дереву, меня — к коню, а сам отправился искать пищу. Стали сверкать молнии. Загремело. Я пыталась освободиться, но когда они привязывают — это намертво. Лошадь тоже испугалась, стала брыкаться и ржать. Он вернулся с кабаном. Я не хотела есть. Он его жарил, но мясо осталось полусырым. У них едят мясо жесткое, как камень, и полное крови. Мне душу выворачивало от рвоты, а он совал мне в рот эту мерзость. Там мужья добры к своим женам, но все равно колотят их. Когда казак перестает бить жену, это значит, что больше не любит ее. Колотит он ее не в доме, а на улице. Лупит ее и переговаривается с соседями. Там все мужчины с бородами, как евреи, да не будет это сравнимо!

Так на чем я остановилась? Привозит, значит, он меня в станицу, а я не умею по-ихнему разговаривать.

У меня уже отросли волосы, но не такие длинные, как у них... Все собрались и смотрят, как он меня отвязывает от лошади. Подходит старуха в штанах, страшная — настоящая ведьма, и давай реветь и плевать. Это его мать. Она машет на него кулаком, а он отгоняет ее нагайкой. Прибегает молодая, его жена. Все кричат, все бранятся, а я стою, как истукан, оборванная и босая, отощавшая — полумертвая. Не понимаю их языка, но они тычут в меня пальцами и выражение их лиц такое, как будто они говорят: "зачем тебе эта дохлятина?". Приходят смотреть на меня, как на диковину. Я стала шептать предсмертную молитву. Что помнит баба? "Шма Исраэль", "Перстами Твоими" — одну две молитвы, и обчелся. Обращаюсь к Всевышнему на идиш. — Он понимает любой язык. — "Отец в небесах, возьми меня! Чем такая жизнь, уж лучше смерть". Но когда хочешь умереть, не умрешь. И вот меня взяли в дом и послали пасти гусей. А над ним они устроили суд. Молодые хотели отрубить ему голову, но старые заступились.

Что?.. Нет, у меня не было детей. Еще этого мне не хватало! Другая — у той были мальчишки, и они любили меня больше своей матери. Когда она впадала в ярость, и его при этом не было, то колотила меня до крови. Потом добрела и подносила мне миску с варевом. Я не хотела есть тrefного, но что поделаешь! Меня то и дело рвало. Что такое еврей, там вообще не знают. Они ведут себя, как дикари. Когда хотят купаться, идут во двор. Он льет из шайки воду на нее, а она — на него. При этом переговариваются с соседями. Когда закалывают свинью, это у них целый праздник. Не отрубают голову, а колотят штыком. Это делают мужчины, женщины, дети. Мать подставляет горшок и собирает кровь...

Со временем они ко мне подобрели. Все подобрели. Даже старая ведьма. Я научилась немного их языку, а они — еврейскому. Она поссорилась с невесткой и стала подъезжать ко мне. Понимала я одно слово из десяти, но она хныкала и тараторила. Все уши мне прожужжала. Жаловалась, что ей не дают есть. Она лежала на охапке соломы, и черви ели ее заживо. Зубов, что-

бы жевать у нее не было. Сын совсем забыл о ней. Я приносила ей, что могла. Перед смертью она подозвала меня и подарила браслет. Я его хорошенько спрятала. Узнай об этом невестка, она бы меня загрызла.

С тех пор как я попала туда, у меня было лишь одно желание — убежать. Но как из степи убежишь? Повсюду рыскают дикие звери. И потом откуда мне знать дорогу? Летом так жарко, что земля под ногами горит, а зимой снег лежит толстым слоем. У меня не было ни одежды, ни денег. Были бы даже деньги, за них там много не купишь. Но все же я не забыла, что я еврейка. Как только открывала глаза, тут же говорила "Мойдэ ани"* . Он спрашивал: что ты бормочешь? А я отвечала: не твое дело! Знала бы я их язык, могла бы уговорить их стать евреями. Они откровенно заявляли: мы хотим стать евреями! Будь я женщиной, получилось бы что-нибудь. Но какое значение имеет женщина? Ведь сама я толком не знаю, что и как. Они справляют свои праздники, но все у них шиворот навыворот. Когда у священника умирает жена, он тут же должен взять другую. Иначе он не имеет права проповедовать. Когда у них пост, нельзя есть молочного, — только одну капусту да кипяток. У них есть все, кроме соли и вина, которые ценятся наравне с золотом. Все было бы еще терпимо, если бы не мухи да саранча, которые налетают, как когда-то в Египте, и от них получают разные болезни...

— И как же вы ушли от них?

— Ушла, и все. Какая разница? Мне приснилась моя мама. Она велела мне бежать. Явился туда татарин, и я потихоньку дала ему старухин браслет. Он отдал мне, что имел — бешмет, чувяки — так называются их башмаки. Я пустилась в путь, положась на Бога, и добрые ангелы вели меня. Огонек маячил впереди и указывал мне дорогу, не то не дожила бы я до нынешнего Судного дня. Дикие звери гнались за мной. Огромная птица налетела на меня и хотела унести. Я закричала, и она улетела. Милые вы мои, если бы я вам все стала рассказывать, мы бы просидели с вами

* Первые слова молитвы: "Я благодарю..."

три дня и три ночи. Мне помогали. Многие помогали. Но зачем и к кому я бежала? Даже могилы родной не нашла. Я совсем одна на Божьем свете, опозоренная и затравленная. Когда я вспоминаю все, через что прошла, то готова плевать на собственное тело...

— Что же вы пришли за благословением? — спросил Мойше-Бер.

— Я хожу, скитаюсь, лишь бы не сидеть на месте. А вдруг все же на Божьем свете есть и для меня утешение? Когда эта праведница возложила на меня свои руки, у меня камень с души свалился.

Мойше-Бер указал на небо.

— Смотрите, падает звезда!...

6.

В спальне помещицы среди ночи отворилась дверь, Тереза уже было задремала, но сразу открыла глаза. Между гардинами светила луна. Она проговорила вкрадчиво;

— Это ты, Адам?

— Да, Тереза. Я разбудил тебя?

— Нет, я только задремала.

— Я не могу спать. Что мне делать с этим евреем? Как мне вообще быть с евреями? Они поселились здесь, и вот уже — целый город! Савицкий кипит от злости. Он мне пригрозил вечным адом. Соседи также подсиживают. Каждый имеет своего еврейчика, но когда дело доходит до меня, все они святые. История с глухонемой — это гнусная комедия. Евреи смеются надо мной. Они меня разыграли...

Тереза выждала.

— Что ты стоишь? Садись или иди в постель.

— Я сяду. Мне жарко. Почему это среди ночи так жарко. Конец света, что ли? Не желаю больше иметь здесь евреев. Этот Гершон вор, а Яков дурачит меня. Зачем бабе притворяться глухонемой? Мне непонятна вся эта история.

— Возможно, она не притворяется?

— Ты ведь сказала, что он согласился с тем, что она притворяется.

— Я этого не сказала. Я только заметила, что он

молчал и не отрицал. Кто знает этих людей? Совсем особое племя. Самое лучшее — не замечать их.

— Как я могу их не замечать? Все уже в их руках.

— Твои польские экономай не лучше.

— Все плохо. Польша разваливается. Вспомнишь еще мои слова; нас разорвут на куски. Сначала евреи сожрут нас, как вши, потом придет москаль или прусак, или и тот и другой, и нас прикончат. Наши помещики сами себя губят. Каждое очередное поражение Польши — для них личная победа. Но как такое возможно? Разве что изменила нам сама природа человека? Все народы хотят жить, а мы вот желаем протянуть ноги...

— Не знаю, Адам, ничего уже не знаю.

— Не надо было тебе связываться с этим евреем. Это плевок мне в лицо.

После некоторой паузы Тереза отозвалась:

— Ты ведь не раз испытывал от плевков удовольствие.

— Но не еврей. Этого ты не должна была делать. До сих пор я спал по ночам. Теперь я и спать уже не могу. Я ежеминутно вздрагиваю и уже начинаю думать, что в меня вселился бес. Тереза! Я хочу покончить с этим! — изменил тон Пилицкий.

— С чем покончить? О чем ты говоришь?

— Я просто напроосто возьму несколько холопов и брошусь на эту банду евреев, мы отрубим несколько голов, а остальные сами разбегутся.

— Что ты говоришь? Какие головы? Мы окружены врагами. Попробуй что-нибудь сделать, и над тобой устроят суд.

— Из-за евреев!?

— Твои враги ждут только повода. Они сами презирают евреев, но когда им выгодно, они за них заступаются. Ты это прекрасно знаешь.

— Что-то надо делать.

— Ничего не делай, Адам, ложись спать и спи. Когда лежишь без малейшего движения с закрытыми глазами, в конце концов засыпаешь. Мы должны подождать, дорогой Адам, мы должны ждать. А что такое вся жизнь? Ждешь, и дни проходят. Потом наступает

смерть, и все кончено.

— Я не могу лежать и ждать смерти. Эти старые девы для меня обуза. Они сидят у меня на шее и смотрят так, будто я их злейший враг. Они буквально перестали со мной разговаривать. Все шепчутся и шепчутся. Весь двор наполнен шипением. Получается, словно они у меня в неволе. Но если им здесь так плохо, почему они не уходят куда-нибудь? Я не обязан содержать всех моих дальних родственников. Не моя вина в том, что мои досточтимые дяди и тетки наплодили целую ораву старых дев...

— А что я тебе говорила?

— Ты так долго восстанавливала меня против них, покуда не добилась своего. Теперь я уже сам ненавижу их. Трагедия в том, что ты говоришь, а твои слова входят в меня. Ты меня понемногу отравляешь, а потом удивляешься, почему я отравлен. Теперь ты улыбаешься им, прикидываешься добрым ангелом, а я страдаю от этих паразитов...

— Я так и знала, что раньше или позже ты все выместишь на мне.

— Это правда. Ты виновата во всех моих муках. Из-за тебя я со всеми в ссоре. Из-за тебя я изолирован. Я должен положить этому конец! — возвысил Пилицкий голос.

— Что ты кричишь? Ты всех перебудуешь. И так стоят за дверьми и слушают каждое наше слово.

— Им нечего подслушивать. Они все равно знают все наши тайны. Я это вижу по их лицам. Мне смеются в глаза. Да, да!... Ты слишком далеко зашла, Тереза, слишком далеко!

— Толкал меня на это ты, ты и никто другой. Если бы мне пришлось сейчас умереть, я бы все равно повторила эти слова. Я скажу их перед самым Богом. Я пришла к тебе невинной девочкой, а ты...

— Знаю, знаю. Старая песня. Ты была невинна, белая роза и прочее, и прочее... Что прикажешь мне делать теперь? Я не в силах вернуть тебе твою невинность.

— Единственное чего я хочу — чтобы ты оставил меня в покое.

— Я не могу так дальше жить. Этот Яков способен все разболтать грязным евреям. Мне еще не хватает, чтобы они указывали на меня пальцами.

— Он не скажет, он будет молчать. У него свои заботы. Мне только невдомек загадка с его женой, но какая-то тайна здесь кроется. Весь он — такой большой и нелепый — во власти страха. Возможно, он убежал из неволи или Бог знает что еще. Раньше или позже все выплывает наружу...

— Еще бы! Всем известен мой позор...

— Ты этого хотел, Адам, хотел! Долгие годы ты навязывал мне свои причуды, покуда и меня втянул в это... Как я сопротивлялась и через что прошла — одному Богу известно.

— Не поминай Бога.

— Кого же мне поминать? У меня нет никого кроме Него. Ты довел наших детей до смерти. Ты, и никто другой. Все равно, как если бы ты убил их своими собственными руками. Меня ты превратил в... не хочу сказать во что, чтобы не оскорблять память моих родителей. Какие же претензии у тебя теперь? Того, что было, уже не исправишь...

Некоторое время супруги молчали. Потом Пилицкий заговорил вновь.

— Я велел Антонию зарезать Бепюша. Он это сделает завтра после обеда.

— Что? Мне уже этого не надо. Не хочу. Пусть живет.

— Я уже приказал.

— Зачем? Я это тогда сказала просто так, не серьезно... Это уже и не действует... Ох, мама родная, во что я превратилась! Бог в небесах, заberi меня! Прямо сейчас! Не желаю наступления нового дня!... Не желаю!...

Тереза издала нечеловеческий стон, полный боли и отвращения. И заметалась будто в судорогах.

— О, смерть, приди скорее...

Глава десятая

1.

В Пилице готовились к Ямим Нораим*. Служка ежедневно трубил в рог, чтобы отпугнуть сатану и помешать ему подбить евреев на дурное, а потом обвинить их во всем. Сарра, жена Якова, снова вернулась в местечко и готовилась к праздникам и к родам. Яков положил ей под подушку Книгу Творения и нож — средство против Лилит и других дьяволов, — вредящих новорожденным, таких, например, как Шибта, которая сворачивает младенцам шею. В Пилице поселился софер**, и Яков купил у него амулет для заклинания Огорт, королевы злых духов и Лилит. Все они принимают человеческий облик, крылья у них, как у летучих мышей, они лизут огонь и водятся на деревьях. Несмотря на то, что Сарра была теперь еврейкой, и Яков учил ее законам и молитвам к Ямим Нораим, она вспомнила и о некоторых деревенских обычаях и тайком их придерживалась. Растерла яичную скорлупу, из которой вылупился цыпленок, перемешала ее с сухим лошадиным пометом и с пеплом сожженной жабы, затем пила эту смесь с молоком. Жгла в чугуне зерна горчицы, а потом сидела голая над чугуном, чтобы дым вошел внутрь ее. Живот у Сарры был угловатым, а не круглым, поэтому опытные женщины в Пилице предсказывали, что родится мальчик. Яков уже заранее купил для него у лоточника ермолку, тисненную золотом, и бублик, который надевается на ручку от сглаза.

В Рош Хашана*** Якова удостоили приглашения читать в синагоге утреннюю молитву. Богач Гершон был

* Ямим Нораим — дни от Нового года до Дня всепрощения.

** Софер — переписчик священных книг.

*** Рош Хашана — начало года по еврейскому календарю.

против, кричал, что не допустит, чтобы Яков, чужак, стоял перед амвоном, но остальные члены правления общины настояли на своем. Гершон любил покрасоваться, но молитву читал из рук вон плохо. Когда Яков поднялся со скамьи, укатанный в китл* и талес, и запел —Хамелех“, Сарра не могла сдержать слез. Она вспомнила время, когда он был рабом у ее отца, ходил босой и оборванный и ночевал в хлеву. Теперь у него был вид святого мужа. Сарра была одета в платье золотистого цвета, а в мочках ушей болтались серьги, купленные Яковом на выплату у золотых дел мастера, на шее у нее висела нитка стеклянного жемчуга. Саррин молитвенник был в медном переплете, и когда она в нем отражалась, на нее глядела настоящая панна. Поскольку она играла роль немой, она молилась не вслух, а только бормотала. Яков выучил с ней много молитв. Она знала гораздо больше иных евреек. Все было настоящим чудом: ее любовь к Якову с первого дня, его вызволение, его возвращение к ней, весь этот трудный путь, что они проделали за почти четыре года с тех пор, как они вместе. Сколько раз ей грозила гибель и сколько чудес было с ней и с Яковом!

Сарра стояла около загородки рядом с женой Гершона, и хотя та была разодета в шелк и бархат, и на шее у нее был настоящий, а не фальшивый жемчуг, Сарра чувствовала свое превосходство. Вейле-Пеше — старая, а она, Сарра — молодая. Та не умела молиться и должна была прислушиваться к подсказке, а она грамотная и понимает даже немало древнееврейских слов. Муж Вейли-Пешы невежда, и община не пускает его петь по праздникам молитвы, а ее муж, — знаток Талмуда. Город и не подозревает, кем Яков является на самом деле. К тому же он снискал расположение помещика, и тот сделал его своим арендатором. Эти четыре года представлялись ей целой вечностью. Все, что было раньше, казалось ей случившимся с кем-то другим. Когда она вспоминала, что была когда-то Вандой, женой пьяницы Стаха, холод пробегал по ее спине. Бывали

* Длинная белая рубаха; надевают для молитвы в Рош Хашана и Йом Кипур.

дни, когда она не думала о прошлом, настолько она вросла в еврейскую среду. Наверное, прав был Яков, говоривший, что она явилась на свет с еврейской душой, и что он лишь вернул ее к еврейскому источнику.

Яков читал и пел. Голос его звучал светло и мягче. От одной мысли, что она его жена и носит в чреве его ребенка, у нее снова и снова навертывались слезы. Чем она это заслужила? Почему Бог выделил ее из множества других дочерей польского народа? Возможно, ее заслуга в том, что с самого детства она страдала. Она горевала и изнывала от тоски с тех пор, как себя помнит. Она еще не умела как следует говорить, но в ее голове уже рождались мысли. Нередко она плакала без видимой причины, ей снились разные сны и мерещились наяву видения, многие из которых она по сей день не могла истолковать. Ей страшно говорить об этом даже с Яковом — как бы он не подумал, что она безумная. Но что поделать с глазами, которые все это видели! Например, когда ее бабушка, отец татуси, приказал долго жить, и когда гроб с его телом несли на кладбище, она вдруг среди провожающих заметила усопшего, который шел вместе с остальными мужиками. Ваида, как звали ее тогда, хотела закричать, но он поднял палец и приложил его к губам, — в знак того, чтобы она молчала. Лишь когда гроб принесли на кладбище, образ бабушки рассеялся — не сразу, постепенно, как сгусток тумана, когда выходит солнце...

В следующую ночь бабушка навел ее и оставил на постели охапку цветов.

У нее были и другие видения. Например, она почувствовала возвращение Якова и потому не хотела сойтись ни с каким другим мужчиной. В сущности, она ждала его и тосковала по нему еще с детства...

Женщины в синагоге думали, что она не слышит, как Яков молится, не слышит звука рога, и они подавали ей знаки, объясняли жестами и говорили о ней так, будто она при этом не присутствует. Но Бейле-Пеша во всеуслышание заявила, что Сарра вовсе не глухонемая, а притворяется, и что надо ее остерегаться. Та так ненавидела Сарру, что когда она после молитвы

кинула ей в знак того, что желает хорошего года, Бейле-Пеше не ответила и отвернулась.

Дома Сарра приготовила Якову праздничную трапезу. Он произнес молитву освящения пищи и дал ей отпить от своего вина. Затем он подал ей ломоть хлеба с медом, а она ему — рыбную голову, морковь и все другие блюда, которые полагается есть в еврейский Новый год. Праздник витал в самом воздухе, в бледно-голубом небе. Даже деревья и травы благоухали поновому. Сарре казалось, что она вечно видит Бога, восседающего на огненном троне, перед ним раскрыта Книга жизни и смерти, шестикрылые ангелы дрожат и трепещут, а рука каждого человека вписывает в Книгу свой собственный удел, свою судьбу. Тайный страх сдавливал ей грудь: возможно, ее уже приговорили к смерти? Если так, пусть хотя бы останется жив ребенок ее и Якова..

После трапезы Яков пошел в синагогу читать псалмы. Сарра прилегла. Внутри уже шевелилось дитя, подрагивая ножками. Завтра все те, кто лишился своих родителей, должны будут читать поминальные молитвы. Но кого вспомнить ей? Отца Яна Бжика? Она спросила Якова, и он, после долгих колебаний, решил, что она должна пропустить то место, где перечисляются имена усопших. Сарра вовсе не сирота. Ее настоящий отец — это праотец Авраам...

2.

Яков сквозь сон почувствовал, что его тормошат. Он открыл глаза. Возле него стояла Сарра и будила его. Она проговорила:

— Яков, начинается!...

— У тебя начались боли?

— Да.

Яков сразу встрепенулся. Ему показалось, что никогда еще он не был таким усталым и так мучительно не жаждал сна. Зевота раздирала его рот. Страх одолевал его. В полутьме силуэт Сарры казался огромным, вздутым — целая глыба страданий. Он преисполнился жалости. Слезы навернулись ему на глаза.

— Я схожу за повитухой.

— Обожди еще. Может рано...

Сарра не говорила, а лепетала. Она помнила обещание — во время родов не выдать тайну своей немоты. Но кто мог знать, на что способен человек в таком состоянии? Со всех сторон подстерегала опасность. Яков вышел, чтобы отворить ставни. Полумесяц, который обычно светит в течение десяти дней раскаяния, уже закатился, но от звезд падал отблеск. Яков не знал, что ему делать. Дать ей чего-нибудь сладкого? В летние месяцы Сарра заготовила вишневку и разное варенье из крыжовника, смородины и клубники. Вдруг он заметил, что кадушка наполовину пуста и решил пойти к колодцу за водой. Нехорошо роженицу оставлять одну. Но на стенах висели бумажки с соответствующими выдержками из священных книг. Кроме того он оставил открытой дверь и велел Сарре твердить магические слова, которые дал ему софер для обуздания разных бесов:

Гора высока, небо — это моя кожа,
Земля — мои башмаки, небо — мое платье.

Защити меня, Господь Бог,
Чтобы меч меня не сразил,
Чтобы рог меня не пронзил,
Чтобы зуб меня не размолот,
Чтобы вода не поглотила.

Под Черным морем лежит белый камень,
В горле у ястреба торчит твердая кость...

Так как жена Якова должна была вот-вот родить, он ходил не на все молитвы о прощении. Но другие мужчины между Новым Годом и Судным днем шли молиться еженощно. Среди идущих Яков узнал богача Гершона. Всего несколько дней назад он кричал, что если Яков выйдет к амвону, будет кровопролитие и дал понять, что донесет на него начальству. Для местечка не было секретом, каким образом разбогател Гершон. Перед погромом кто-то отдал ему под заклад свое добро. Владелец погиб. Гершон, когда наследники требовали у него имущество отца, дал ложную клятву, что ничего под заклад не брал. А теперь он с женой, дочерьми и зятьями идет молить прощения. Как это понять? Неужели Гершон думает, что сможет обма-

нуть Всевышнего? После тридцати с небольшим прожитых на свете лет, Яков не переставал удивляться тому, что многие евреи соблюдают лишь те законы Торы, которые относятся к Богу. Строго придерживаясь разных правил и обычаев, по существу, не имеющих глубоких корней в Торе и Талмуде, они с легким сердцем нарушают самые святые заповеди, и даже основные Десять заповедей. Они хотят быть хорошими по отношению к Богу, а не к людям. Но разве Бог нуждается в их услугах? Что нужно отцу от своих детей кроме того, чтобы они не поступали несправедливо по отношению друг к другу?... Яков, наклонившись над колодезем, вздыхал. Это-то и оплакивали пророки. Возможно, поэтому не приходит Мессия... Он начерпал воды и поспешил к Сарре. Она стояла на пороге, скорчившись от боли.

— Позови повитуху!

Яков поставил ведро с водой и побегал к повитухе. Он постучал в ее ставни, но никто не ответил. Может быть она в синагоге? Яков помчался туда. Он заглянул за перегородку, где молятся женщины, но повитухи там не было. Мужчине не положено в святом месте заговаривать с Женщинами, но дело шло о спасении жизни.

— Где бабка? У моей жены начались роды!...

Женщины зашикали на него, чтобы он не мешал молиться. Некоторые стали давать советы. Возможно, она у другой роженицы, которая только что родила?

Одна из молящихся отложила молитвенник.

— Я пойду к вашей жене. Новая жизнь важнее всего... — сказала она.

Яков направился к дому другой роженицы. Дорога была сплошь в рытвинах и буграх. Ему обрисовали, где та живет, но он не знал, куда постучать. Из синагоги донесся хор голосов молящихся евреев: Бог милостивый и милосердный!... — Как невероятно прозвучал этот возглас среди ночи! После резни, после всех погромов евреи все еще называют Бога милостивым и милосердным! Яков стоял потрясенный. Продолжать ли ему искать бабку, побегать ли домой? От внутренней муки на лице его выступил пот, рубаха взмокла. Отец

в небесах, спаси ее! — взмолился он. Он взглянул на небо, усеянное звездами. Когда рожала его первая жена, рай ей небесный, он был еще совсем мальчишкой и толком не знал, что такое женщина. У жены была мать, сестры, тетки. Он, Яков, сидел за книгой, к нему пришли и сообщили о том, что он стал отцом и его следует поздравить. Так было, когда появился на свет первый ребенок. Так же — когда второй и третий. Теперь все это казалось таким далеким, будто происходило в другой жизни. Он стал звать бабуку, но на голос его, словно в дремучем лесу, отзывалось только эхо. Он бросился к дому. Там уже горел огонь в печи. Кипятилась вода. Женщина, пришедшая из синагоги достала из корзины, где Сарра держала белье, простыни. В плоске с маслом горел фитилек. Сарра лежала на кровати. Она не кричала, но лицо ее было перекошено. Яков хотел было заговорить с ней, спросить, как она себя чувствует, но тут же вспомнил, что она должна притворяться немой. Женщина засучила рукава. На лице ее читалась женская опытность. Она спросила:

— Бабка придет?

— Я не смог найти ее.

— Не беспокойтесь, все равно еще рано. Так легко это не бывает...

И она подложила полено в печку.

В глазах Сарры таилась боль, но она пыталась улыбаться, как бы говоря: не огорчайся. Он смотрел на нее со смешанным чувством любви и удивления. Он теперь увидел в ней Ванду, дочь Яна Бжика, ту самую, которая приносила ему на гору, ежедневно под вечер, чего-нибудь поесть. Все казалось нереальным — ее присутствие здесь, разыгрываемая ею немота. Как это все произошло? — спрашивал себя в недоумении Яков, — когда и каким образом? Она носила косынку, которую носят еврейки. На ее груди висел амулет, на стене — листки со священными текстами, а под подушкой лежала Книга Бытия. Он вырвал христианскую дочь у долгих поколений, отнял у матери, сестер, у всех близких. Он лишил ее, даже языка. А чем он ей воздал? У нее здесь, кроме него, никого не было. Он подверг ее опасностям, от которых можно было спас-

тись разве что чудом. Теперь он как бы впервые отдал себе отчет, каким испытанием для нее все это было. Он приблизился к ней и погладил по голове. И тут она выкинула чисто гойскую штуку — схватила его руку и стала целовать. Еще хорошо, что женщина стояла лицом к печке, а то в Пилице было бы уже о чем говорить, над чем посмеяться...

3.

Может немая плакать? Может ли она кричать, когда ей больно? Сарра плакала и кричала, но она, несмотря на боль, не произносила ни единого слова. С самого начала стало ясно, что ребенок идет трудно. Уже наступила середина следующего дня, а Сарра все еще не разрешилась. Она лежала вся в поту, с осунувшимся лицом и широко раскрытыми глазами. Повитуха то входила, то выходила. Пришла проведать роженицу старая бабка-нееврейка. Руки ее были черны от земли. Она только-что копала репу. Вокруг постели стояли женщины, каждая давала свой совет. Зная, что она не слышит, они разговаривали с ней знаками. Другие обращались к Якову, который стоял во дворе. Пробовали разные средства и лекарства. Одна кормящая мать нацедила из груди молока и Сарре дали его выпить. Ей принесли кусочек пасхальной мацы и велели держать в зубах. Старая еврейка, из благотворительниц, положила руку Сарре на живот и стала произносить заклинания. Привели еврея, который в первый день Рош Хашана читал в синагоге главу из Книги Пророков. Он возложил руки на мезузу и произнес соответствующий стих из Библии, повторив его три раза. Одна женщина сказала, что у Гершона есть чаша, на которой начертаны священные слова. Если подержать ее над пупом роженицы, та мгновенно разрешается. Чаша эта обладает такой силой, что если держать ее дольше положенного времени, у роженицы могут вывалиться внутренности. Кто-то пошел к жене Гершона, но она сказала, что чаша разбилась.

Снова наступила ночь, а Сарра все еще кричала. Женщины переполошились и заспорили между собой. Одна говорила, что Сарре надо дать козье молоко с

медом, другая советовала голубиный помет, политый вином, кто-то принес отросток прошлогоднего этрога. Достали монету, заговоренную святым реб Михеле из Злочева. На руку роженицы намотали нитку и протянули ее до синагоги, а там привязали к дверце священного шкафа, где находится Тора. Это средство считали последним. Если оно не поможет — не поможет ничто. Сарра должна была потянуть рукой так, чтобы дверца открылась. Но нитка порвалась, и все сочли это дурной приметой. Так как роженица глухая, то при ней говорили все. Сама бабушка сказала:

— Боюсь, что из этого теста хлеба уже не получится...

— Спасти хотя бы ребенка!

— Что станет вдовец делать с младенцем?

— Уж кто-нибудь подвернется...

— Это несчастье уже причислится к новому году, — заметила женщина-благотворительница.

— Но ведь теперь самое время, когда решается жребий.

— Бывает, что достается и горький...

Сарра больше не в силах была сдержаться. Крик вырвался из ее горла помимо воли.

— Пока что я еще жива! — прорыдала она по-еврейски, — я еще не умерла.

Ошарашенные женщины отступили.

— Мамочки мои, она говорит!

— Снова чудо?

— Она не немая!

— Гершон прав!...

— Ой, люди добрые, я этого не выдержу! — одна из женщин потеряла сознание.

Якова при этом не было. Он пошел к синагогальному служке просить еще кусочек пасхальной мацы, так как первый упал и испачкался в крови.

Все женщины закричали разом. В Пилице услышали шум и стали сбегаться. Пришли женщины погребального общества, уверенные, что роженица скончалась. Они уже готовы были зажечь свечи у изголовья покойницы. С ними пришли так же и мужчины. В дом набилось полно людей. Налезали на кровать, на которой

лежала, раздираемая болью, Сарра. Она вдруг заговорила по-польски с деревенским акцентом:

— Что вам надо от меня? Уходите отсюда! — выкрикивала она на родном языке, — вы притворяетесь добренькими, но вы скверные! Вы хотите похоронить меня и подсунуть Якову кого-нибудь из своих, но я еще жива! И мой ребенок жив! Слишком рано вы радуетесь, слишком рано!... Если бы всемогущий Бог желал, чтобы я умерла, он бы не дал мне пройти через все то, через что я прошла...

Это была польская речь не еврейки, а гои. Женщины побелели.

— Горе мне, из нее говорит злой дух!

— В Сарру вселился злой дух! — завопил кто-то на дворе в ночную темноту.

Евреи в Пилице слышали уже про всякое, но чтобы злой дух вселился в роженицу, да еще во время десяти дней покаяния, — такого еще не случалось... Весь город забегал и закричал. Матери запретили взрослым дочерям заглядывать в этот страшный дом, прежде чем они не наденут, спереди и сзади, фартуки. Парни и мальчишки также пытались протиснуться туда, где, раскрывшись, лежала Сарра. Но женщины преградили им дорогу. Кто-то наткнулся на стул, на котором стояла плошка со светильным маслом, и огонек погас. Попытались снова зажечь светильник огнем от печки, но в давке пролилось масло. Те, кто находился внутри, хотели выйти. Толпа снаружи рвалась в дом. В дверях была давка, образовалась пробка — не войти и не выйти. Все это было похоже на всеобщее безумие. Падали парики и чепцы, рвались платья. У одной женщины рассыпались бусы. То и дело раздавался чей-нибудь резкий голос. Мрак нагонял на Сарру страх, и она стала выкрикивать слова на двух языках — слово по-еврейски, слово по-польски.

— Зачем вы погасили свет? Я еще жива, я не в гробу еще! Зажгите свет! Где Яков? Где Яков? И он меня покинул. Он забыл свою Ванду?

— Кто такая Ванда? — спросил кто-то.

— Света, света! Я умираю! — надрывалась роженица. Нашли лучину и зажгли ее. Огненные тени за-

плясали по стенам. В полутьме лица выглядели искаженными. Повивальная бабка, которая было вышла, снова протиснулась сквозь толпу.

— Что с тобой? Что за Ванда? Тужись, доченька, тужись!...

— Он слишком крупный, слишком крупный! Он удался в своего батеньку! — взывала роженица по-польски, — он рвет мои внутренности!...

— Кто ты такой? Как ты вселился в Сарру — спросил кто-то.

Роженица выждала мгновение. Вдруг она поняла, что она натворила. Она выдала себя и Якова! Схватки временно прекратились, и она лежала, оцепеневшая, облитая потом, с мокрыми волосами, опухшими губами и набрякшим носом. Неимоверная тяжесть сковала ее. Ноги были словно бревна. Пальцы рук будто разрослись. Ванда уже знала, что такое вселившийся дух. Она не раз слышала, как женщины говорили об этом.

— Кто ты? Как ты вселился в Сарру? — повторился вопрос.

— Вселился и все тут! — сказала Сарра. — А тебе что? Уходите отсюда! Уходите, разойдитесь! Вы мне здесь не нужны, все вы мне враги! Кровные враги!..

Все это она говорила по-польски.

— Кто такая Ванда?

— Кто бы она ни была, уходите отсюда! Дайте мне спокойно умереть! Прошу вас! Сжальтесь надо мной!...

Схватки возобновились. Она закричала не своим голосом.

4.

Снова повалил народ. Но вот появился Яков. Кто-то поспешил сообщить ему, что в Сарру вселился нечистый дух. Он кое-как прорвался сквозь толпу.

— Что здесь делается?! Что здесь происходит?! — закричал он с ужасом и возмущением.

— Нечистый дух говорит из нее, — отозвался кто-то, — он говорит по-польски, его зовут Ванда...

Яков отшатнулся.

— Где бабка?

Губы Сарры насмешливо искривились.

— Бабка мне не поможет, — произнесла она по-польски, — твой сын слишком большой для моих бедер. Мы оба уйдем туда... — и Сарра мотнула головой в сторону кладбища.

Яков застыл на месте. Он не знал, что ему сказать. Все было потеряно. Чувства боли и позора лишили его языка.

— Спасите ее, люди, — воскликнул он. — Спасите ее!...

— Никто меня уже не спасет, Яков — бормотала роженица. — Мне давно уже говорили домашние, что годы мои сочтены. Теперь я вижу, что правда была их. Прости меня, Яков, прости.

— Кто ты? Откуда родом? — спросил кто-то.

— Приведите раввина, приведите раввина! — настаивала какая-то еврейка. — Нечистый дух можно изгнать!

— Слишком поздно, слишком поздно! — не унималась роженица. — Кого вы хотите изгнать? Вот вы меня похороните, меня больше не будет среди вас, и вам не надо будет меня оговаривать. Не думайте, что я не слышала вашего злословия! — изменила Сарра тон. — Я все слышала и все должна была проглатывать. Теперь, когда я умираю, узнайте правду. Вы зоветесь евреями, но вы не придерживаетесь законов Торы. Вы то и дело молитесь и трясетесь, но вы сплетничаете обо всех и полны друг к другу черной зависти. Ваш Гершон мошенник и вор! Он ограбил другого еврея, которого убили казаки, и благодаря этому сделал своего зятя раввином и...

Яков сделался блее мела.

— Что ты говоришь, Сарра, что ты!

— Молчи, Яков! Это не я говорю, это голос из моего нутра говорит. Не могу я больше молчать, Яков, не могу больше! Почти два года я молчала, а теперь, когда умираю, должна говорить, не то я лопну. Спасибо тебе, Яков, спасибо за все! Ты — причина моей смерти, но я тебя не попрекаю. Чем ты виноват? Ты мужчина. Ты найдешь другую. Женщины тебя уже здесь сватали. Город надолго тебя без жены не оставит. Проси за ме-

ня, Яков, потому что Бога моих родителей я бросила, а примет ли меня на небе твой Бог — этого я не знаю. Если ты когда-нибудь встретишь мою сестру Басю или моего брата Антека, скажи им, как умерла их сестра.

— Что она говорит? Что она говорит? — раздавались со всех сторон голоса.

— Это нечистый дух! Нечистый дух!...

— Да, нечистый дух! А что вы мне можете сделать? Прежде чем вы меня накажете, я уже буду лежать в гробу вместе с моим ребенком...

И роженица вдруг стала кричать жалобным голосом. Снова начались схватки. Несколько женщин накинулись на Якова, чтобы он вышел из комнаты. Его вытолкали на улицу. Там стояли мужчины, а также девушки и женщины, которые не смогли проникнуть в дом. К Якову обращались, о чем-то спрашивали, но он не отвечал. Мука его была слишком велика. Кто-то спросил:

— Почему не приводят раввина?

— Пошли за ним.

— Раньше нужно достать ребенка, а потом уже изгонять дыбук* — рассуждал один.

— Попробуйте, достаньте!

— Почему жена Герсона не хочет дать чашу?

— Потому что она такой хороший человек...

— Кто этот дыбук — мужчина, женщина?

— Женщина.

— Где это слыхано, чтобы одна женщина вошла в другую...

Некоторое время все молчали и прислушивались к крикам роженицы. Мужчины, понурив головы, женщины, заслониив лица, как бы стесняясь. Потом стало тихо. Повивальная бабка высунула голову.

— Бегите за чашой. Она кончается!

Яков рванулся с места.

— Впустите меня!

— Нет, не теперь.

— Раввин идет, раввин идет!

* Дыбук — злой дух, нечистая сила, которая, якобы, вселяется в человека.

Издали увидели приближающегося раввина. Он был не один. С ним шел его тесть Гершон и шурин — резник. Резник держал в руках посудину и подумали было, что это тещина чаша. Но когда он приблизился, увидели, что это кастрюля с углями. У раввина из кармана торчал рог. Гершон немедленно приказал собравшимся расступиться, дать дорогу. За ним следовал Иоэль-служка в торжественном облачении, он же был пилицким могильщиком. Гершон заговорил громко, хозяйским тоном:

— Женщины, впустите раввина. Пришли изгонять дыбук!..

— Нельзя войти! — ответил кто-то изнутри.

— Мы не можем стоять и ждать!

— Это не дыбук, не дыбук! — проговорил Яков.

Гершон и Яков друг с другом не разговаривали. Но тут Гершон спросил:

— Что же это?

— Оставьте ее в покое!..

— Евреи! В нее вселился злой дух, и нельзя допустить, чтобы она осрамила всю общину! — обратился Гершон к толпе. — Пришел к нам этот училишка и сделался важным хозяином. А теперь в его жену засел бес. Из-за таких вот все напасти!

— Раньше необходимо принять ребенка! — заявила одна из женщин.

— А, может быть, она беременна вовсе не младенцем? — спросила другая. — Бывает, что дыбук вселяется в чрево...

— Я сама видела головку...

— Бесы тоже с головами.

— Бесы с волосами.

— Нет!..

— Если ребенок останется у нее внутри, весь город в опасности! — предупредил раввин.

— Может быть, можно трубить в рог здесь? — спросил Иоэль.

— Сначала надо его освятить, — заключил раввин.

Сразу стало тихо, только и слышно было, как кричат петухи. В каждом доме были петухи, с помощью которых добывают искупление в канун Судного дня.

Один петух закукарекал, и другие стали ему отвечать. Было в этом что-то таинственное, напоминающее, что сейчас — дни покаяния. Словно домашняя птица знала, что ее ожидает и переговаривалась между собой на петушином языке. Залаяли собаки, дежурившие у мясных лавок. С полей и болот повеяло теплым дыханием и стало жарко и душно, как в середине лета. Яков заслонил лицо обеими руками.

— Отец на небесах, спаси её!...

5.

— Ничего не стану говорить! — решил Яков. — Теперь, когда она заговорила, я должен онеметь... — Он стоял с замкнутыми устами, готовый выдержать испытание до конца. Он прекрасно понимал, что бы ни было — добром это не может кончиться. Сарра совсем плоха, она при смерти и выдала тайну, которую они оба все время хранили. Повидимому она лишилась рассудка. Он мог лишь одно — молить Бога о чуде. Но даже для этого губы его не разжимались. Ему было ясно, что приговор утвержден. Небеса желают, чтобы он и Сарра погибли. Наверное и ребенок обречен. Помолюсь-ка я перед смертью, — сказал он себе и зашевелил губами: "ошамну, богадну, гозалну..."* К нему обращались, он слышал отдельные слова, но не понимал их смысла. Перед глазами растянулся мрак. Уши были будто полны воды. Сарра некоторое время кричала, потом перестала. Но она еще повидимому жила, так как возобновились разговоры о том, что надо изгнать дыбука. Мужчины и женщины спорили между собой. Мужчины хотели проникнуть в дом, но женщины не пускали. Теперь распоряжались они. Порешили на том, что мужчины останутся стоять за дверь. Раввин стал произносить угрозы в адрес дыбука и велел ему выйти вон, но от Сарры не исходило ни звука. Раввин приказал трубить в рог, и Яков услышал среди ночи трубный глас. Кто-то, наверное, дал знать помещику, что здесь происходит (возможно, Гершон послал ясно-

* "Мы виноваты, мы предавали, мы грабили" — первые слова покаянной молитвы.

вельможному донесение), потому что вдруг примчалась его коляска. Двое холопов несли впереди факелы. Все это напоминало войну, резню или пуще того — злых ангелов из преисподней. Помещик соскочил с коляски и спросил:

— Что тут происходит, еврейчики? Дьявол взялся за вас?

— Ясновельможный, нечистая сила вселилась в жену Якова, — и кричала из нее, — доложил кто-то.

— Где она? Я не слышу крика.

— Она рожает. Были крики. Вот Яков...

Помещик взглянул на Якова.

— Что это с твоей женой? Она снова заговорила?

— Ничего не знаю, ясновельможный. Ничего уже я не знаю...

— Все ясно. Она так же нема, как я слеп. Я с ней поговорю!

— Ваша милость, нельзя к ней! Мужчине нельзя! — закричали женщины.

— Все равно я войду!

— Прикройте её! Прикройте...

Некоторое время Яков ничего не слышал. Помещик обращался к роженице, но та не отвечала, будучи в забытьи. Женщины вокруг притихли. Молодухи уже порасходились по домам, чтобы лечь спать или накормить грудью младенцев. Часть пожилых ушла в синагогу каяться. Раввин тоже уже удалился. Гершон стоял во дворе, опершись о дерево, и казалось, он спит стоя. Но когда подъехал помещик, он снял шапку и сделал такое движение, словно собирался подбежать и поцеловать руку. Но помещик отвернулся, да и нельзя было сказать, заметил ли он его при свете факелов.

Это была уже вторая ночь, как Яков не спал. И хотя глаза его были открыты, что-то в нем от усталости и отчаяния задремало. У него было сражение с Богом, как и у Первого Иакова, но тот отделался вывихом бедра, а его, Якова — сына Элиезера — небесные силы вырвали с корнем. Но он не испытывал никакого страха, даже страха перед адом. Да свершится воля Божия! Значит, я лучшего не заслужил. Он жил с дочерью Яна Бжика. Он обратил ее в еврейскую веру не по закону.

На что он мог надеяться? На то, что на небесах ему простят? Сейчас, когда уничтожены невинные и праведники, когда грудные младенцы, которые понятия не имеют о грехе, истреблены? Нет, время милости миновало. Наступил час расплаты... Вдруг Яков услышал стон Сарры:

— Оставь меня в покое, ясновельможный, дай мне спокойно умереть...

— Значит, ты не немая! Ты никогда и не была немой. Ты и твой муж разыгрывали комедию...

— Это злой дух, пан помещик, это злой дух, — вмешалась одна из женщин.

— Молчи! Я тоже знаю, что такое злой дух! — возвысил голос помещик. — Когда он вселяется в бабу, то говорит дьявольским голосом, а не говорит обыкновенным, своим. Точно так же она кричала в тот день, когда подумала, что я хочу причинить зло ее мужу. Как тебя зовут? Сарра?

— Дай мне умереть, ясновельможный, дай умереть...

— Умрешь, умрешь, когда дух из тебя выйдет. Я его не стану задерживать. Но покуда ты жива, скажи, зачем ты притворялась немой?

— Я уже ничего не могу сказать...

— Если ты не скажешь, скажет твой муж. Мы ему станем лить горячее масло на голову, а от этого делаются словоохотливей...

— Пан помещик, что ты от меня хочешь? У тебя нет сострадания даже к умирающей?

— Скажи перед смертью правду. Не уходи с ложью на тот свет.

— Правда в том, что я его любила и люблю, ни о чем я не жалею, ясновельможный, ни о чем.

— Кто ты такая? Твой польский язык не еврейки, а крестьянки с гор.

— Я еврейка, пан помещик. Бог Якова — это мой Бог. Где раввин? Я хочу исповедаться. Где Яков, Яков, где ты?

Яков вошел.

— Вот это Яков, мой муж. Почему ты ничего не ешь? Почему вы ему не даете есть? Покуда жив, надо есть. Не будь таким бледным, Яков, и таким испуган-

ным, я буду сидеть на небе среди ангелов и поглядывать на тебя вниз. Я буду наблюдать. Я не позволю причинить тебе зло. Я буду петь с ангелами и просить за тебя Бога...

Роженица все это говорила по-польски. Слова она выговаривала не то со стоном, не то с напевом. Женщины были поражены. Не то и не так говорит еврейка. Всем пришло на ум одно и то же: она не похожа на еврейку. Вздернутый нос, высокие скулы, из-под опухших губ выглядывали белые зубы, сильные и острые, такие у еврейки редко увидишь. Помещик спросил:

— Откуда ты родом? С гор?

— У меня никогошеньки нет, ясновельможный. Ни татули, ни мамули, ни братьев, ни сестер. Я их вычеркнула из своей памяти. Татуля мой был хороший, и если он на небе, я его там встречу. Помните все: не делайте зла моему Якову. Можете дать ему жену, когда меня больше не будет, но не терзайте его разговорами. Я буду его охранять, охранять... Я перед Богом преклоню колена и стану молить о его здоровье...

— По рождению ты христианка, да?

— Я родилась тогда, когда Яков взял меня под свою защиту.

— Ну, все ясно.

— Что ясно, ваша милость? Ясно, что я умираю и беру с собой в могилу дитя. А я надеялась, что Бог жалует мне сына, и я проживу несколько славных лет с моим мужем... Вдруг роженица запела. Это была не то песня, не то жалоба. Яков знал ее. Он часто ее слышал на горе. В ней рассказывалось про сиротинушку, попавшую к лесному духу и, как тот увел ее в пещеру к дракону и отдал ему в жены. Дракон мучил ее своей любовью. Она тосковала по горам, по своему возлюбленному. Роженица была, очевидно, не в своем уме. Она лежала с опухшим лицом, с полузакрытыми глазами, без чепца и хриплым голосом напевала деревенскую песню. Помещик стал креститься. Женщины ломали руки. Сарра замолкла и некоторое время оставалась в оцепенении, углубленная в неземные видения. Вскоре она снова запела.

В глазах у Якова помутилось. Он видел все, как сквозь пелену. Ему пришли на ум слова из Пиркей Авот: "Тот, кто оскорбляет Божье имя втайне, наказывается открыто". Он хотел приблизиться к Сарре, стереть пот с ее лба, утешить, но ноги его стали словно деревянными, и его охватило никогда ранее ему неведомое бессилие. Помещик взял Якова за локоть и вывел во двор.

— Удирай, --- доверительно проговорил он, — иначе священники сожгут тебя... И они будут правы...

— Как я могу бежать, когда она в таком состоянии?

— Она вот-вот будет мертва. Мне жаль тебя, еврей, поэтому я тебя предупреждаю...

Помещик сел в карету и уехал. Наступил сумрак, предшествующий восходу солнца.

Глава одиннадцатая

1.

Младенец появился на свет на другой день. Это был мальчик. Он родился с криком чересчур пронзительным для новорожденного. Череп его был покрыт волосами. Роженица была в бесчувственном состоянии, и за ним наблюдали женщины. Одна из них, у которой был избыток молока, кормила его грудью. Это был канун Йом Кипура, когда евреи заняты приготовлениями к празднику. Все же Гершон созвал старейшин общины. О чем они между собой совещались, осталось неизвестным, но раввин распорядился, чтобы мальчики не ходили к роженице читать положенную в таких случаях молитву, чтобы никто из мужей города не пошел в субботу после Йом Кипура поздравить с новорожденным. Мало того! Он предупредил своего шурина — резника, который был также и меилом*, чтобы ребенка пока не обрезали. Простые люди переполошились, они не поняли решения раввина и сделали вывод, что во всем виноват Гершон, — он настрогал зятя. Но более просвещенные разъясняли, что ребенок считается по матери. Ясно, что Сарра гоя. Даже имя ее Сарра показывало, что муж считает ее обращенной в еврейство. Но какой закон в Польше разрешает обратить в еврейство иноверку? Со стороны властей грозит за это смертная казнь. И как может община принять новообращенную? За одно это могут покарать всю общину. Не приведи Господь, какие напасти и беды могут произойти. Гершон кричал в синагоге, что этот Яков зыдал гою за еврейку потому, что потворствовал своей похоти и требовал, чтобы Якова предали анафеме и выгнали из Пилицы на подводе, запряженной волами. Даже те, которые раньше были на стороне Якова, теперь считали, что Гершон прав. Гер-

* Меил — лицо, совершающее обряд обрезания.

шон сам не посмел пойти к помещику, а послал к нему ходатая, который должен был объяснить происшедшее и обелить евреев Пилицы.

Прошел еще день. Был уже канун Йом Кипура. Сарра еще все лежала без сознания. По закону страны полагалась смертная казнь и ей и Якову. И женщины больше не желали навещать их. Лишь одна старая еврейка несколько раз приходила узнавать о состоянии роженицы. Она принесла ей мисочку бульона, но когда больной влили первую ложку в рот, она тут же выплюнула. Накануне Йом Кипура благим делом считается есть, но у Якова не было ни еды, ни желания дотронуться до чего-нибудь съестного. Он сидел у постели Сарры и читал псалмы. У него не было ни петуха, ни курицы для свершения обряда капорес. Женщина, та, что кормила младенца грудью, звала его к себе, но Яков не мог пойти взглянуть на дитя — некому было остаться возле Сарры. Да и неизвестно, пустили ли бы его в дом. Хотя его еще не предали анафеме, но дела это не меняло. Яков заметил, что теперь избегали проходить мимо его жилища. Неизмерима была его вина перед страной, общиной и Всевышним. Ему даже со-вестно было читать псалмы. Как он может своими устами произносить святыя слова? И может ли быть услышана мольба такого, как он? Воздаяние пришло полной мерой. Не сегодня, завтра его могут сжечь на костре.

Так, сидя за псалмами и глядя на больную с ее стеклянным взором, бледным носом и белыми губами, он подводил итог. Всех его родных и близких убивали. Сам он пять лет был рабом у Яна Бжика, ночевал в хлеву среди коров, на гумне, где кишело мышами. Правда, ему нравилась дочь Яна Бжика и он хотел, чтобы она стала его женой, но разве царь Давид, автор этих псалмов, не возжелал Вирсавии? Если уж на то пошло, царь Давид совершил более тяжкий грех. Но раз Бог простил Давида, почему бы Ему не простить Якова? Ведь Яков никого не посылал на гибель...

Яков знал, что подобный образ мыслей — это уже само по себе --- тяжкий грех. Талмуд говорит:

"Кто считает, что Давид согрешил, заблуждается". Якобы Ури дал жене развод перед тем, как идти на войну. Талмуд, Мидраш искали оправданий для древних. Но одно ясно: великие мужи также испытывали вожделение к плоти. Они брали в жены нееврейских женщин. Сам Моисей взял негритянку, и Мириам покрылась прыщами за то, что злословила о нем. Иегуда, чьим именем называются все евреи, жил с блудницей. (Такова была Божия воля). Такой мудрец и праведник, как царь Соломон, женился на дочери фараона, и все же "Песня Песней" и "Мишлей" священны у евреев. А современные евреи... Разве они следуют всем заповедям Торы? За несколько лет скитаний с Саррой в его душе накопились обиды. Он увидел несправедливости, которые прежде старался не замечать. Люди нагромоздили горы всяких строгостей и ограничений, но оставались мелкими и суетными. Те, у кого была власть, держали все и всех в своих руках. Ненависть, зависть, недоброжелательство ни на мгновение не утихали. Накануне Йом Кипура приходят мириться, а на исходе Йом Кипура возобновляется грызня. Не за это ли наказывает Бог евреев и посылает на них всяких Хмельницких? Не из-за этого ли так долго длится галут, и не приходит Мессия?

Яков окунул палец в воду и смочил Сарре губы. Он пощупал ей лоб, наклонился над нею, что-то нашептывая. Она лежала, словно углубившись в раздумья, не связанные этой жизнью. Якову почудилось, что ей уже отвечают на те вопросы, на которые живые ответа не получают. Казалось, что Сарра, там наверху, спорит, переспрашивает, убеждает. Скулы ее шевелились. На висках подрагивали жилы. Порою на ее лице мелькало нечто похожее на улыбку, она как бы говорила: вот оно что! Ну, откуда я, дочь Яна Бжика, могла это знать? До такого не додумаешься даже за миллион лет...

Она чиста, она праведница. В тысячу раз лучше их! — кричало в Якове. — Никто ведь не был на небе и не знает, что Богу представляется самым ценным... Горе, страх, одиночество возбудили в нем непокорность. Он готов был восстать даже против Всевышнего. Ра-

зумеется, Он един, велик и всемогущ, но справедливость должна быть везде. Бог — это не какой-то там Гершон, который пресмыкается перед сильными и попирает слабых. Ну, а если гой, так что? Кто виноват, что он родился у этих родителей, а не у других? Разве возможен выбор в чреве матери? Если подобный мне должен жариться в аду, то нет справедливости даже на небе!...

Надвигались сумерки. Евреи уже шли к предвечерней молитве — в праздничных белых облачениях, в тисненых золотом головных уборах, в одних чулках или комнатных туфлях. Женщины вырядились в праздничные кофты, юбки и платки. В окнах зажглись поминальные свечи. Из всех домов доносился плач. Каждый в Пилице потерял во время резни кого-нибудь из близких. Только что Яков негодовал на этих евреев. Теперь его охватила жалость к ним. Замученный народ! Народ, который Бог избрал, чтобы излить на него все описанные в Торе наказания.

Старая еврейка, вдова старосты, открыла дверь. Она принесла Якову полкурицы для заговенья, халу и несколько кусков рыбы. Другие опасались приблизиться к нему. Но ей, старухе, больше нечего бояться. Она подошла к кровати больной и постояла некоторое время возле нее, подняла личико, высохшее, словно фи́га, желтое, как воск, испещренное морщинами, подобными древним письменам, покрывающим ветхий пергамент. Ее глаза глядели на Якова с материнским пониманием. Волосатый подбородок некоторое время подрагивал и, казалось, она не может произнести нужных слов. Затем она молвила:

— Ниспроси себе хороший год! Все еще может быть хорошо! У нас добрый Бог...

И старушка разразилась хриплым плачем.

Среди ночи больная открыла глаза. Губы ее зашевелились, и Яков услышал голос, который шел изда́лка через сдавленное горло. Якову почудилось, что голос этот был уже разлучен с телом. Он низко наклонился над Саррой. Она бормотала по-польски.

— Яков, уже Йом Кипур?

— Да, Сарра, Йом Кипур, сейчас ночь.

— Почему ты не в божнице?

— Когда ты выздоровеешь, я пойду в синагогу.

Больная снова сомкнула веки, как бы соображая. Казалось, она снова уснула. Но вдруг она открыла глаза и проговорила:

— Я сейчас умру.

— Что ты! Ты выздоровеешь.

— Нет, Яков, ноги мои уже мертвы.

Яков попытался заставить ее съесть немного бульона. Но зубы ее были сжаты, и бульон выливался. Она лежала, словно мертвая. Ни малейшего признака дыхания. Яков ломал руки. Последние дни и недели он столько просил Бога. Теперь у него иссякло желание молиться. Его охватило отчаяние. Не прислушались в небе к его мольбе. Перед ним заперли ворота милосердия. Он стоял, смотрел на больную и сознавал, что убил ее. Она жила бы теперь, здоровая и цветущая в своей деревне, если бы он не приблизил ее к себе. Каждый грех, как мал бы он ни был, кончается убийством. — думал Яков, — все равно, как если бы я взял нож и зарезал ее... Внутри него рыдали беспомощность и любовь — такая, какой до сих пор он не знал. С какой радостью умер бы он вместо нее! Он дал бы себя разрезать на куски ради одного ее волоска... В доме стоял полуночный мрак. Две свечи в ящике с песком бросали теневые сети. С головы больной упала косынка, волосы у нее были короткие, как у мальчика. Они были цвета соломы и огня. Яков не знал, что ему делать. Звать людей? Омрачить им праздник? Все равно никто не сможет помочь. Он присел на стул рядом с кроватью. Он больше ни о чем не думал. Внутри него было пусто и только кричало: "Ну, бей, Отец небесный, бей сколько хочешь, я готов принять на себя все муки. У него теперь было единственное желание — умереть вместе с ней. О ребенке он позабыл. Он хотел сойти в могилу, провалиться в бездну, в преисподнюю, откуда нет возврата... Вдруг больная снова открыла глаза. Теперь ее голос был ясным и близким, как у здоровой.

— Смотри, Яков, татуся...

Яков оглянулся.

— Что ты говоришь?

— Ты разве не видишь его? Вон он стоит!

И взор больной устремился к двери.

— Добрый вечер, татуся, — лепетала она. — Ты пришел за своей Вандой... не забыл своей любимой доченьки... Сейчас, татуся, я буду с тобой... Обожди, родненький, еще несколько минуточек.. Какой ты красивый, татуся, весь светишься...

Яков глядел по направлению к двери, но ничего не видел. Больная замолчала и глаза ее стали тонуть в орбитах. Они сделались маленькими, застывшими, будто слепыми. Яков говорил ей что-то, но она не отвечала и было ясно, что она не слышит. Но вот она вновь заговорила:

— Татуся... Иду, иду... Отныне мы будем всегда вместе...

— Сарра, ты еще будешь здоровой. Ты — мать ребенка! — произносил Яков слова, сам им не веря.

— Ты родила сына...

— Да.

— Ты должна жить ради него и ради меня.

— Нет, Яков.

Он еще говорил, но она более не отвечала, даже не открывала глаз. Она лежала, во власти такой сосредоточенности, какую не в силах нарушить слова. Внутри нее происходила какая-то работа. Якову показалось, что туда, куда она сейчас направлялась, тоже не легко добраться. Она с чем-то боролась, с кем-то пререкалась, спорила, время от времени испуская приглушенный вздох. Силы, не дающие обрести жизнь, не давали также и умереть. Какой-то неведомый обвинитель будоражил и мешал. Живой дух оправдывался перед ним. Остекляневшие глаза как бы молили: "Не могу больше... Я устала... Устала... Оставьте меня, наконец, в покое...". Яков хотел было, чтобы она сказала "Видой", — умерла со словами на устах: "Шма Исраэль", но было уже поздно. Конечно, не верилось, что Ян Бжик находится здесь в ночь Йом Кипура, но кто может знать тайны неба и земли? Яков снова и снова смотрел в сторону двери, а вдруг и ему удастся уловить образ Яна Бжика...

Вот так, сидя на стуле, Яков задремал. Голова его сникла, и сам он куда-то спустился, предавшись сладостному забвению. Внезапно он вздрогнул и встрепенулся. Взглянув на Сарру, он понял, что она мертва. За эти короткие мгновения лицо ее изменилось до неузнаваемости. Рот был полуоткрыт, и опущено одно веко. Борьба прекратилась, и потрескавшиеся опухшие губы как бы говорили: "все уже позади...". Мир снизошел на ее мертвое лицо, какое-то неземное всепрощение. Это больше не была больная, гонимая и терзаемая Сарра, которая рассорилась с евреями и христианами, потеряла дом, язык. То был покойник, который всем все простил, которому никто больше не может сделать ни зла, ни добра. Душа достигла далей и высот, куда ничто живое добраться не может, но тело было здесь. От Сарры веяло Божьей милостью, которая превыше всех благ. Якову казалось, что он удостоен лицезреть Божий образ, явившийся с неба, с престола Творца и небесной Его колесницы. Яков не плакал, но лицо его было мокрым. Он начал с вождения к плоти, со страсти к крестьянке-иноверке, а теперь, через девять лет, он стоял, склоненный над святыней.

Яков прекрасно понимал, что погребальное общество будет его мучить, наверное, откажется похоронить ее на еврейском кладбище. Со стороны христиан грозила ему еще большая опасность. Но все земное казалось ему ничтожным, когда он глядел на покой, который, подобно Божьей благодати, отражался на этом лице. Он чувствовал себя далеким от мирской суеты. Не полагалось этого делать, но он наклонился и поцеловал ее в лоб.

— Святая душа!

Дверь распахнулась, и вошло несколько мужчин и женщин из погребального общества. Высокий еврей, на котором были надеты штраймл*) и китл, воскликнул:

— Что он делает? Этого нельзя!...

*) Традиционный головной убор строго ортодоксального еврея.

— Он не в своем уме... — проговорил другой.

Женщина из общины поднесла к ноздрям покойницы перышко. Оно не шевельнулось.

3.

Не полагается на исходе Йом Кипур созывать общину, но Гершон все же созвал ее представителей, а также членов погребального общества. Собрались у раввина, в помещении для судебных дел. Сначала целый час пререкались. Потом служка пошел звать Якова. Яков сидел возле покойницы. Служка сменил его. Жена раввина принесла Якову пирог и сладкую водку, но он ни к чему не притронулся.

— У меня сейчас второй Йом Кипур.

— Это нехоршо, — возразил раввин. — Достаточно одного Йом Кипура.

Его заставили, и он съел ложку риса и запил водой. В лице его не было ни кровинки, и, когда он взялся за блюдо, рука дрожала, как у дряхлого старика. От Якова потребовали, чтобы он рассказал всю правду. Раввин пояснил:

— Дело не только в тебе, оно касается всей общины. Если мы поступим против их законов, мы все в опасности. Ты знаешь, что сделали с нами эти злодеи. Так скажи нам всю правду. Если ты совершил грех, не бойся нас. Теперь конец Йом Кипура, теперь все евреи чисты...

Уговаривать Якова было излишне. Он еще раньше решил рассказать правду. Он заговорил, и все притихли. Он поведал все; кто он такой, чей сын, чей зять, как его взяли в плен и продали Яну Бжику, как он сблизился с его дочерью, как евреи Юзефова выкупили его, как он вернулся в деревню, тоскуя по возлюбленной, и как она притворилась глухонемой, потому что не могла как следует научиться еврейскому языку.

В синагоге стояла такая тишина, что слышно было тикание стенных часов. Порою у кого-нибудь вырывался вздох. С тех пор, как начались погромы, слышались о разных разностях. Евреи становились христианами, магометанами. Еврейские девушки повы-

ходили замуж за казаков, татар, были проданы в гаремы в турецкие страны. Теряли и находили сокровища. Женщины, считавшие себя вдовами, вновь выходили замуж, после чего возвращались их прежние мужья. Набралось немало удивительных историй, достойных передачи из уст в уста и из поколения в поколение. Но такого, чтобы молодой человек, родовитый, знаток Талмуда, влюбился в деревенскую шиксу и обратил ее в еврейство наперекор еврейскому закону и общему положению — такого еще не слышали. Гершон вылупил свои желтые глаза, и они у него так и оставались все время на выкате. Временами у него начинали топорщиться усы. Он положил на стол кулак, который так и не разжимал до конца. Иные переглядывались, покачивали головой. Как только Яков умолк, Гершон закричал:

— Ты грязный отступник! Ты нечестивец!

— Евреи! Сейчас не время для нравоучений, — отозвался еврей с белой бородой.

— Если ты знаешь закон, то тебе должно быть ясно, что ребенок нееврейский, — обратился к Якову раввин с огорчением в голосе. — Поскольку мать перешла в еврейство без санкции общины, сын нееврей...

— Она соблюдала закон омовения и все другие еврейские законы.

— Этого недостаточно. Обращенного в еврейство надо еще принять. Кроме того, положение, существующее в государстве — это закон.

— Но ведь время чрезвычайное. Чем виноват младенец?

— Он выношен и рожден в греховности.

— Так быть ему неевреем?

— Возьми своего незаконнорожденного и уходи с ним куда хочешь! — закричал Гершон. — Мы не хотим отвечать головой за твою похоть.

— Как быть с покойницей? — спросил еврей с белой бородой.

— На кладбище ее похоронить нельзя...

Заспорили, поднялся шум. Яков немного посидел, потом поднялся и ушел. Он шел по улице медленным

шагом с опущенной головой. Он знал кто он: отрезанная ветвь, еврей, оторвавшийся от своего дерева. Его еще не предали анафеме, но он и без того был отвержен. Он хотел взглянуть на ребенка, но решил, что покойница важнее. За сутки, которые он возле нее провел, он многое передумал, подвел итог своей жизни и даже в некотором роде — жизни вообще... Нет, то, что выпало на его долю — это не просто наказание. Яков верил всей душой, что так суждено. Да, существует свобода выбора, но существует также предначертание. В небесах было решено, чтобы свершилось именно так. Яков знал истину: его гнала и толкала могучая сила. Он вовсе не знал дороги назад, из Юзефова в деревню. Ноги сами вели его. Еще прежде, чем Сарра забеременела, она как-то обронила, что умрет во время родов. Она говорила многое такое, что лишь нынешней ночью воскресло в его памяти. Не иначе — в ней было нечто от святой... Но кому скажешь о подобных вещах? Кто этому поверит?

Что же касается сути еврейства, Якову становилось все яснее, что она — в заповедях об отношении к ближнему. Но соблюдать законы о поведении в быту несравненно легче. У Гершона и ему подобных были две кухни, молочная и мясная. Они ели особую мацу и в то же время мошенничали, они оговаривали людей и употребляли архикошерное мясо; они завидовали, ненавидели, враждовали и при этом молились в особых тфилин, выискивали к празднику Суккот отборный этрог. Ангел-искуситель вместо того, чтобы соблазнить еврея попробовать кусочек свинины или сала, или подбить его в субботу зажечь огонь, стал искушать его теми грехами, склонность к которым глубоко коренится в человеческой природе.

Но что делать Якову, как быть? Стать моралистом? Ему, который сам изменил еврейской религии?...

Он отослал домой служку и снова сел возле покойницы. Она лежала на полу, ногами к двери, накрытая лапсердаком Якова. У изголовья, в ящике с песком, догорали остатки свечей. Прошлой ночью ему несколько раз мерещилось, что покойница шевелится.

В приступе безумной надежды он приоткрывал ее лицо — вдруг у нее только глубокий обморок. Но она все больше холодела, деревенела, изменялась, все больше удалялась от земли, на которой провела всего тридцать с чем-то лет. Яков пытался открыть ей глаза, но зрачки никуда не глядели. Даже прежнее выражение умиротворенности исчезло с ее лица. Она уже была где-то в ином мире. Душа полностью отделилась от тела. То, что осталось, было не более, чем мертвой оболочкой. Яков был не в состоянии долго задерживать взгляд на мертвой, и должен был накрыть ее. Он достал с полки молитвенник и снова принялся читать псалмы.

— "Спаси, меня, Боже, потому что вода грозит затопить душу... Боже! Ты знаешь безумие мое, и вина моя не сокрыта от тебя"...

4.

Среди ночи Яков услышал конский топот и сразу же понял, что это означает. Дверь распахнулась, и показалась голова драгуна в головном уборе с пером. Усы у драгуна были закручены. Увидев на полу труп, он на мгновение оторопел, а затем проговорил:

— Это ты тот самый Яков? Пойдем с нами!

— На кого мне оставить покойницу?

— Пошли. Есть приказ.

Яков склонился над мертвой, в последний раз открыл ее лицо. На какую-то долю секунды ему почудилось, что она улыбается ему неживой улыбкой. Он закрыл ей рот, но рот снова открылся. Зубы более не уместались в челюстях. Язык сделался черным и комковатым. Яков хотел с ней проститься, но не знал как. Он подумал, не взять ли ему с собой что-нибудь из одежды, но ничего не взял, прикрыл покойницу и проговорил:

— Ну, я иду.

Переступив порог, он вспомнил о талесе и тфилин и попросил солдата позволить ему вернуться взять священные принадлежности, но тот преградил ему дорогу. Луна, еще не полная, переместилась на другой край неба. Ночь была спокойной, прохладной. Ставни

домов были закрыты. Даже сверчки и лягушки молчали.

Рослый драгун сидел верхом на лошади, а другую держал за узду. Якову показалось, что все это он когда-то уже пережил или видел во сне. Усеянное звездами небо низко нависало над ним. Яков хотел закричать, позвать евреев, просить их, чтобы они не оставили покойницу одну, но тут же его охватила какая-то нерешительность. Он дрожал не от страха, а от холода. Он вспомнил, что прошлой ночью откуда-то появилась мышь. Но в конце концов какая разница, кто поедает тело — мыши или черви?...

Солдат достал длинную цепь, одним ее концом связал Якову руки, другой прикрепил к чему-то, торчащему из седла. Второй драгун слез, чтобы помочь. Они возились с ним, как мясники с быком, которого ведут на бойню, при этом о чем-то разговаривая друг с другом. Только теперь Яков вспомнил о ребенке. Не будет у него ни матери, ни отца. Родился с горькой долей... Он хотел, было, попросить солдат, чтобы его проводили к женщине, взявшей ребенка, но заранее знал, что слова его будут впустую. Он протянул руки, предоставив делать с ними все, что угодно. Глаза его были прикованы к ставням окна, сквозь которые проникло мерцание свечей, горевших у изголовья умершей. Знает ли она, что происходит со мной сейчас? — спрашивал он себя — или же душа ее отлетела так далеко, что уже не имеет ничего общего с этим миром? Все его желания слились в одно — чтобы душа Сарры была с ним, провожала в тюрьму и на виселицу, и пришла за ним, когда он испустит последнее дыхание. Его, однако, терзало сомнение: как быть, если, как сказано у Экклезиаста, мертвые ничего не знают?... В таком случае даже смерть — насмешка...

Всадники ехали шагом, и Яков следовал за ними. Вскоре они очутились за городом, на дороге среди сжатых полей. Хотя Яков знал, что его ведут на смерть, он глубоко вдыхал прохладный воздух. Не одни сутки он просидел с больной, а затем — с покойной и обессилел от затхлого воздуха и бездействия. За годы рабства он отвык от телесной лени. Ноги жаж-

дали движения, руки требовали работы. Он шагал между двумя лошадьми, опасаясь как бы они не сбили его с ног, не раздавили боками. Впрочем, думал он, уж лучше такой конец, чем смерть от рук палачей. Яков хотел повторить про себя те главы из Псалмов, которые помнил, и думать о том, о чем надлежит думать человеку, идущему на смерть. Но солдаты отвлекали его своей болтовней. Они несли какую-то чушь про девицу по имени Катя. Один, тот, кто был выше — это он арестовал Якова — спросил:

— Как ты думаешь, Чеслав, скольких мужиков она уже переимела?

— Больше, чем волос у тебя на голове.

— Она родила уже разок. Говорит, что от родного брата.

— Можешь получить ее за полушку.

— А ведь у нее есть жених.

— Это все фокусы, брат ты мой, все фокусы. Один глазок улыбается тебе, а другой — твоему недругу. Она тебя всего исцелует, а как уйдешь, станет плевать и проклинать. А потом откроется священнику, что наступила на накрест лежавшие соломинки..

— Хорошо сказано! Последнее время она только и говорит что о замужестве.

— Почему бы и нет? Она станет твоей женой, — это ей и надо. Ты валяешься в казарме, а она делает, что ей нравится. Когда ты приходишь домой, она жалуется, что животик у нее болит и велит натереть себя скипидаром. С чужими они гуляют, а собственному мужу плачутся. Ежегодно она тебе рождает ребятенка, и он такой же твой, как я — твоя бабушка.

— Но на ком-нибудь надо ведь жениться.

— Зачем?

— Может, жениться на этой кобыле?

— Она была бы тебе более верной, чем Катя.

Как он так может говорить, когда только-что видел смерть? — поражался Яков. — Неужели они никогда не думают о смерти? Неужели они не знают, какой конец уготован человеку? Вот они ведут меня на виселицу, и им даже не придет в голову спросить — за что.

Говорившие, словно прочитав мысли Якова, замолчали. Лошади ступали медленно, шаг за шагом. Якова проняла дрожь. Потом неожиданно на него снизошло спокойствие, никогда доселе ему неведомое. Вот оно, небо. Такое же, как всегда, созданное тем же Творцом, который создал всадника, а также его лошадь, создавшего цепь — чтобы она была крепкой... Внезапно Якова осенила мысль, что ведь цепь можно разорвать! Где это сказано, что человек должен дать вести себя на убиение? Он весь внутренне преобразился и почувствовал сильное возбуждение. В нем пробудились сокровенные силы. Теперь он знал, что ему делать. Он даже готов был рассмеяться.

Тем временем луна скрылась. Яков приблизился к лошади Чеслава и изо всей силы пырнул ее локтем в живот, она испугалась и пустилась вскачь по направлению к кустам. Высокий драгун закричал, схватившись за саблю. Но тут Яков рванул цепь и вырвал ее вместе с куском седла. Лошадь метнулась в сторону и также поскакала прочь.

Яков пустился по полю с прытью, удивившей его самого. Поблизости не было подходящего места, чтобы спрятаться. Но драгунам, как видно, не захотелось преследовать его по кочковатой и колючей стерне. Вскоре стало тихо, и воцарилась тьма.

Необходимо добраться до леса, покуда не рассвело — подумал Яков, — но в каком направлении бежать? Он бежал наугад, отдав себя на произвол судьбы. За ним волочилась цепь. Он ощущал ее тяжесть на своих руках. И все же все это похоже было на сон, — он взял верх над сильными, порвал цепь рабства!

Но вот послышался лай собак — верная примета, что вблизи деревня. Он резко свернул в сторону. Не дамся! Не попадусь в ловушку! Глаза его искали что-то на земле. Вот он остановился, подобрал камень и ударил им по обрывку цепи у самого запястья. Затем выкопал пальцами ямку и закопал свалившуюся цепь, словно собака — кость. В полудремоте он сознавал, что находится в поле, но... вот каким-то образом очутился в Юзефове! С удивлением он узнал, что Гершон женился на вдове из Хрубичева. Возможно ли

это? Ведь жена Герсона не умерла. Разве не действует запрет многоженства? Пытаясь как-то разобраться во всем этом, Яков брел и брел. Земля и небо во мраке смешались. Он услышал пение и сразу понял, что голос этот наверняка не принадлежит ни одному живому существу, то был голос самой ночи. Что-то влажное и теплое хлынуло ему на лоб. Земля под его ногами словно заколыхалась. Он шел и у него подламывались ноги. Потом ему стало казаться, что они вовсе не имеют никакого отношения к его телу. Тут Яков увидел кроваво-красное, пылающее пятно. Клуб дыма, окруженный розовым ореолом, метнулся вверх. Как будто он приближался к горящей деревне. Он упал ничком, и в то же мгновение им овладел глубокий сон.

Когда Яков очнулся, был уже день. Среди голых полей клубились волны тумана. Громко каркая, пролетела ворона. Слева, у самого горизонта тянулся лес. Из-за него, как голова новорожденного младенца, подымалось солнце.

5.

Яков лежал в лесу и спал. Он сжимал в руке палку, которую подобрал по дороге, готовый защищаться от людей и зверей. Долгие ночи он бодрствовал. Сегодня осенний день выдался, слава Богу, теплый. Солнце просвечивало сквозь вершины сосен. Яков был погружен в тяжелый сон человека, который все потерял, которому не на что надеяться. Каждый раз, просыпаясь, он недоумевал: зачем я бежал? Куда? Но усталость брала свое. Во сне он снова был на горе, и Ванда приносила ему еду. Он стоял на краю обрыва и видел ее, идущую по долине, раздетую, словно королева в пурпурную парчу, с короной на голове. Молочные кувшины были из золота. Каким это образом? — спросил он ее. — Когда она успела стать королевой Польши, и где ее свита? И почему она ходит пешком, и зачем ей золотые кувшины? Наверное, ему это снится... Он проснулся. Лес оглашали птичьи голоса. Якова томил голод, но вскоре он снова заснул. Сегодня ее похороны! Сегодня ее закопают! — пронеслось в его мозгу. Наверное ее

похоронят на собачьем кладбище... Боль была слишком велика, чтобы продолжать думать. Он снова впал в сон, как в опьянение. Отец небесный! Не хочу я больше жить! — бормотал он, — Приведи меня к ней!...

...И вот он с ней. Но на этот раз она — и Ванда, и, в то же время, Сарра. Сарра-Ванда — так он ее называет. Снова все необычно. И как ни удивительно, но Юзефов и деревня в горах — это одно и то же. С ним Ванда. Он сидит в библиотеке зятя, а она принесла ему субботних плодов. Значит, вся эта история с резней и рабством — сон. И он принимается рассказывать Сарре-Ванде свой сон, но ее лицо делается мертвенно бледным и глаза — грустными.

— Нет, Яков, это не сон...

Как только она это произнесла, он уже знал, что она мертва. На него дохнуло могильным холодом.

— Что мне теперь делать?

— Не бойся, Яков...

— Куда мне идти?

— Возьми нашего ребенка и уходи с ним.

— Куда?

— На другую сторону Вислы.

— Хочу быть с тобой!

— Еще не время...

— Где ты?

Она улыбалась проясненной улыбкой и не отвечала. Он начал пробуждаться, и образ ее некоторое время стоял перед ним, светлый, обрамленный стволami, — словно картина. Он протянул к ней руки, и она исчезла. Да, это она, она! Я видел ее наяву! — мелькнуло у него в голове. Он помнил ее слова. Но как он может взять с собой новорожденного младенца, когда его преследуют злодеи? И как это возможно в это время года перейти Вислу?

Он снова заснул, и когда проснулся, солнце уже прорвалось красноватым светом сквозь скопище туч. Над вершинами сосен зажглось небесное пламя. Яков вспомнил, что сегодня еще не молился. Но он ведь только-что похоронил жену. Он не помнил, положено ли ему по закону сотворить вечернюю молитву. Он был голоден и стал шарить в траве. Здесь росли какие-

то ягоды. Он отрывал их и ел. Терн и колючки кололи руки. Он набил живот, но остался голодным.

Настал вечер. Лес наполнился голосами-шорохами, писками, бормотанием. Какая-то птица непрерывно издавала звуки, похожие на безумный смех. Другая повторяла одно и то же, словно пророк, не то предсказывая, не то предупреждая. На востоке появилась луна. Выпала роса, будто просеянная сквозь небесное решето. Мох испускал теплое благоухание, опьяняющее, как вино. У Якова болела голова. Он искал тропинку, выход, но тщетно. Со всех сторон обступили его кусты и деревья. На мгновение ему показалось, что неподалеку кто-то стоит. Яков, было, заговорил, но видение исчезло. Затем он услышал, как поблизости переговариваются. Что же это? Я уже в руках у бесов? — подумал он, стал молиться и, уповая на Бога, продолжал путь.

Он чуть было не увяз в болоте, еле из него выбрался. Шишки падали, словно их швыряли невидимые руки. Он скользил по ворохам игл, лежащих здесь с прошлого года, а быть может — накопленных за десятилетия. Невозможно было представить себе, что здесь, в дремучем лесу, за каждой травинкой, за каждым червячком, за каждой птичкой наблюдает провидение. И хотя каждое живое создание издавало свой звук, весь лес говорил одним голосом. Яков устал и опустился под деревом на мшистую подушку. Силы его иссякли, и земля, на которой он сидел, сделалась ему дорогой и близкой. Могила — это постель — промелькнула у него мысль, — мягчайшая постель... Знай это человек, он бы так не страшился.

6.

Яков шел песчаными холмами, и луна следовала за ним. Песок ложился складками, как в пустыне. Там и сам он отсвечивал белизной мела. Чем ниже Яков спускался, тем шире становилась река. Она простиралась огромным зеркалом. Вначале Яков сам не знал, зачем он идет к ней, но потом почувствовал жажду. Ведь он со вчерашнего дня глотка воды не имел во рту. Подойдя к краю берега, он наклонился и пригоршнями зачерпнул воды. Ему вспомнилось место в Библии о

судьях, где рассказывается про Гидеона. Некоторое время он сидел, отдыхая. Дул прохладный ветерок. Сетчатые тени ложились на поверхность воды, словно невидимый рыбак ловил невидимую рыбу. Звезды с неба падали в реку. Где-то далеко зажглись огоньки. Яков ни о чем не думал, — мысли сами проносились в его голове. Его снова стало клонить ко сну. Однако, что-то заставило его стряхнуть с себя дремоту. Он превозмог усталость и поднялся. Взобравшись на груды камней, огляделся вокруг. Вдалеке увидел что-то похожее то ли на судно, то ли на баржу, то ли на водяную мельницу. Он пошел туда. Чем дальше он шел, тем яснее вырисовывалось очертание того, что оказалось не судном и не мельницей, а паромом, прикрепленным канатами к столбам. Яков увидел также сторожку и собачью конуру. Когда он стал приближаться, ему навстречу выскочил пес и залился лаем. Из сторожки вышел маленький человечек, чернявый, похожий на цыгана, босой, полуголый, в штанах, закатанных до колен. Волосы у него были длинные и курчавые. Зычным голосом он накричал на собаку и стал знаками подзывать Якова. Когда Яков подошел, он сказал:

— Ночью паром на причале.

--- А куда он везет?

— Как это, куда? К противоположному берегу.

--- Там есть город?

--- Есть. Неподалеку.

--- Как он называется?

Человек назвал город.

Яков молчал покуда тот не спросил его.

— Ты еврей?

--- Да, еврей.

--- Где твои вещи?

--- У меня нет вещей.

--- Небось нищий? Где твоя сума?

--- У меня ничего нет кроме этой палки...

--- Что ж, бывает. Я на своем веку видел всякое.

У одних есть слишком много, у других — ни шиша. Что случилось? Тебя ограбил разбойник?

— Я не боюсь никакого разбойника, — ответил Яков, сам удивляясь своим словам.

— Да чего уж нашему брату бояться? Кроме дра-ных штанов ничего у тебя не возьмешь. Все же я дол-жен держать пса и даже копые. Есть молодчики, гото-вые перерезать веревку и увести паром. Хотя, куда убежишь с паромом? Намедни тут у одной бабы гусь сиганул в воду, а она собралась было за ним. Двое мужчин еле удержали ее. Гуся мы после выловили. Спрашиваю тетку: плавать-то ты умеешь? А она: — нет! — Что ж ты, говорю, в воду лезла? — А гусь-то мой! — отвечает... Откуда путь держишь?

— Из Юзефова.

— Где это, Юзефов? Небось далеко отсюда?

— Да.

— Ездят туда, сюда... Даже королям на месте не сидится. Все они уже перебывали здесь: швед, мос-каль, Хмельницкий и кого только не было! Кто меч или нож в руках держать умеет, предпочитает нажи-ваться на грабеже... Но кто-то ведь должен работать! А то всем придется зубы на полку положить. Я чело-век маленький, но у меня во лбу гляделки есть, и они все видят. Времени у меня достаточно, и в моей башке варятся разные мысли. Ты, небось, голоден?

— Мне нечем платить.

— Кусок хлеба причитается каждому. Даже аре-станты в тюрьме получают единожды в день хлеб с во-дой. Обожди!

Незнакомец скрылся в сторожке и вскоре возвра-тился с краюхой хлеба и с яблоком.

— На, ешь.

— Не найдется ли здесь ковш, чтобы вымыть ру-ки?

— Вымыть руки? Сейчас...

Он принес кувшин. Яков вымыл руки и вытер их полой. Затем он произнес благословение над хлебом и стал есть. Он сказал:

— Я должен поблагодарить вас, но прежде надо благодарить Бога.

— Никого не надо благодарить — ни меня, ни Бога. Есть у меня хлеб, я даю. Не было бы, стал бы побираться. У Бога все имеется. Но дает он богатым, а не бедным.

— Есевышний решает, кому быть богатым.

— А, может, нет Бога? Ты что, был на небе и видел его? Тут как-то проходил помещик, так он сказал, что Бога нет.

— Какой помещик?

— Рехнутый, но говорил дельно. Так, мол, и так. Ничего не известно. В Индии поклоняются змее. Евреи, которые переправляются на пароме, нацепляют черные коробочки на голову и закутываются в шали. Но когда сюда пришел Хмельницкий со своими казаками, он всех евреев передушил. Столько побросали их во все реки, что трупы доплывали до Вислы. Вода смердела. Никакой Бог не помог им.

— Злодеи несут наказание.

— Где там! Был такой помещик в Парчеве, та еще каналия, так он сотни мужиков до смерти заперол, а прожил девяносто восемь лет. И вот, крестьяне подождли его замок, и казалось, что все пойдет прахом, так нет же! Хлынул проливной дождь и потушил пожар. Он испил стакан вина и скончался в одно мгновение. А я говорю: черви всех поедят — плохих и хороших.

-- Почему, вот, вы дали мне хлеба?

— Просто так. Не в обиду тебе будь сказано, но, когда я вижу голодное животное, я его тоже кормлю.

7.

Паромщик пригласил Якова в сторожку. Он указал ему место на полу, дав под голову соломенную подушку. Сам он улегся на скамью. Затем Вацлав — так звали паромщика — пустился в рассуждения.

— За свою жизнь я усвоил одно: ни к чему нельзя привязываться. Если у тебя есть корова, ты раб своей коровы. Если у тебя есть лошадь, ты раб своей лошади. Если у тебя жена, ты ее раб, раб ее матери и ее пригульных детей. У помещиков много рабов, но сами они тоже в рабстве. Возьми, к примеру, помещика Пилицкого. Все годы он боялся, как бы его не ограбили. Но никого столько не грабили, сколько его. Когда он женился на своей Терезе, он ревновал ее. Достаточно было ей взглянуть на какого-нибудь помещика, как Пилицкий вызывал того на дуэль. Но вскоре выяснилось,

что она последняя потаскуха по эту сторону Вислы. Она вывалялась во всех мусорных ямах и даже с жеребцом совокуплялась. О кучере и говорить нечего. Она довела помещика до того, что тот сам стал поставлять ей любовников. Вот это и есть раб. Все это я наблюдал и слышал от других, после чего сказал себе: нет, Вацлав, ты не будешь рабом! Я не мужик. Я родом из дворян. Кем был мой отец, я не знаю и знать не хочу. Но мать моя из порядочного дома. Меня хотели сделать сапожником и дать в жены дочь сапожника — с приданным и всем, что положено, но, когда я увидел эту девку с ее матушкой, бабушкой и сестрами, я взял ноги в руки и пустился наутек. Здесь у переправы я — вольная птица. Могу себе размышлять, сколько влезет. Дважды на дню собираются пассажиры, и я делаю свое дело. Но в остальное время меня оставляют в покое. Я даже не хожу по воскресеньям в церковь. Что хочет ксендз? Он тоже норовит надеть тебе на шею ярмо.

Яков некоторое время, молча, думал.

— Быть совершенно свободным человек не может.

— Но почему?

— Кто-то ведь должен пахать, сеять, жать, кто-нибудь да должен носить ребенка, родить его и воспитать.

— Пускай это делают другие, не я.

— Женщина выносила вас, родила, воспитала.

— Я ее не просил об этом. Ей хотелось спать с мужчиной. Вот и все.

— Но когда уже есть ребенок, надо его кормить, одевать, учить, а не то вырастет дикий зверь.

— Пускай растет, что угодно.

Вацлав присвистнул. Вскоре он захрапел. Яков сквозь дрему думал. Да, это правда. Человека норовят запрячь. Любая страсть — это нить в той веревке, которую человек сам себе вешает на шею. Мудрецы же сказали: "Чем больше у тебя ценностей, тем больше забот". Но мудрецы также сказали: "Свободен лишь тот, кто учит Тору".

...Яков заснул, проснулся, снова задремал и снова с дрожью пробудился. Что ему делать? Уйти и оставить

ребенка на произвол судьбы? И куда ему идти? Что ему на чужбине делать? Снова жениться? Снова начать все сначала? Нет. Достаточно двух жен. У него уже две жены и трое детей на кладбище. Он уже больше там, чем здесь... С Вислы веяло прохладным ветром. Яков как бы укутался в собственное тепло. Нос его сонно сопел, но мозг бодрствовал. Долго лежать здесь он не может. Скоро начнут собираться те, кому надо на ту сторону реки. Среди них могут быть солдаты, которых послали, чтобы поймать его. Ему надо будет держаться в стороне, быть невидимкой... Уж не лучше ли, чтобы его повесили?...

Долгое время спал он тяжелым сном. Когда открыл глаза, светило солнце. Над ним стоял Вацлав.

— Ничего себе поспал!

— Я очень устал.

— Спи. Нет ничего лучше сна. Если появится непрощенный гость, я дам тебе знать.

— Почему ты так заботаешься?

— Твоя голова, небось, стоит недешево... — И Вацлав подмигнул.

Когда Вацлав, затворив за собой дверь, вышел, Яков услышал шум проезжающих подвод. Наверное здесь пески прорезала дорога. Доносились людские голоса, запахи конского навоза, дегтя, колбасы. Каждый раз, когда проезжала телега, будка так и ходила ходуном. Паром должен был начать работать лишь в десять часов, но собираться стали намного раньше. Яков сел. — Святая душа, где ты сейчас? — бормотал он. — Тело твое наверное уже схоронили на собачьем кладбище...

Он стал думать о ребенке — его и Сарры, внуке реб Элизера из Замостья и Яна Бжика. Ведь праотец наш Яков также воспитал внуков от Авраама и Лавана. У Всевышнего, видать, не существует предпочтения. Он благословляет каждую букашку, каждый листок, каждую былинку... Небесная мельница мелет таким образом, что даже из отрубей выходит первосортная мука...

У Якова не было воды для омовения рук, но он произнес утреннюю молитву, которую можно произ-

носить до омовения. Он поднялся и сквозь щель в стене стал смотреть на улицу. Там было что-то вроде ярмарки -- телеги, мужики, быки, свиньи, телята. На пароме Яков увидел нечто необычное. Возле мешка стоял маленький человечек в талесе и тфилин. Лица Яков не видел, так как молящийся обратил его к Востоку. На нем был белый капот, который в здешних краях не носят, на ногах сандалии и белые чулки. Сам талес и его кайма также отличались от обычных. Человек этот клал поклоны, наклоняясь низко-низко, чуть ли не касаясь головой земли. Но вот он повернул голову. Белая борода его доходила до самого пояса. Яков не мог более оставаться в будке.

8.

Яков подождал, пока незнакомец кончит молиться, потом вышел и приветствовал его. К этому времени, молившийся уже надел шапку, каких в Польше не увидишь. Нечто вроде абаи или сурды, которую носят посланцы из Эрец-Исраэль и евреи, иногда прибывающие сюда из Египта, Йемена или Суз — города престольного. Яков боялся, что тот говорит только на древнееврейском, но услышал еврейскую речь:

— Вы еврей, да? Здесь полно гоев. Но я привык молиться с восходом солнца.

— Вы, наверное, посланец из Эрец-Исраэль, приехали с целью сбора денег для ешибота?

— Да, я посланец. Нужда на израильской земле велика. В нынешнем году была засуха и впридачу еще напала саранча. Когда сами арабы мучаются, то что остается говорить о евреях? Там просто голод. Даже воды для питья не хватает, — ведь у нас пьют дождевую воду. Приходится покупать воду мерками. Но евреи, рассеянные по свету, сердобольны. Протягиваешь руку, и они помогают.

— Когда вы возвращаетесь?

Я уже нахожусь по дороге домой. Мне еще надо посетить несколько общин, а затем я поеду в Констанцу и там сяду на пароход.

Как живет еврей в Эрец-Исраэль?

Посланец призадумался.

— Смотри кому. Есть и богачи. Но, в основном, там бедняки, и чего им не дашь, того у них нет. Мы слышали о резне здесь в Польше. Когда пришла весть об этом Хмельницком, да будь он трижды проклят, и о том, что здесь творят с евреями, у нас был настоящий Тише боев. Все бросились с мольбою к Стене плача и к священным могилам. Но отвести это бедствие было уже нельзя. Разве мы знаем о том, что творится на небе? С тех пор, как разрушен Храм, в мире все идет по букве закона. Однако имеются приметы, что приближается конец галута.

— Что за приметы?

— Долго рассказывать. Наши ученые, занимающиеся вычислениями в пророчестве Даниила высчитали, что в 5426 году придет избавление. У каббалистов имеются свои приметы. Не думайте, что они сидят сложа руки. Конечно, все находится в руках Всевышнего, но с помощью святых имен и приобщения к Богу можно многое сделать. Сидят праведники в белых одеяниях и вникают в тайны тайн. Вы знаток Талмуда?

— Я изучал.

— В каббалистические книги иногда заглядываете?

— Иногда.

— Так вот, все делается с помощью святых имен. В Талмуде сказано: каждая травинка имеет своего попечителя. А если так, то и избавление придет при помощи проникновения в божественное, путями каббалы. Целыми ночами евреи постятся, изучая каббалу, а на рассвете идут в поле и к могилам праведников. Древних уж нет в живых. Нет рабби Ицхака Лурья, реб Хаима Витала, этого религиозного фанатика, реб Шломо Алькабеца. Но еще имеются в Цфате кущи мира. Да и каждое время имеет своих мудрецов. Но при всем при том человек должен есть. Даже Ханина бен Доса нуждался в мерке рожков. Значит, евреи должны друг другу помогать. Как вас зовут?

— Яков.

— Пожертвуйте что-нибудь, реб Яков.

И посланец вытащил из кармана деревянную кружку для сбора денег. Яков почувствовал, как краска стыда залила ему лицо.

— Боюсь, вы мне не поверите, но у меня нет ни единой монетки.

Посланец сунул кружку обратно в карман.

— Я только что стал вдовцом. Мне следовало бы сидеть шиве.*

— Почему же вы не сидите?

— Я скрываюсь от преследования.

— Вот как? Ну раз так, тогда надо дать вам. Какая разница, где еврей страдает. У всех нас один Отец. Что с вами стряслось?

— Если вы хотите меня выслушать, зайдемте в сторожку. Я не хочу, чтобы меня видели.

— Давайте. Но там ведь, кажется, паромщик?

— Он мне уступил на время свое жилье.

Когда они вошли в сторожку, посланец уселся на скамью, сначала проверив, не лежит ли на ней что-нибудь из смеси шерсти и льна.** Он был такой низенький, что Яков должен был подложить ему под ноги чурку.

Яков прислонился к стене. Все, все рассказал он, ничего не утаил — с того дня, когда его пленили казаки, до той ночи, когда он сбежал от драгун.

Яков говорил, а посланец раскачивался. Он то и дело морщил лицо, кусал бороду, потирал лоб. Временами он хватался за пейсу, словно ища разрешения трудного вопроса. Чем дольше длился рассказ, тем беспокойнее становилось поведение посланца. То он разводил руками, то поднимал брови, то брался за бороду. Во взгляде его были грусть, жалость и изумление. Иногда у него вырывался вздох.

Когда Яков умолк, он заговорил не сразу. Заслонив лицо ладонями рук — маленьких, костлявых, обросших седыми волосками — он некоторое время оставался в таком положении. Губы его, наполовину прикрытые бородой и усами, что-то бормотали. Можно было подумать, что это молитва или заклинание. Затем он промолвил:

* Шиве — семь дней траура по умершему.

** Смесь шерсти и льна недопустима для религиозного еврея.

— Община права. Она осталась христианкой и сын ваш... Учитывается лишь материнская сторона. Так гласит закон. Но за законом стоит милосердие. Без милосердия не могло бы быть и закона...

— Да, да!

— Но как вы могли пойти на все это?! Впрочем, все уже позади.

— Я готов понести наказание.

— Да, это все — последствия разгрома, разрушения. Не спрашивайте, чего только я здесь не наглагоделся! Но вы ведь все же человек Торы.

— Иначе я не мог!

— Наверно, это действительно так. Каждая душа должна внести что-нибудь свое, иначе ее бы не послали сюда на землю. Сыновья Кетуры также сыновья Авраама.

— Что мне теперь делать?

— Вы обязаны спасти себя и спасти вашего ребенка. Прежде всего вы должны сделать ему обрезание. Когда он вырастет, его, возможно, надо будет по всем правилам обратить в еврейство. Надо взглянуть, что об этом говорит закон. Но пока что пусть он будет евреем. Где-то говорится о том, что перед тем как придет Мессия все благочестивые иноверцы перейдут в иудейство.

— Где это? Что-то не помню.

— Есть где-то в Мидраше, кажется. Какая разница? Я дам вам два злотых, а со временем, когда у вас появятся деньги, вы отдадите. Не обязательно мне, можно другому такому, как я. Не все ли равно? Деньги эти идут для Эрец Исраэль. То, что я сегодня очутился именно здесь — это неспроста. В сущности я должен был пробыть в городе до середины Суккот. Они хотели, чтобы я сказал еще одну проповедь. Я собрал бы тогда еще денег. Но вдруг я решил поехать. Вот так осуществляется воля небес.

Некоторое время мужчины молчали. Затем посланец заговорил первый.

— Если ее уже похоронили, вы должны сегодня молиться. Возьмите мой талес и тфилин. Я буду ждать вас с завтраком...

Глава двенадцатая

1.

Посланец отговаривал Якова вернуться в Пилицу. Он считал, что это опасно, собственная жизнь дороже всего. Кроме того, младенец еще так мал и слаб, что его нельзя трогать с места. К тому же сейчас канун Суккот. Праздник есть праздник. Посланец предложил Якову поехать с ним и провести вместе хотя бы праздник Торы. Но Яков заупрямился. Он еще даже не рассмотрел как следует своего ребенка. Якова тянуло к нему. Он также хотел побывать на могиле Сарры. Кто знает, где ее похоронили? Наверное, на собачьем кладбище. Ему было просто необходимо увидеть ее могилу, поговорить с ней через земляной холмик. Дома он оставил спрятанные деньги. Возможно, их не украли. Он не может вдруг заделаться попрошайкой.

За годы рабства и скитаний Яков привык преодолевать трудности. Его более не пугали дальние дороги, темные леса, звери, грабители. Даже страх перед бесами и призраками исчез. Он накопил силы, которые требовали применения. То, что он смог удрать от двух драгун, показывало, что королевство уже ная сила могущественное, как это кажется. Собственная сила слилась в представлении Якова с всемогуществом Бога. Злодеи не были бы так страшны, если бы перед ними не дрожали.

Яков слышал о времени бесчинств Хмельницкого такого, что вызывало у него чувство стыда. Несколько казаков, случилось, вели на убой целый кагал евреев, и никто не смел поднять руку на насильника. Евреи-кузнецы ковали мечи для помещиков, но евреям не приходило даже в голову, что они сами могут прибегнуть к оружию, когда на них нападают. Яков в Юзефове говорил об этом, но все только пожимали плечами. Меч — это для Исава, а не для Иако-

ва. Но разве можно дать губить себя? Среди вопросов, которые Ванда часто задавала Якову, был и вопрос о том, почему евреи не сопротивлялись. Ведь, судя по библейским историям, которые Яков ей рассказывал, евреи были героями... Яков не знал, что на это ответить.

Яков позавтракал с посланцем. Они ели хлеб, сыр, сливы. После некоторого колебания Яков взял два золотых, пообещав вернуть их при первой возможности. Посланец собирался провести в Польше еще несколько недель и сказал Якову, в каких городах и когда он будет.

Приготовления к отправке парома продолжались долго. Прибывали все новые пассажиры. К переправе готовили лошадей, коров, быков, даже овец. Среди криков мужиков, ржания, мычания и рева посланец беседовал с Яковом о том, как ему жить дальше. Поскольку вот-вот придет Мессия, зачем оставаться в Польше? Поселиться на земле израильской — это богоугодное дело. Евреи там первые пойдут навстречу Избавителю. Кроме того в восточных странах евреям дают возможность дышать. В Стамбуле, в Измире, в Дамаске, в Египте много богатых евреев. Ученость там в большом почете. Правда, и там бывают преследования и наветы, но о таких бедствиях, как здесь, в Польше, никто не слышал. И поскольку Яков уже провинился перед здешней церковью, а также евреи не без основания восстановлены против него, было бы хорошо, если бы он смог перевезти ребенка на израильскую землю и там поселиться. Ученые там получают содержание. Но если Яков захочет заняться торговлей или даже каким-нибудь ремеслом, он будет для этого иметь полную возможность. Конечно, трудно будет на пароходе с младенцем. Но после зимы, к лету, ребенок, Бог даст, уже не будет таким крошечным.

Посланец говорил намеками, по которым следовало бы догадаться, что Мессия уже здесь, на земле, в телесном образе, и что знатоки каббалы уже знают, кто он и когда объявится.

— На моих устах лежит печать. Умному достаточен намек...

Сказал он еще что-то, но в это время паром отчалил от берега. Сквозь шум Яков услышал:

— Мы еще доживем до часа избавления! Ждать осталось недолго!...

Яков стоял и смотрел, как паром удаляется. Среди пассажиров евреев не было видно, единственным был посланец с белой бородой, в белом капоте, в необычайном головном уборе. От него веяло Библией, Иерусалимом, сказаниями о Стене плача и гробнице Рахили. Кто знает, может он и есть Мессия? — пришло Якову на ум. Он стоял и ждал, покуда паром не пристал к противоположному берегу. В кармане он нащупал два злотых. На Якова ниспосланы были с неба неслыханные беды и великие утешения. Там, наверху, небесные силы играли с ним...

Яков глотал слезы, то и дело вспоминая Сарру. Он не был даже при ее погребении, не сказал даже кадиш на ее могиле. Глаза его сделались влажными. Он, Яков — ее убийца! Страсть — это разбойник. Страсть убивает! — кричало в нем. Он вернулся в каморку и сел на топчан. Ребенка мне нельзя потерять! — твердил он себе. — Я должен его вырастить! Он должен знать, кто была его мать и как она ушла из жизни...

Яков растянулся на рядне, накрылся рваным одеялом и задремал. Он лежал в забытии словно больной. Боль от того, что с ним произошло не ослабевала, а усиливалась. Лишь теперь он в полной мере ощутил свое горе, почувствовал, как велика его любовь к этой женщине, которая была по натуре так чиста, так праведна. Она была добра, умна, уступчива, набожна, без единой капли горечи. Даже во времена самой страшной нужды и опасности она никогда его ни в чем не упрекала, всегда была терпелива и полна любви к нему. — За что это ей, за что?! — спрашивал себя Яков. Столько женщин рожают благополучно, а ей надо было умереть. Яков мысленно сравнивал ее с праmaterью Рахилью, женой праотца Иакова, которая умерла по дороге в Евфрат. Самые любимые всегда

умирают рано... Так оно, наверное, было испокон веков...

Он было уснул, но тут же встрепенулся. Горе разбудило его. — Я был к ней недостаточно добр! — упрекал он себя. — Я не должен был допустить, чтобы она притворялась глухонемой и была вынуждена выслушивать от баб ругань и насмешки. Мне следовало уйти с ней на Восток или куда-нибудь еще. Когда она была беременна, я слишком много времени уделял аренде. Не раз ночью она просила поговорить с ней еще немного, рассказать что-нибудь из Библии и Талмуда. Но я хотел спать... Случалось даже и повздорить. Однажды, в пылу гнева, он обозвал ее "Бжикихой". Она тогда залилась слезами... О, горе, мы не умеем щадить тех, кого любим! — рыдало внутри Якова. — До нас это доходит лишь тогда, когда уже слишком поздно... — Если бы я хотя бы мог быть у ее могилы!... Дикая мысль пронеслась в его голове: выкопать из ямы ее тело и взять с собой... Он хотел смотреть еще и еще на ее лицо — даже на мертвое... У него была потребность говорить с ней, рассказать ей как велика его тоска. Посланец в разговоре между прочим сказал о том, что Якову надо будет жениться хотя бы для того, чтобы у ребенка была мать. Но от одной этой мысли у Якова по спине прошел холод и к горлу подступила тошнота. Он знал, что больше никогда не сможет приблизиться, пусть даже к самой прекрасной женщине...

Да, наступил час расплаты! Якову не пришлось дожидаться ада. Он уже сейчас жарился на раскаленных углях, лежал на шипах, падал из снега в огонь и из огня в снег. Ангелы зла уже полосовали его тело жгучими розгами. Ох, больно! — стонал Яков. — Так и надо, пусть болит!.. И его осенило, кем ему следует стать. Отшельником, который не ест мяса, не пьет вина, не спит на кровати. Он должен заплатить за свои грехи! Зимой окунаться в холодную воду, а летом валяться на жгучем и колючем, подставлять свое тело жаркому солнцу, отдавая его на съедение мухам и комарам. Всю свою жизнь с этого мгновения он посвятит покаянию. До последнего дыхания

будет замаливать свои грехи и молить о прощении у Бога и у святой души, которую он замучил... Больше ему ничего не осталось делать... Быть может такой образ жизни сократит его срок на постылой земле и он сможет скорей вернуться к той, перед которой так бесконечно виноват...

2.

Когда наступили сумерки, Яков вышел на дорогу, ведущую в Пилицу. Поздним вечером он был там. Ставни повсюду были уже закрыты. Городок спал. В небе сторожила почти полная луна, а подле нее дневным светом далекого мира сияла звезда. Пилицкие евреи уже построили кущи, покрыли их зелеными ветками. Изредка попадалась куща еще не покрытая валежником, а то и недостроенная. Яков шел, и за ним сбоку следовала его тень. В руке у него была дубовая палка, в кармане — нож, который дал ему паромщик Вацлав. Яков не собирался отдавать себя в руки драгунам или другим насильникам. Он готов был расправиться с тем, кто посягнет на его жизнь.

Миновав базар, он очутился возле дома, в котором умерла Сарра. В окнах было темным-темно. Значит, покойницу уже вынесли. Некоторое время Яков стоял перед дверью, охваченный мальчишеской робостью. У него было такое чувство, будто покойница находится в доме, — не тело ее и даже не душа, а нечто страшное, бесформенное, способное вызвать ужас даже у близкого человека. Он толкнул дверь, и она распахнулась. Комната при лунном освещении походила на сарай. Она была опустошена, забросана соломой, тряпьем. Как видно, труп обмывали тут же на месте. Унесено было все: одежда, вещи, даже горшки из печи. На кроватях валялись пустые сенники без прсстыней. На Якова дохнуло запахом гнилья и еще чего-то неприятного и удушающего. Точно мертвец, которого отсюда вынесли, был при жизни суровым, враждебным и оставил после себя лишь страх, от которого кровь стынет в жилах. Даже холод был здесь не осенний, а уже зимний. Что со мною происходит? Почему я ее боюсь? Она ведь мне ближе всего на

свете — упрекал себя Яков. Дверь он оставил открытой. Сердце его отчаянно колотилось, трудно было дышать.

Он стал шарить в сенике, но было ясно, что деньги, которые он там спрятал, вытащили. — Воры! Тут же после Йом Кипур! Наверное это сделали погребальщики... Среди всех переживаний Якова охватил гнев. Очистили дом. Ограбленные сами становятся грабителями. Хватай, кто что может. Мир хапуг! — кипело внутри него, — завтра вечером все они будут сидеть в кущах и приглашать в гости предков... Даже те несколько книг, которые были у него, исчезли. — Нагим явился я из чрева матери, нагим и остался...

Он вышел и поцеловал мезузу. — Будь свидетелем! — сказал он и зашагал по направлению к кладбищу. Еще издали он увидел могилу: свежий земляной холмик поодаль от остальных могил. Забора могильщики еще не успели поставить. В холм воткнута дощечка, на которой чернилами написано: "П. Н.* Сарра, дочь праотца Авраама".

Слезы заволокли глаза Якова. Здесь, чуть глубже лежала она, Ванда, Сарра — женщина, которую он так любил. Он хотел сказать кадиш, но у него сдавило горло и не получилось ни слова. Больше он ничего не видел. Луна, казалось, погасла и он сгибался, окутанный мраком. Он повалился, втиснул лицо в песок, касаясь лбом дощечки.

— Сарра, Сарра, где ты? — кричало внутри него. — Я здесь, возле тебя! Он выждал, словно надеялся услышать из земли ее голос. — Ах, если бы лежал здесь я, а она пришла бы на мою могилу! — думал он. Его снова охватило желание откопать ее, погрузить свои руки в песок, искать ее тело, еще раз коснуться ее плеча, ее головы, ее шеи. Нельзя! Нельзя, это — безумие! Это осквернение покойника! — сдерживал он себя. — Отец в небесах, не хочу подняться, пусть они положат меня рядом с ней... Он знал, что совершает грех, но призывал на себя смерть. Все

* П. Н. — По никбера (ивр.) — здесь похорнена.

в нем жаждало умереть. — Хватит скитаться по этой долине слез. Все мои близкие там, а не здесь... — Он позабыл о ребенке. Он лежал и ждал своего конца. На мгновение ему показалось, что силы его убывают. Ноги одеревенели. Мозг окаменел. Казалось, он погрузился в небытие.

Но вот он очнулся. Нет, его мольба не была услышана... Он встал и забормотал слова кадиша. Он водворил на место поваленную дощечку. Мертвая молчала. Наверное, заговорить было не в ее власти. А может, она даже не знает, что он здесь?...

Яков стяхнул с лица землю. Он пятился спиной, прощаясь с земляным холмиком. Он хотел, как это сделал праотец Яков, положить камень на могилу своей любимой жены. Но камней здесь не было. Он побрел в город.

Вот он поравнялся с молельным домом. Там горела свеча. Он отворил дверь и увидел старого еврея, сидящего над священной книгой. Яков знал его. Это был реб Тови, тесть Бецалела — торговца кожей. Из восьми детей у него осталась одна единственная — жена Бецалела. Он был родом из Калиша. Против света свечи лицо старика казалось землисто-черным. Борода его была темной и неопрятной. Капот задрался как платье на беременной женщине. У старика была грыжа. Каждые несколько недель у него вываливались внутренности. Умела вправлять их только одна еврейка — из благотворительниц. Ему приходилось соглашаться, чтобы женщина возилась с этим, и это было для него страшнее боли, вызываемой недугом. Теперь он сидел в ночи и учил Тору. — Уж он, конечно, не вор! — подумал Яков, — он расплачивается за грехи других. Воров меньшинство, а не большинство...

Яков стоял и смотрел на старика, но тот не оглянулся. Он был глух и к тому же почти слеп. Он так близко придвинул лицо к книге, что чуть ли не касался веками букв. От него исходило тихое бормотание — не то с напевом, не то с плачем. Если бы не такие как он, от евреев бы, наверное, ничего не осталось, — подумал Яков.

Яков помнил, кому отдали ребенка, но в ночной темноте трудно было отыскать домишко, в котором жила та молодая женщина. Ставни повсюду были закрыты. Якову показалось, что за несколько дней его отсутствия здесь произошла какая-то перемена. Притаившись, словно вор, он напряг слух в надежде услышать плачь ребенка. После некоторого колебания Яков, наконец, решился постучать в дверь. Ведь не мог же он слоняться здесь целую ночь. Он нажал на щеколду, и дверь отворилась. При свете луны он увидел две кровати и две колыбели. Мужчина пробормотал что-то, женщина проснулась, заплакал ребенок. Мужчина сердито спросил:

— Кто это там?

— Извините, это я, Яков, отец ребенка...

Наступила напряженная тишина. Даже ребенок перестал плакать.

— Боже мой! — воскликнула женщина.

— Вас выпустили из тюрьмы? — спросил мужчина.

— Я сбежал. Я пришел за ребенком.

Некоторое время все молчали. Потом женщина сказала:

— Горе мне, как вы возьмете среди ночи такую крошку? Малютку нельзя трогать. Любой ветерок и...

— У меня нет выхода. Я должен сейчас же уходить. Эти злодеи разыскивают меня...

— Засвети огонь! — сказала жена мужу. — Еще придерутся к нам. Поговаривают, что помсщик хочет забрать ребенка к себе... Упаси боже, чего только люди не творят!...

— Без разрешения общины я ребенка не отдам, — заявил мужчина. — Община дала его мне, и община пускай заберет. Я не обязан страдать из-за чужих детей...

— За труды я вам заплачу. Вот злотый.

— Речь идет не о трудах...

Женщина накинула на себя платье. Она подошла к печке и стала раздувать тлеющие угли, зажгла от них фитилек в плошке. Бледный свет упал на небе-

ленные стены и на закопченный потолок. На двух скамьях — мясной и молочной, стояли горшки и миски. В квашне, накрытой тряпьем, бродило тесто. Повсюду валялись пеленки, мочалки, стоял ушат с помями, а неподалеку, возле кроватей — ночной горшок. В одной из люлек лежал ребенок постарше — тот, который только что плакал. Теперь он снова уснул. Во второй люльке, накрытой грязной подушкой, Яков увидел своего сына, — крохотного человечка, красного, с большим черепом, без волос, с бледными веками. Древняя печаль покоилась на личике, усталость тяжело больного, как у матери перед агонией. Над бледным носиком, неоформившимся лбом, губами, которые чуть шевелились, витала тайна — неземная, подобная смерти... Якову стало жутко. Его душили слезы. Только теперь до него в полной мере дошло, что у него есть сын. Женщина встала по другую сторону люльки.

— Куда вы денетесь с таким птенцом?

— Все равно, что убить человека, — отозвался муж из постели. Он наполовину лежал, наполовину сидел, в запятнанном талес-котн*, в ермолке, покрытой перьями. На бороде и пейсах висели пушинки. В его черных глазах можно было прочесть мужскую разочарованность.

Яков прекрасно знал, что муж и жена правы, но он понимал также, что если не возьмет ребенка сейчас, он его больше никогда в глаза не увидит. Он вспомнил свой сон и слова Сарры и решил покончить с колебаниями.

— Я буду с ним осторожен. Ночь теплая...

— Не так уж тепло. Под утро свежеет...

— Не хочу своего сына отдавать помещику! — вырвалось у Якова.

Стало тихо. На такой довод, видно, ответа не было. Яков положил на стол злотый.

— Это за ваши труды. Я дал бы больше, но у меня все разворовали. Даже домашнюю утварь.

* Талес-котн — маленький талес, который всегда носит набожный еврей.

— Все знаю, все знаю. Погребальное общество нагрело руки. Думали, что вы уже, упаси Боже, никогда не вернетесь...

— Все тащили кроме нас, — сказал муж, — хватили, что могли... кому не лень...

— Вынули деньги из сеника... Сразу после Йом Кипура...

— Моя мать, царство ей небесное, бывало, говорила: "Не фастай ай не ганвай".* Она нас учила, что чужое — священо, — сказала женщина.

— Вот у нас и хорош вид, — отозвался мужчина.

— Куда вы пойдете с такой крошкой? Ну, я лучше не стану спрашивать...

Женщина стала шарить по углам, нашла корзину, постлала в нее тряпье, — застиранные пеленки, вложила туда ребенка, накрыла подушкой. Ребенок чуть всплакнул и умолк. Она сказала:

— Ребенка надо кормить грудью. Каждые несколько часов.

— Я кого-нибудь найду.

— Кого? Где? Ох, мама моя! И женщина расплакалась, а потом вдруг спохватилась:

— Подождите, я нацежу немного молока из груди. Где бутылочка?

Муж встал с кровати. Из-под рваной рубахи торчали тонкие ноги, кривые и волосатые. Он нашел и подал жене бутылочку. Одновременно с хозяйками проснулась и домашняя тварь. Потягивалась кошка, из-под печи доносилось кудахтанье курицы. По стенам забегали тараканы. Из щели в полу выглянула мышь. Женщина, стоя лицом к стене, цедила из груди молоко.

Но вот она повернулась и подала Якову бутылочку, заткнутую тряпицей. Она показала ему, как вливать ребенку в ротик по капельке так, чтобы он, Боже упаси, не подавился. Яков знал, что рискует ребенком и собой, — ведь с младенцем на руках, если на него нападут, он не сможет защищаться. Но не оставить же ему свою кровинку, единственного сына Сарры среди чужих и врагов! Если ему суждено жить, он выживет!..

* Не постись и не воруй.

Яков поблагодарил мужа и жену еще и еще раз, упомянул о долге, который может оплатить лишь Всевышний. Он вышел среди ночи и направился к лесу, держа путь на Вислу, к парому. Он шел и молился. Потом поднял взор к звездному небу.

— Отец, чего ты хочешь?..

И на уста ему наворачнулись слова:

— "Отпусти меня, и я чуть окрепну, прежде чем уйти и исчезнуть..."

4.

Луна уже скрылась. В лесу стало темно. Яков шел по лесной тропинке, ступнями нащупывая дорогу, то и дело останавливаясь и прислушиваясь, жив ли младенец, кончиком языка он лизнул его лобик — не холодный ли. Яков за свою жизнь пережил немало горя, но никогда еще не страдал так, как в ту ночь. Он столько молился Богу, что губы его распухли. Он всецело отдался провидению, сознавая при этом, что так поступать не следует. Нельзя полагаться на чудеса. Но другого выхода у него не было. Он переложил свое бремя на Бога. Ничего кроме искры надежды у него более не оставалось.

Яков шагал и ногами будил спящий лес. Под его стопой ломались ветки, он наступал на мох, иглы, шишки. Птицы просыпались, зверьки шарахались в сторону. Яков боялся, как бы ветвь не зацепила корзину и не поранила малютку. Он простер над ним свои руки, накрыл полую сюртука. Мало что могло случиться! Ему чудился вой волка. В этих лесах водились олени, дикие кабаны, медведи. Из-за пазухи у него торчала палка. Он взял ее, чтобы при случае дать отпор недоброму человеку или зверю. Его глаза привыкли к темноте. Он различал теперь все при свете одиночных звезд, который прорывался сквозь лесную чащобу.

Пусть, наконец, наступит день! Пусть засветит солнце! — не то просил, не то приказывал он, сам ощущая двоякий смысл своих слов. Они еще означали: пусть придет избавление! Пусть наступит конец мрачному галуту!... Ему следовало бы вести себя тихо,

а он вслух произносил псалмы, разные изречения, молитвы и разговаривал с Господом на идиш.

— Отец, хватит с меня! Вода подступает к горлу. Нет у меня больше сил переносить все эти испытания!...

Ни с того ни с сего ему захотелось петь. Начал он с мелодии, которую поют в Йом Кипур перед молитвой "Да вознесется" и перешел к горскому напеву.

Вдруг лес озарился ярким светом. Произошло это в одно мгновение, а не постепенно, как это бывает обычно в час восхода. Словно вспыхнул свет потустороннего мира. Но нет, это было солнце. Все птицы запели, защебетали разом. Стволы сосен воспламенились. Где-то вдалеке, в проеме деревьев пылало зарево. До Якова не сразу дошло, что пламя это — солнце. Он взглянул на дитя. Оно дышало. Он присел и поднес к губам младенца бутылочку с молоком. Сначала он поморщился, не желая ничего другого кроме груди, но вот стал сосать. Впервые за долгие недели Яков ощутил радость. Он еще не все потерял! У него остался сын Сарры! Только бы ему добраться до Вислы! Только бы переправиться паромом на другой берег! А там уж найдется кто-нибудь, кто накормит его сына... Тут же он решил, что назовет его Вениамином. Ведь малютка, как Вениамин, явился сыном печали.

Прошло немного времени, и Яков еще издали увидел пески над Вислой. Значит, он не сбился с пути. Все время он шел в сторону реки. Когда он вышел из леса, то парома не увидел, но угадал, куда следует идти. Река отсвечивала наполовину черным, наполовину багряным светом. Крупная птица летела вдоль реки. Временами она опускалась так низко, что краями крыльев задевала поверхность воды. Начинался новый день, новый рассвет, такой свежий и ясный, как во времена сотворения мира. Зеркальность реки, ее чистота и свет как бы перечеркнули все ужасы ночи, все мрачные мысли Якова. Даже смерть перед этой лучезарностью казалась вымыслом злого воображения. Ни небо, ни река, ни пески не были мертвы. Все живет — земля, солнце, каждый неодушевленный

предмет. Великой жестокостью является вовсе не смерть, а муки. Какое место занимают они в творении Божьем? Могут ли солнце, пески или Висла страдать? Яков остановился и взгляделся в ребенка. Неужели он уже страдает? Да, на детском личике уже видны были следы мук. Но то еще не могло быть его страданиями. Якову представилось, что младенец страдает за другие, прежние поколения. А может — за будущее. Казалось, дитя пытается разрешить загадку блуждания душ во времени, когда его еще не было здесь, в этом мире. Над высоким лбом витали думы. Личико морщилось. Губки что-то вычисляли. — Он еще не здесь, не здесь, — говорил себе Яков — у него еще счеты с какой-то иной формой прежнего его существования...

Яков забормотал: "...И когда я пришел из Паддана, умерла у меня Рахиль в земле Ханаанской, по дороге, не дойдя до Евфрата..."

Его также зовут Иаковом. И у него на чужбине умерла любимая женщина, дочь язычника. Ее также похоронили, можно сказать, на дороге. У него тоже остался ребенок... Он тоже пересекает реку, имея лишь посох в руке... За ним также гонится Исав... Все осталось как было: древняя любовь, древняя боль. Возможно, пройдут еще четыре тысячи лет, и где-нибудь вдоль другой реки будет шагать другой Яков, у которого умрет другая Рахиль. Или, кто знает? — Может быть, это все тот же Иаков и все та же Рахиль? ...Но избавление все же должно прийти! Вечно так продолжаться не может...

Яков воздел взор к небу. Веди, Боже, веди! Это Твой мир...

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

ВОЗВРАЩЕНИЕ

1.

Прошло около двадцати лет. Пилица разрослась, стала городом. Помещика Пилицкого и жены его Терезы давно уже не было в живых. Город принадлежал сыну одного из его кредиторов, который, выиграв долголетний судебный процесс, получил поместье. Пилицкий осуществил то, что постоянно грозил сделать — повесился. Сразу после его смерти вдова его пустилась в авантюру с каким-то обедневшим шляхтичем, отдав ему последнее. Но в один прекрасный день тот сбежал. Тереза впала в меланхолию, заперлась в своем замке на мансарде, и с тех пор больше нигде не появлялась. Она стала больной и тощей. Все ее родственницы-приживалки разбежались. Новый помещик, хозяйничавший теперь в поместье, послал людей, чтобы выгнать вдову из замка, но ее нашли мертвую, окруженную кошками. Тереза в последние годы держала у себя кошек. Среди крестьян рассказывали, что хотя она пролежала мертвой несколько дней, и тело уже начало гнить, голодные кошки не дотронулись до нее — как видно, звери остаются благодарны тому, кто им делает добро.

Замок перестроили. Теперь он принадлежал молодому помещику, который редко появлялся в усадьбе, живя годами в Варшаве или за границей. Эконом воровал. Младший зять Гершона держал аренду. Он шел мошеннической дорогой своего тестя. Мужики голодали. Большинство евреев также были бедняками. И все же город вырос. В Пилице поселились нееврейские ремесленники, конкурирующие с еврейскими. Священники посылали ходатаев к королю с просьбой лишить евреев старых привилегий. Но когда отнимали у еврея одни способы заработка, он находил другие. Евреи добывали живицу из древесины, переправляли лес через Вислу в Данциг, гнали спирт, варили пиво, мед, ткали материю, дубили кожи, даже торговали рудой и чем только нет. Несмотря на то, что москаль точил свой меч, а из степи при каждой возмож-

ности нападали казак, в промежутках между набегами евреи закупали польские изделия. Еврейские коммерсанты давали деньги в кредит, вели дела с русскими и с пруссаками, с Богемией и даже с далекой Италией. У евреев были банки в Данциге, Кракове, Варшаве, Праге, Падуе, Лейпциге. Еврейские банкиры не чванились, и у них не было излишних расходов. Еврейский банкир держал свой капитал в торбе за пазухой. Он сидел в молельном доме и учил Тору, но когда кому-нибудь давал письмо со своей подписью, по нему можно было получить деньги в Париже и Амстердаме.

Во времена Саббатая Цеви и позднее, когда он надел феску и стал магометанином, в Пилице кипела вражда. Община предала эту секту анафеме, но секта, в свою очередь, предала анафеме раввина и семерых отцов города. Дело дошло до доносов и побоев. Среди приверженцев Саббатая Цеви нашлись такие, которые сдирали крыши с домов, складывали все свое добро в сундуки и бочки и готовились к алие на израильскую землю. Часть ударились в каббалу, пытались добыть из стены вино и создать живых голубей, как сказано в Книге Бытия; часть же перестала соблюдать законы, ссылаясь на статью, в которой говорится о том, что якобы Тора для евреев больше недействительна. Некоторые, козыряя в свое оправдание словами из Библии: "...и буду я с вами в вашей нечистоплотности", всячески опускались нравственно. В Пилице был один меламед, который доводил себя до такой болезненной экзальтации, что во время молитвы, стоя в талесе и тфилин, воображал, что совокупляется с женщиной и проливал свое мужское семя. У порочной секты это считалось достоинством.

Через некоторое время большинство евреев спохватилось, что сатана заманил их в сети, и они отвернулись от лжемессии. Но оставались такие, которые продолжали заблуждаться. Они встречались тайком в чужих городах на ярмарках. Был целый ряд примет, по которым сектанты узнавали друг друга. На полях священных книг и даже на кромках материи, продающейся в лавках, писали инициалы С. Ц.,

носили амулеты, изготовленные Саббатаем Цеви и его компанией. Все они верили, что Саббатай Цеви еще вернется и будет строить Иерусалим. А пока что в делах они держались вместе, давали друг другу заработать, роднились посредством браков, один другому оказывал услуги, сообща преследовали врагов Саббатая Цеви и ставили на их пути всяческие преграды. Когда одного из них обвиняли в жульничестве, все остальные свидетельствовали, что человек этот честный, и сваливали вину на кого-нибудь из враждебного лагеря. Все они вскоре разбогатели. Встречаясь между собой, единомышленники смеялись над правоверными, над тем, как легко те дают себя обмануть и запутать.

Город разрастался, росло и кладбище, его границы приблизились к месту, где покоился прах Сарры. Мнения в общине разделились. Одни говорили, что прах Сарры надо выкопать и захоронить где-нибудь в другом месте, так как по закону она была нееврейкой и хоронить рядом с ней благочестивых покойников — преступление. Другие считали, что откапывать прах — не полагается, и что это может навлечь беду. Да и дощечка давно потерялась, холмик сравнялся с землей, и толком уже не знали, где искать останки. Порешили, что как оно есть, так оно и ладно.

А кладбище все увеличивалось. Со временем о Сарре забыли. Так бывает в новых городах, где нет ни книги записей, ни тех древних стариков, которые ведут счет времени и событиям. Мало кто помнил даже Якова. Многие из первых горожан поумирали. Появились новые хозяева. Город уже имел каменную синагогу, молельный дом, богадельню, гостиницу и даже общественную уборную, куда ходили те, которые совестились справлять нужду возле дома. Напротив кладбища, в сторожке жил могильщик реб Эбер.

В один прекрасный день, в месяце ав, на кладбище появился высокий еврей с седой бородой, в белом халате, в белом колпаке и в сандалиях на босу ногу. За спиной у пришельца была сумка, в правой руке — посох. У него был вид нищего, но не из здешних мест, чресла его были опоясаны не веревкой, а широким

кушаком, какой бывает у посланцев земли израильской. Он бродил среди могил, искал, вглядывался, наклонялся. Эбер смотрел из маленького окошка своего домика и недоумевал. Что здесь на кладбище надо этому человеку? Кого он ищет? Поселение молодое. Праведники здесь не покоятся. Вскоре Эбер вышел к нему.

— Кого вы здесь ищете? Я могильщик.

— Вот как? Здесь когда-то была могила женщины, принявшей еврейство, Сарры, дочери Авраама, праотца нашего. Ее похоронили в отдалении. Но я вижу, что кладбище расширилось.

— Обращенная в еврейство? Здесь у нее был надгробный камень?

— Нет, дощечка.

— Когда это было?

— Двадцать лет тому назад.

— Я тут всего шесть лет. Кем она вам приходилась? Родственницей?

— Это моя жена.

— Разве в Польше разрешалось переходить в еврейство?

— У нее была еврейская душа.

— Не знаю. Все заросло лебедой. Недавно еще кусок поля забрали под кладбище. Весь город постился.

2.

Яков еще немноге побродил по кладбищу. Он шарил посохом и точно принохивался к земле. Стали спускаться сумерки, и он направился в городок. Яков огляделся по сторонам и в изумлении остановился. Это была другая Пилица, другие люди.

Он увидел синагогу и вошел. В подсвечнике мерцала единственная поминальная свеча. Над столиком возвышались полки с книгами. Яков достал книгу, открыл ее, закрыл, поцеловал переплет, поставил на место. Вот он достал другую книгу, уселся с ней. Он приехал сюда из Эрец-Исраэль, чтобы перевезти туда прах Сарры, но праха больше не было. Сын ее и его Вениамин-Элиэзер — теперь глава ешибота в Цфа-

те. Яков ему никогда ни словом не обмолвился, кто его мать. Бывает такая правда, которую надо скрывать. Зачем будоражить нетронутую душу? Бениамин-Элиэзер обладал незаурядными способностями. К тринадцати годам он взялся за каббалу. Это было во времена Саббатая Цеви, да будь он проклят, и отец с сыном оба попали под влияние этого лжемессии. Посланец, которого Яков встретил тогда на пароме, стал одним из приверженцев Саббатая и на старости лет надел феску...

Через что только Яков не прошел за эти двадцать лет! Долгие недели он качался с грудным младенцем на пароходе, пока на них не напали пираты. Добрую половину пассажиров они убили и потопили на его глазах. Ребенок страдал от искусственного кормления и чуть не умер, но Якову приснилась Сарра, и подсказала спасительное средство. Сам Яков сильно болел. Потом какой-то турок взвел на него поклеп, и капитан хотел Якова повесить. На море разразилась буря, и судно три дня лежало на боку. В Иерусалиме, где потом жил Яков, свирепствовал голод. Не хватало даже питьевой воды. Эпидемии следовали одна за другой. Яков присутствовал при том, как выгнали из Иерусалима Саббатая Цеви, был знаком с Натаном из Газы и с Самуилом Приму. Он пользовался их амулетами, ел в пост Девятого ава и в семнадцатый день месяца тамуза. Еще немного, и он бы вместе с остальными надел феску. Сколько произошло с Яковом чудес, об этом знает лишь Господь. Все то, что он пережил и собственными глазами перевидал, невозможно было бы пересказать за семь дней и семь ночей. Как он страдал, когда ему стало ясно, что он опустился в преисподнюю, и каким пыткам он подверг себя за это, трудно описать.

И дорога сюда в Польшу была для него далеко не проста. Как сказано: ни одного мгновения без злоключения. Каждый день был им пережит благодаря чуду. То, что Бениамин-Элиэзер был к двадцати годам главой ешибота, зятем раввина и отцом троих детей, было особой милостью неба. Там, наверу, не было угодно, чтобы Яков погиб, не выйдя из заблужде-

ния, и чтобы после него и Сарры не осталось потомства. Но то, что могила Сарры исчезла и поездка оказалась напрасной — это для Якова удар. У него была мечта перехоронить Сарру на Хар Хазейтим* и рядом с ней приготовить место для себя. Он надеялся, что со смертью кончится разлука, которая суждена была им при жизни, и он сможет быть подле нее.

Но, надо верить, Всевышний знает, что творит. Чем Яков становился старше, тем явственнее он это видел. Есть бодрствующее Око, Рука, которая ведет. Даже грех каждый, каждое заблуждение имеет свой смысл. Даже эта история с Саббатаем Цеви не напрасна. Прежде чем у роженицы наступают настоящие схватки, бывают ложные. На своем пути возвращения из Святой земли в Польшу через турецкие страны Яков постиг многое такое, чего не понимал ранее. В каждом поколении исчезают племена. У каждого поколения имеется своя чернь, которая хочет вернуться в Египет. Каждое поколение — это поколение в пустыне. У каждого поколения есть свои разведчики, свой Самсон-богатырь, свой Авимелех, сын Иеруббаала и у каждого поколения есть также свои Итро и Руфь. Листья опадают, но ветви остаются, ветви ломаются, но ствол остается на корню. Каждая страна на своем счету имеет потерянных сынов израилевых. Каждое племя вбирает в себя и чужих. Люди, как и растения, отцветают и вянут. Итог подводится на небесах. В конечном счете каждый несет ответственность лишь за самого себя.

За время, что Яков принадлежал к секте, его не раз пытались женить. За него хотели выйти замуж богатые и знатные женщины. Чувственность никогда не покидала его. Но внутренний голос, с которым не могла сравниться никакая страсть, кричал: нет! Впоследствии, когда он порвал с сектой, уговаривали его и раввины и каббалисты, доказывая по законам Талмуда и каббалы, что ему необходимо согласиться на брак. Но даже когда уста его отвечали "да", внутрен-

* Хар Хазейтим — Масличная гора в Иерусалиме, где расположено старинное кладбище.

ний голос твердил "нет!". Часто ему казалось, что Сарра по-прежнему с ним. Он обращался к ней, и она ему отвечала. Она сопровождала его на развалинах и на святых могилах, предостерегала от всевозможных опасностей, давала советы, как воспитывать Бениамина. Когда он ставил на огонь что-нибудь варить, она напоминала ему, что пора подойти к кастрюле...

Как можно рассказывать о подобных вещах? Его сочли бы сумасшедшим или приняли бы за того, кто соприкасается с нечистой силой. Очевидно тайны, которые сердце не может доверить устам, есть у каждого.

Он читал священную книгу и раскачивался. Какое счастье, что повсюду есть молельные дома и священные книги! Яков никогда не забывал те четыре года, когда он должен был черпать лишь из своей памяти. Его любовь к книгам с годами росла. Нередко, когда его сватали, ему хотелось ответить: Тора — вот моя жена. Не проходило дня, чтобы он не прочел несколько глав Библии. Мидраш он проштудировал не один раз. Даже когда он принадлежал к последователям Саббатая Цеви, его не покидала любовь к Торе. Он питался псалмами и ощущал в них несравненный вкус манны небесной. Он наслаждался Книгой царя Соломона, упивался Мишной и непрестанно молился. Как это было ни удивительно, все то, что он учил, он еще переводил Сарре на еврейский, или на польский, как будто она сидела с ним рядом. Когда он плыл на пароходе, он мысленно указывал ей на каждую рыбу, которая выныривала из воды, на каждый островок, на каждую звезду в небе. Смотри, Сарра, гляди! Дивись чудесам Всевышнего! Он бродил вместе с ней среди исмаилитов в пустынях, где проходят караваны с верблюдами. Сарра была его защитой, и с ним не приключилось ничего худого. Арабы с дикими глазами и ножами за поясом угощали его финиками, фигами, рожками, давали ему ночлег. Сколько раз, гуляя, он натыкался на ядовитых змей, но они проползали стороной, буквально, как сказано: "...Ты будешь шагать по львам и змеям"...

Однако, зачем он проделал этот долгий путь, если не может взять с собой, в Эрец Исраэль, останки

Сарры? Сын его Вениамин-Элизер отговаривал его от этой поездки. Мистики, с которыми Яков сблизился за последние годы, твердили, что каждая еврейская душа должна теперь оставаться на земле обетованной. Наступает конец "родовым мукам". Было знамение, что приближаются Гог и Магог. С тяжелым обвинением перед небесным судом выступил сатана. Злые духи выходили из себя вон, стараясь перетянуть в свою сторону чашу весов справедливости. Правитель Эдема затевал жестокое сражение. Асмодей, Лилит, любой черт, любой бес лаял, шипел, брызгал слюной. Библейский змей вел за собой полчища псов, пресмыкающихся, коршунов, вел их на Боцру, где должна была произойти последняя резня. Силы, которые должны были принести избавление, не имели права пре небречь ни одним праведным евреем, ни одним благословением, ни одной молитвой. Яков нужен был там, а не здесь. Более того, сама Сарра отговаривала его. Она говорила: зачем перевозить мой прах, когда вот-вот настанут времена воскрешения из мертвых? Но впервые за двадцать лет он не посчитался с ее желанием. Им управляла сила извне, которую он не мог преодолеть.

Для Якова все было потеряно, но он цеплялся за книги. Он уже давно отчаялся как в мире земном, так и в загробном. Он служил Всевышнему без какой-либо надежды на вознаграждение, готовясь к пламени ада...

3.

В молебном доме под вечер собрался народ. Все приветствовали гостя. Его стали расспрашивать, откуда он, и он отвечал:

— Сейчас я приехал из Эрец Исраэль, но когда-то я жил здесь в Пилице.

— Как вас зовут?

— Яков. Меня называли Яковом меламедом или Яковом немой Сарры...

Молодежь и пришлые не знали, но некоторые старые, давно осевшие здесь евреи помнили. В молебном доме стало шумно. Муж женщины, которая

кормила младенца грудью первые несколько дней, также был здесь. Он обхватил голову руками и стал раскачиваться. Затем он побежал сообщить жене. Она вошла в молельный дом к мужчинам, накрыв голову платком, и разразилась плачем, перемежая его восклицаниями:

— Дорогой человек, я думала о вас каждый день! Как поживает дитя? Как поживает ребенок?

— Ребенок стал главой ешибота в Иерусалиме. Он — отец троих детей!...

— Если я до этого дожила, есть Бог на земле! Женщина снова зарыдала.

Кантор еле унял народ на время вечерней молитвы, но потом снова поднялся шум. Якова помнили немногие. Но многие слышали про него и про его немую жену. Историю о том, как он вырвался из рук драгун и явился среди ночи, чтобы забрать своего ребенка, в окружающих местечках передавали из уст в уста. Во времена, когда приверженцы Саббатая Цеви верховодили в Пилице, вновь вспомнили о Якове и о немой Сарре. Поскольку эти евреи большое значение придавали мужеству, они утверждали, что Яков будет тем, кто отберет меч у Исава, а может даже объединится с ним и с Исмаилом, и, таким образом, все отпрыски Авраама станут единым народом. И вот заговорили о Якове и о его немой жене, как о предвестниках конца галута. Холмик, под которым покоилась Сарра, тогда еще не полностью сравнялся с землей. Дощечка еще торчала, хотя имя уже стерлось. Жены и дочери приверженцев Саббатая Цеви, навещавшие на кладбище могилы своих близких, навевывались также на могилу по ту сторону ограды и заказывали поминальную молитву или молились за нее сами. Странники Саббатая Цеви убедили присоединиться к ним даже помещика, того самого, который выиграл процесс против Пилицкого и отобрал у него все состояние.

После того, как Саббатай Цеви перешел в магометанство и евреи во всем свете предали анафеме лже-мессию и верующих в него, староста нового погребального общества в Пилице велел холмик, под которым лежала Сарра, сравнять с землей. Со временем клад-

бище пришлось расширить, так что могила Сарры совсем затерялась. Теперь, когда тайные последователи Саббатая Цеви услышали, что Яков вернулся и к тому еще из Земли обетованной, они окружили его, радостно приветствуя. Один из них тут же пригласил его остановиться у него в доме. Но Яков не хотел идти ни к кому. Он сказал, что будет ночевать в богадельне. Когда кто-то вспомнил имя Саббатая Цеви, Яков воскликнул: — Да будет имя его и память о нем стерты навеки! — И он трижды плюнул.

Его расспрашивали, и он рассказал о Земле Израильской, о евреях, живущих там, о ешиботах, святых могилах, развалинах и о том, как мистики, настоящие каббалисты, а не поддельные, пытаются приблизить конец галута. Он рассказал о Стене плача, о могиле библейских патриархов, о гробнице Рахили. Яков показал собравшимся несколько турецких монет. Некоторые расспрашивали Якова о его путешествии по морю, видал ли он русалок, пение которых так сладостно, что надо заткнуть уши, чтобы от упоения не испустить дух. Яков отвечал, что русалок не видел и не слышал их пения.

Давно уже приспело время молиться, но беседа не прекращалась. После вечерней молитвы Маарив евреи не разошлись ужинать, а снова обступили Якова. Когда его спросили, зачем он приехал, и он ответил, что затем, чтобы перевезти останки Сарры в Эрец Израэль, на время наступила тишина. Староста погребального общества, который тоже был тут, заметил:

— Попробуй в стоге сена найти иголку...

— Как видно, не суждено, — сказал, сам себе, Яков.

Народ понемногу стал расходиться. Евреи слышали о том, что на израильскую землю переносят останки праведников, знаменитых людей. Но чтобы мужчина, через двадцать лет приехал искать прах какой-то женщины, которую похоронили за забором, — это было странно. Некоторые стали друг с другом перешептываться о том, что приезжий должно быть не в себе. Другие заподозрили, что он — из людей Саббатая Цеви. Нашлись и такие, которые решили, что

он приехал вовсе не из Эрец-Исраэль, и все это выдумал. С другой стороны, приверженцы Саббатая Цеви, поначалу хотели втянуть его в свою компанию, но его высказывания оттолкнули их.

Еще немного, и Якова оставили одного. Он помолился и сел учить Тору при свете поминальной свечи. Женщина, которая двадцать лет тому назад взяла к себе младенца Якова, принесла ему кашу и бульон. Яков поблагодарил, но сказал, что не ест ни рыбы, ни мяса — ничего того, что получено из живого существа. Даже творог и яйца. Женщина спросила:

— Что же вы кушаете, милый человек, горящие угли?

— Хлеб и маслины.

— У нас нет маслин.

— Хлеб с редькой, хлеб с луком, хлеб с чесноком.

— От этого сил не прибудет.

— Бог дает силы.

— Ну, ешьте хлеб.

Яков умылся под рукомойником, сел и стал есть сухой хлеб. Несколько парней, учивших Тору в ночные часы, стали подтрунивать над чужаком.

— Почему вы боитесь мяса?

— Сами мы тоже из мяса.

— Что вы едите в субботу?

— То, что в будни.

— Ведь в субботу нельзя изводить себя!

— Нельзя также изводить и других.

— Чем у вас сдабривают колнд?

— Растительным маслом.

— Если бы все поступали как вы, чем бы жил резник?

Один из юнцов пытался доказать Якову, что тот нарушает закон, остальные тихонько хихикали и перешептывались. Яков понимал, что над ним смеются, но отвечал каждому серьезно и вразумительно. У него были свои убеждения. Он толковал Тору на свой собственный лад и уже привык к издевкам и всякого рода подозрениям. С самого детства он был не как все и остался таким в старости. Кроме того недолгого времени, когда он увлекался Саббатаем Цеви, он всег-

да был сам по себе. И даже среди людей Саббатая Цви он был исключением. Даже родной сын, Вениамин-Элизер упрекал его за странные выходки. В Эрец Исраэль его хотели взять на общественное содержание, но он не пожелал пользоваться благотворительностью и зарабатывать тяжелым трудом — копал ямы, чистил отхожие места, таскал тяжести, которые были под силу ослу, а не человеку. Ежегодно приходили к нему свататься, но он продолжал жить один. Хотели дать ему такую работу, чтобы он всегда имел заработок, но ему не сиделось на месте. То он был в Цфате, то в Шхеме, то в Яффе, то вовсе пускался в путь через пустыню к Мертвому морю. Когда его одолевал сон, он ложился под деревом или опирался о камень. О нем даже распространился слух, будто он не еврей, а обращенный в еврейство. Прошли долгие годы, и никто уже не знал, что он знаток Талмуда — его считали невеждой.

Он оставался все тем же — и в Замосце, и в Юзефове, и в селе среди гор, и в Пилице, и в Иерусалиме. Ему представлялось, что прав он, но все утверждали обратное. Ведь сама Тора велит прислушиваться к большинству и вести себя соответственно указаниям старейших своего поколения. Яков и сам обвинял себя в упрямстве, но изменить себя не мог. Годы, проведенные в хлеву Яна Бжика в окружении животных, неотесанных парней и девок, не давали себя вычеркнуть. Также эти четыре года, которые он прожил с "немой" Саррой наложили на него свой отпечаток. У него было много терпения к слабым, но он восставал против тех, на чьей стороне была сила. Он много молчал, но нередко говорил правду в глаза, способен был выйти на поединок с вооруженным арабом или турком, отправиться за тридцать земель, чтобы отдать занятые полгроша. Он всегда брал на себя нелегкие добрые дела: переносить парализованных, мыть прыщавых. Мужчины избегали его. Зато набожные еврейки, занимающиеся благотворительностью, считали праведником.

Теперь, сидя в молельном доме за книгой, Яков упрекал себя за то, что приехал сюда. Не надо было

ему ворошить давно забытое. Ко всему еще, не хватало денег на обратный путь, хотя он долгие годы копил их на эту поездку. Теперь он будет вынужден обратиться за помощью. Он опасался к тому же заболеть здесь, вдали от Иерусалима, или, пуще того, на пароходе, где трупы сбрасывают в море. Все же я безумец, — думал Яков...

После занятий Яков отправился в богадельню. Молодые люди предложили ему остаться спать в молельном доме, но он считал это святотатством. Он придерживался правила, что трудное всегда предпочтительней легкого. Нередко он сам удивлялся, как ему удавалось выискивать бремя для души и для тела.

4.

Яков толкнул дверь и вошел. В богадельне было темно. Он услышал вздохи, стоны, шорохи, храп. Мужской голос спросил:

— Кто это?

— Гость. Гость издалека.

— Что это вы — среди ночи?

— Это не среди ночи.

— Уже потушен свет.

— Я обойдусь без света.

— Вы видите впотьмах, что ли?

— Я устроюсь на полу.

— Тут где-то должна быть охалка соломы. Подождите, я найду.

— Не беспокойтесь.

— Меня если разбудят, я уже глаз не сомкну.

Глаза Якова стали привыкать к темноте. Он увидел людей, лежащих на полу и на топчанах. В одной и той же комнате находились и мужчины и женщины. Когда он вошел, ему ударила в нос вонь. Но постепенно он привык к запаху. Луна не светила, но небо было полно звезд. Хотя на дворе стояло лето, окна были закрыты, как зимой. Здесь Якову все было знакомо — запахи, вздохи и стоны, повсюду одни и те же — на израильской земле и за ее пределами. В каждом городе, куда бы не попадал Яков, он шел в богадельню помогать старым и хворым. Он очищал

их от насекомых, натирал скипидаром, приносил свежей соломы, обслуживал немощных. Он никогда не упускал возможности творить эти благие дела. Теперь обслуживали его. Незнакомец откуда-то принес ворох соломы и постелил на пол. Яков, прежде чем вошел, произнес молитву на сон грядущий, дабы не молвить молитвенных слов среди нечистот. Он лег и осторожно, чтобы не задеть кого-нибудь, вытянул ноги. Какая-то женщина заворчала:

— Таскаются по ночам, а потом будят больных людей, чтобы им ноги поотнимало!

— Не проклиняйте, женщина, вы еще успеете выспаться.

— Разве что в могиле...

— Кто вы такой? Откуда? — спросил тот, кто принес Якову солому. Он лежал на топчане возле Якова.

— Я приехал из Эрец Исраэль.

— Это вы реб Яков? — воскликнул тот с изумлением.

— Да, я.

— Как это, никто не пригласил вас к себе? Здесь слышали о вас. Помилуйте, вы ведь здешний! Вы меня не знаете, но я знаю вас! Помню как сейчас: вы пришли сюда и стали меламедом. Мой ребенок учился у вас грамоте.

— Это не тот Яков! — отозвалась еще одна женщина.

— Тот же. Это я.

— Недаром Пилицу называют Содомом, — сказал сосед. — Хотя даже в Содоме был Лот, который взял к себе гостя.

— Как зовут вас, реб еврей? — спросил Яков.

— Меня? Меня зовут Лейбуш-Меир.

— Реб Лейбуш-Меир, надо предполагать хорошее, а не плохое. Оттуда вы взяли, что меня не хотели пригласить ночевать? Ничего подобного! Несколько человек звали меня к себе, но у меня уж такой обычай, — я ни к кому не хожу. Чем плохо здесь?

— Пускай враги мои лежат в богадельне! — отозвалась еврейка, которая только-что проклинала Якова.

— Этот человек, наверное, знает, что делает — сказал Лейбуш-Меир. — Все они не местные. Пришли в Пилицу черт знает откуда. А я здесь с первого дня. Когда я прибыл в Пилицу сразу после резни, тут было всего три дома. Гершон уже держал аренду, но здесь нельзя было набрать даже миньян.* Жена моя вместе с двумя детьми погибла. Я остался с одним мальчиком Менашей. Он тоже умер, но это случилось позже. Я был столяром. Работы хватало. Был у нас учитель для малышей, но накануне вашего появления он покинул наш город. Собирались привезти учителя с другого берега Вислы, а тут пришли вы. Мне кажется, это было вчера. Что они знают, эти чужие? Мой мальчик учился у вас. За несколько месяцев он сделал большие успехи. От отдельных букв он вскоре перешел к чтению. Ну а потом вы стали арендатором и все такое. О вас много говорили. Совсем недавно я здесь рассказал всю эту историю. И что это вы сюда пожаловали из такой дали?...

Яков ответил не сразу.

— Я приехал на могилу моей жены.

— Разве есть могила? Могильщики и следа не оставили. Не думайте, реб Яков, что никто не был на вашей стороне — оживился еврей. — Я был на том совете на исходе Йом Кипура у раввина, зятя Гершона. Хотя я всего лишь столяр, меня всегда звали на советы общины. У меня ведь был свой заработок. При том я слегка заглядываю в книги. Одним словом, я стоял у двери и слышал все, что вы тогда рассказывали. Каждое слово. Я хотел сказать: люди, не будьте злодеями! Он уже и так достаточно наказан. Но Гершон — чтоб его из могилы вышвырнуло! — не дал мне открыть рот. А раввин!.. Разве он мог иметь собственное мнение? Раввином, фактически, был Гершон. Это он донес на вас священникам. Я это буду утверждать даже перед небесным судом. Когда Гершон узнал, что вы были и забрали ребенка, он Мойше-Йосла ругал последними словами. Скажите, ребенок жив?

* Миньян — десять мужчин — количество, необходимое для совершения молитвы.

— Он уже отец троих детей.

— Где?

— В Иерусалиме.

— Как это вы с младенцем добрались до Иерусалима?

— Долго рассказывать.

— Меня хотели принять в общество погребальщиков, но я не захотел быть холуем у Гершона. Покойницу даже не убрали как следует. Выкопали яму и бросили ее туда, как, не в пример будь сказано, подожшую скотину. Я был при этом, — стоял там. Служка хотел сказать кадиш, но Гершон не дал. Перед этим они очистили ваш дом. Все забрали. Даже веник. В городе говорили, что в доме у вас они украли деньги, которые вы спрятали.

— Да ладно, я уже давно им простил.

— Вы, может, и простили, но Бог не прощает. На небе все записано, каждая мелочь. Не прошло и году, и Гершон слег. Он и так был пузатый, а тут его раздуло точно бочку. Так, что его невозможно было накрыть одеялом. Он икал так громко, что слышно было в другом конце города... А жена ваша, Сарра, рай ей небесный! — ей не лежалось в могиле. Возможно, я не должен вам этого рассказывать, но надо знать правду. Она навещала женщин в их снах и говорила: "Я лежу нагая!" Видели также, как она бродит вокруг дома, где умирала, и никто не хотел туда вселиться. Я туда как-то зашел. Это было уже на другое лето. Внутри было холодно, как в месяце швате. Из всех углов дуло. Чувствовалось, что она здесь и оплакивает свою судьбу. Наконец, поселился гой.

— Этого дома теперь нет, — сказал Яков.

— Нет. Он сгорел. Вдруг, однажды среди ночи, он сгорел как соломинка. Женщины клялись, что видели среди пламени ее силуэт.

— Чей?

— Вашей жены.

5.

На рассвете Яков проснулся. Тяжесть давила сердце. Внутри него все как бы набрякло. Руки и но-

ги лежали на соломе, будто чужие. Что это со мной? Кажется, я заболел... Язык был обложен, голова — тяжелой, точно камень. Случалось, что Яков недомогал, но никогда это не было так, как теперь. Только вчера я был вполне здоров! — удивлялся Яков. Хотел сесть, но и на это не было сил. Он лежал, удивленный и глядел в окно, как на востоке багровым шаром всходит дневное светило. Обычно восход солнца наполнял его бодростью. Но на сей раз зрелище это не подняло его духа. В сегодняшнем восходе не было свежести. Неужели это из-за грязных оконных стекол, — думал Яков, — или это у меня помутилось в глазах? — Он чуть приподнялся и осмотрелся вокруг. На полу валялся мусор. На топчанах и соломенных подстилках лежали старые, больные, парализованные, с кривыми лицами и стеклянными глазами. Кто храпел, кто издавал хрипение, кто свистел носом, а кто бормотал во сне. Яков снова сомкнул веки.

Он не спал, но увидел Сарру. Перед ним возник ее образ, объятый светом. От нее исходили сияющие лучи, словно она вобрала в себя всю радость солнечного восхода. Она улыбалась ему улыбкой матери, жены и глядела на него с какой-то особенной, новой для него любовью. Она сказала:

— Поздравляю тебя, Яков! Мы достаточно долго были в разлуке... Он приподнял веки и понял: настало его время. Вот как, — пробормотал он — приехал сюда умирать... Не суждено было мне лежать в Святой земле... Удел его был горек. Там у него были сын, внуки. Бениамин-Элиэзер даже не будет знать, что ему надо говорить кадиш. Но Яков не роптал на Всевышнего. Если это угодно в небесах, значит, так тому и быть. Все, что творит Господь Бог — оно к лучшему. Яков бросил взгляд на мешок, в котором лежал его талес, тфилин и несколько книг, взятых с собой: молитвенник, Хумаш и Мишна. Как произносить здесь святые слова? — спросил он себя. Он хотел помолиться, но губы не слушались. Пересилив себя, стал бормотать псалом, но избегал произносить имя Всевышнего. Он то впадал в дремоту, то снова открывал глаза.

Стали просыпаться обитатели богадельни. У еврея, возле топчана которого лежал Яков, была грязная борода, и лицо в глубоких морщинах тоже было грязно. Ему можно было дать и шестьдесят, и восемьдесят лет. Опустив на пол грязные ноги, он принялся будить Якова:

— Реб Яков, я сказал бы, что уже светает!

Яков открыл глаза.

— Вы хотите опоздать на молитву? — по-свойски выговаривал ему еврей.

— У меня нет воды для омовения рук.

— Что значит нет? Подойдите к рукомойнику.

— Боюсь, что я болен — проговорил Яков.

— Правда? У вас действительно желтое лицо...

Еврей протянул руку и пощупал Якову лоб. Он приподнял щетки бровей и сказал:

— Пойду, позову доктора.

— Нет, не беспокойтесь!

— Помочь больному — это доброе дело.

Еврей натянул капот, обулся и вышел. Вокруг стали просыпаться женщины, дети. Зевали, кашляли, чихали. Какая-то нищенка кляла весь свет страшными проклятиями. Все искались. Яков снова почувствовал вонь. По полу, по стенам ползали тараканы. Сколько раз раввины предупреждали, что содержание в богадельне мужчин и женщин в одном помещении — грех. Но таков уж был обычай во многих городах. Считалось, что над хворыми и старыми ангел-соблазнитель не имеет власти. Здесь словно позабыли о еврейском целомудрии. Чернявая еврейка обнажила груди, болтающиеся пустыми мешками.

Яков быстро закрыл глаза. Он всегда хотел умереть в священных руинах, среди могил праведников и отшельников и быть похороненным на Хар Хазейтим. Он рисовал в своем воображении, как он туда перевезет прах Сарры, сделает надгробный памятник ей и, заранее, себе. После погребения Бениамин-Элизер скажет Кадиш. Но в небесах, видно, желали по-другому. Он грешен. Разве он заслужил лежать в Святой земле? Хорошо хотя бы, что он догадался взять с собой мешочек святой земли. Он лежал, не произ-

нося ни звука. Полуголые дети лазали через него. Как-то женщина ворчала:

— Может, здесь слишком просторно, так черт принес еще одного!...

До Якова не сразу дошло, что она имеет в виду его. Он хотел сказать что-то в свое оправдание, но у него не было ни сил ни подходящих слов на уме. Он прислушивался к собственному телу. Как же это произошло вот так сразу? Лег он вполне здоровым, а проснулся тяжело больным. Все у него болело, все было ему тягостно, противно, все в нем набухло и одеревенело. Желудок, казалось, перестал варить, внутренности в животе ощущались какими-то чужими. Зубы во рту сделались слабыми и лишними. Обычно он поутру справлял малую нужду, а сегодня ему и это было не нужно.

Сквозь щели век Яков видел, как едят женщины и дети. Ему это показалось диким. Он сделал над собой большое усилие, кое-как встал и вымыл под крапом кадушки руки, затем неверной походкой направился во двор, чтобы оправиться прежде чем произнести молитвенное слово. Он встал у забора по малой нужде, но вытекли лишь отдельные капли.

День выдался жаркий. Солнце палило уже с утра. Перед богадельней, среди мусора и грязи росла трава и цвели цветочки — белые, желтые, с перышками, с усиками. Порхали бабочки. Золотистые мухи окружили кучу козьего помета. Откуда-то приковыляла хромая собака — одна нога приподнята, голова опущена. Она обнюхала землю. То налетал ветерок с поля, то доносилось зловоние городского отхожего места. В воздухе кружились перья, словно на птичьей бойне. Петухи кричали, кудахтали куры, гоготали гуси. На грядке, заросшей чертополохом, лежали куриные потроха, которыми играла ворона, пытаясь их унести.

Яков стоял пораженный. Это и есть мир, который ему предстоит вот-вот покинуть. Он вернулся в богадельню и попытался поднять свой мешок. Остаться здесь он не мог. Женщина права, — здесь достаточно тесно и без него. Одно дело — прийти в богадель-

но, чтобы помочь немощным и калекам, и совсем другое — занимать у них место...

Только вчера мешок казался ему легким как перышко. Сейчас он его еле поднял. Он мучился с ним, как с тяжелым грузом покуда не перекинул через плечо. Он обратился ко всем:

— Прощайте! Не обессудьте.

— О, горе мне! Человек этот болен! Не давайте ему уйти! — закричала скрипучим голосом та самая еврейка, которая только-что упрекнула его за то, что он занимает здесь место.

— Куда вы идете, реб Яков? — слышались со всех сторон голоса.

— В молельный дом.

— Боже мой! Он ведь не стоит на ногах! — раздался женский писклявый голос.

— Дайте ему воды!...

— Благодарю, не надо. Извините.

Яков поцеловал мезузу и направился к молельному дому, который находился тут же напротив. Он шел мелкими шажками, то и дело останавливаясь, чтобы передохнуть. Оттуда доносились уже голоса молящихся и юношей, изучающих Талмуд.

Во время молитвы Якову сделалось плохо. Он упал в талесе и в тфилин. В молельном доме поднялся шум. Один из горожан, не имевший детей, отвез Якова к себе домой и отвел ему отдельную комнату. Муж и жена ухаживали за ним.

Привели доктора, и тот сделал все, что мог: пустил больному кровь, поставил пиявки, давал разные травяные настои, но ничего не помогало.

Час от часу Якову становилось хуже. Голос его сделался таким тихим, что едва можно было понять, что он говорит. На другое утро он попросил подать ему талес и тфилин, но чтобы надеть талес и обмотать вокруг руки ремешки тфилин, у него не нашлось сил. Жители Пилицы приходили его проведать, пришел раввин, и Яков попросил его прочесть с ним исповедальную молитву "За грехи" как в Йом Кипур. Он пытался даже бить себя в грудь, но у него не было сил, чтобы сжать кулак и поднести к груди.

Так же, как всегда, сколько он себя помнил, был он силен, так теперь стал слаб. Он не был в состоянии даже повернуться на другой бок. Ему было трудно открыть рот и проглотить ложку теплой воды.

То и дело он впадал в дремоту. Лежал, смежив веки, весь поглощенный чем-то таким, чего здоровому не понять. Он не думал, но что-то думало в нем само. А он, Яков, толком не знал, что именно. Он постигал науку нездешнего мира. К нему являлись потусторонние образы. Все они были с ним — отец, мать, сестры, Зелде-Лэйе, дети, Сарра, — царство им всем небесное! — Пришел к нему даже Ян Бжик, который не был более христианином, а был праведником в раю. С Яковом вели спор. Спорящие с ним спорили, в свою очередь, между собой. Но без всякой злобы, а скорее, с любовью. Каждая сторона была по своему права. И хотя Яков толком не знал, о чем препираются и что все это значит, он временами испытывал удивление. Знать бы все это здоровому! — говорил он себе. — Тогда бы совсем по-другому служил Всевышнему. Было бы тогда на что уповать, никогда бы не одолевала печаль. Но как это можно поведать здоровым? Нет, невозможно.

Между Яковом и теми, кто приходил его проведать, уже стояла непреодолимая преграда. Они говорили ему обычные слова, желали исцеления, а он бормотал слова благодарности. Ему давали разные советы. И хотя уши его слышали их речи, он не знал, о чем они говорят, и его это не касалось, как взрослого не касается болтовня детей. Он более не хотел лекарств и не нуждался в них. Он перестал быть предан собственному телу. Временами он явственно чувствовал себя вне своего тела. Оно лежало на кровати, укутанное простыней и одеялом, больное, желтое, сморщенное, а он, Яков, находился над ним и смотрел на него, как смотрят порой на старую рваную одежду, которую только-что сбросили с себя с тем, чтобы надеть все новое. — Ты уже отслужило свое — говорил больному телу Яков, — ты к тому же испачкано грехами. Тебя придется как следует чистить...

Однажды вечером Яков — тот, здоровый, оторвался от тяжело больного и понесся куда-то над полями, горами и морями. Вскоре он уже был в Иерусалиме в доме Бениамина—Элиэзера, который сидел и при свете коптилки учил Тору. Яков обратился к нему, но тот, наверное, не услышал. Яков попытался подать ему знак, но Бениамин-Элиэзер весь ушел в книгу. Тут какая-то сила рванула Якова назад, и он снова очутился в доме пилицкого обывателя. — Перенесся же я!... — и он снова слился со своим немощным телом и его страданиями.

Прошло некоторое время, и тело стало умирать. Яков дышал с трудом, пыхтел и бормотал отрывочные слова на идиш и на польском, затем стих. Кажалось, он уже мертв. Но когда один из могильщиков поднес к его ноздрям перышко, оно заколебалось. Тело на свой лад восставало против приговора смерти. Яков попытался прийти в себя. Появились признаки пищеварения, заработал желудок, стала отходить моча. Он стонал, потел, но все это было не более чем судороги зарезанного животного. Кровь циркулировала вяло, вот-вот готовая застыть. Сердце трепетало наполовину оторванным крылом. Горела свеча, но глаза почти не видели. Огонек жизни угасал. Те, по другую сторону, уже дожидались Якова, как ждут родственника, прибывающего пароходом. Они кликали его из страны, где находились, простирали ему руки, подавали оттуда знаки. Но куда судно не причалило, все еще между ними и Яковом существовала преграда.

Яков видел Сарру, стоящую рядом с Зелде-Лэйсе, и хотя мысли его уже не принадлежали земле, он заудивлялся. Ну там другие порядки...

Тело умерло, но Яков был до того поглощен лицезрением тех, кто пришел его приветствовать, что уже не оглядывался назад.

Но вот судно пришвартовалось к берегу. Яков покинул темную каморку с тряпками и мусором. Пускай прибирают матросы, те, что остаются на судне и должны продолжать скитаться по бушующему морю. Он, Яков, благополучно прибыл...

Погребальщики сделали свое дело — перенесли труп, открыли окно, произнесли полагающуюся молитву. Якова положили ногами к двери и у изголовья зажгли две свечи. Набожные евреи принялись читать псалмы. Весть о том, что скончался Яков, быстро распространилась по всей округе. Несмотря на то, что он жил замкнуто и к тому же последние двадцать лет провел на израильской земле, о нем знали. Его считали праведником.

Старое кладбище, этот клочок земли, отданный помещиком Пилицким евреям, давно уже было заполнено могилами. Якову отвели место на новом кладбище. На похороны пришел весь город. Покойного обмыли и перенесли в синагогу. Там раввин произнес надгробную речь.

Когда могильщик стал копать могилу, лопата наткнулась на кости. Могильщик продолжал осторожнее. Вскоре показался труп. Он сгнил еще не весь. Возможно, потому что почва была песчаной и сухой. На черепе были белокурые волосы. По обрывкам одежды установили, что это труп женщины. Всем стало ясно, что раскопали останки Сарры. Община похоронила ее за пределами кладбища, но кладбище приблизилось к ней и взяло ее к себе. Само кладбище рассудило, что Сарра — дитя еврейского народа.

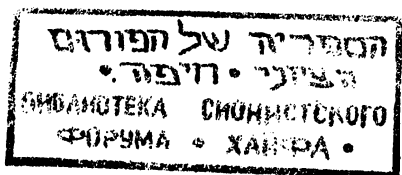
В городе поднялся шум. Женщины плакали. Некоторые набожные евреи решили поститься. Все пришли поглядеть на покойницу, которая двадцать лет пролежала в земле, и еще можно было ее опознать. Тут же созвали общину и постановили похоронить Якова рядом с ней. Все усматривали в случившемся руку провидения.

Так и сделали. Якова погребли рядом с Саррой. Закутали его в талес, положили на глаза черепки и дали в руку прут, которым он мог бы прокапывать себе дорогу к израильской земле, когда придет Мессия. Община решила поставить им двоим памятник и таким образом загладить несправедливость, совершен-

ную по отношению к Сарре Гершоном и его прихлебателями.

Сразу же после двадцати дней траура мастер по надгробиям стал трудиться над плитой. Он проработал целый год и высек в камне двух целующихся голубей, которые были изображены лишь намеком, дабы не нарушить запрета, выраженного в словах: "Не сотвори себе кумира". Внизу были имена обоих усопших — Якова, сына Элизера и Сарры, дочери праотца Авраама. Якова в народе прозвали "наш учитель и праведник", а Сарру — "мужественная женщина". Над их именами были высечены слова: "Они любили друг друга при жизни, и смерть не разлучила их".

К О Н Е Ц



2763

עיריית חיפה
מספרת תרבות ופנאי
תרבו תרבות לעולים
בית ארדשטיין - ספרייה
נוס. מלאי.....

4/3

- 1—2. Леон Юрис: ЭКСОДУС
3. Д-р А. И. Кауфман: ЛАГЕРНЫЙ ВРАЧ
4. Сарра Нешамит: ДЕТИ С УЛИЦЫ МАПУ
5. Арие (Лева) Элиав: НАПЕРЕГОНКИ
СО ВРЕМЕНЕМ
6. Д-р Е. Хисин: ДНЕВНИК БИЛУЙЦА
7. Макс Брод: РЕУВЕНИ, КНЯЗЬ ИУДЕЙСКИЙ
8. 6 000 000 ОБВИНЯЮТ
(Процесс Эйхмана)
9. А. И. Гешель: ЗЕМЛЯ ГОСПОДНЯ
10. НА ОДНОЙ ВОЛНЕ: Еврейские мотивы
в русской поэзии
11. Натан Альтерман: СЕРЕБРЯНОЕ БЛЮДО
12. Шаул Черниховский: СТИХИ И ИДИЛЛИИ
13. Теодор Герцль: ИЗБРАННОЕ
14. Ахад-Гаам: ИЗБРАННЫЕ СОЧИНЕНИЯ
15. Арон Мегед: ХЕДВА И Я
16. Яков Цур: И ВОССТАЛ НАРОД
17. Р. и У. Черчилль: ШЕСТИДНЕВНАЯ ВОЙНА
18. Стихи советского еврея: ПРИДЕТ ВЕСНА МОЯ
19. Говард Фаст: МОИ ПРОСЛАВЛЕННЫЕ БРАТЬЯ
20. И. Домальский: РУССКИЕ ЕВРЕИ ВЧЕРА
И СЕГОДНЯ
21. Игал Алон: ОТЧИЙ ДОМ
22. Юлия Шмуклер: УХОДИМ ИЗ РОССИИ
23. Хана Сенеш: ДНЕВНИК
24. ЕВРЕИ В СОВЕТСКОЙ РОССИИ (1917—1967)
25. Ш. Й. Агнон: ИДО И ЭЙНАМ
Рассказы, повести, главы из романов
26. Элизер Смоли: ОНИ БЫЛИ ПЕРВЫМИ
27. Товия Божиковский: СРЕДИ ПАДАЮЩИХ СТЕН
28. ОЧЕРК ИСТОРИИ ЕВРЕЙСКОГО НАРОДА 1
29. ОЧЕРК ИСТОРИИ ЕВРЕЙСКОГО НАРОДА 2
30. А. Итай и М. Нейштат: ЧЕРЕЗ ТРИ ПОДПОЛЬЯ
31. Эли Люксембург: ТРЕТИЙ ХРАМ
32. С. Г. Фруг: СТИХИ И ПРОЗА
33. КНИГА БРАТЬЕВ
34. ЭРЕЦ-ИСРАЭЛЬ. ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ОЧЕРК
35. Дж. и Д. Кимхи: ПО ОБЕ СТОРОНЫ ХОЛМА